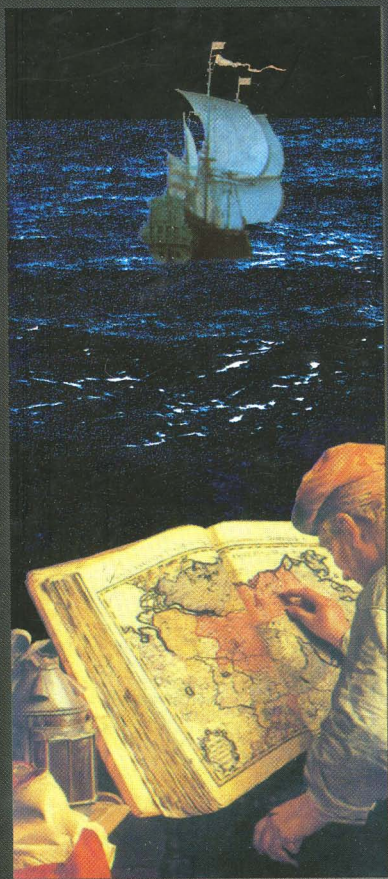


ЖАН РЭ

*Точная
формула
кошмара*



Коллекция «ГАРФАНГ»

Коллекция «ГАРФАНГ»
ЛИТЕРАТУРА БЕСПОКОЙНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Жан Рэ

Точная формула кошмара



ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва

2000

ББК 84.4Б
Р 35

Коллекцию ведет
Евгений Головин

В издании коллекции участвуют
Сергей Жигалкин, Ирина Колташева

Рэ Жан

Р 35 Точная формула кошмара / Пер. с фр.
А. В. Хорева, Е. В. Головина. – М.: Языки русской
культуры, 2000. – 512 с.

ISBN 5-7859-0181-1

Бельгиец Жан Рэ (1887–1964) – авантюрист, контрабандист, в необозримом прошлом, вероятно, конкистадор. Любитель сомнительных развлечений, связанных с ловлей жемчуга и захватом быстроходных парусников. Кроме всего прочего, классик «черной фантастики», изумительный изобретатель сюжетов, картограф inferнальных пейзажей.

ББК 84.4Б

ISBN 5-7859-0181-1



9 785785 901810 >

© Е. В. Головин. Составление,
перевод, послесловие, 2000

© А. В. Хорев. Перевод, 2000

МАЛЬПЕРТЮИ

история фантастического дома

Перевод с французского

Андрея Хорева

Я посвящаю эту книгу моему славному собрату и другу Жюлю Стефану, одному из *Объединенных Авторов*.

Обращение к Станисласу-Андре Стееману, еще одному из *Объединенных Авторов*:

На 111 странице вашего *Убитого Манекена* написано: *Надо бы снести этот дом до основания — он производит на меня гнетущее впечатление чудовищного гасильника. Прошлое разъедает его, подобно раковым метастазам. Однако не в моих силах хотя бы взорвать чертово логово, как мы пытались сделать это еще мальчишками.*

Эти слова преследуют меня, Стееман.

Я поставил бы их эпиграфом к «Мальпертюи», если бы имел на это право, но разрывы самых мощных снарядов не в силах рассеять его тень и вынудить содрогнуться витражи на его фасаде.

Ж. Р.

КРАТКИЙ ОБЗОР В КАЧЕСТВЕ ПРЕДИСЛОВИЯ И ОБЪЯСНЕНИЯ

В монастыре Белых Отцов мне повезло.

Ничего не стоило прихватить сколь угодно драгоценных вещей, однако меня, человека верующего, пусть и не слишком набожного, преисполняет ужасом сам помысел присвоить священные сосуды — будь они хоть из литого золота и серебра.

Достойные отцы долго еще будут оплакивать пропавшие палимпсесты, инкунабулы и псалтири, зато вознесут благодарственную молитву Господу, ибо отвратил нечестивую руку от их потиров и дароносиц.

В тяжелом оловянном футляре, спрятанном в тайнике монастырской библиотеки, я надеялся обнаружить парочку стоящих пергаментов —

не слишком щепетильный коллекционер хорошо бы за них заплатил, — увы, внутри оказалась лишь какая-то довольно неряшливая рукопись, которую я решил одолеть в дни будущего досуга.

И такие дни не замедлили наступить: моя вылазка не только обеспечила безбедный досуг, но и позволила зажить тихо и спокойно. Деньги — вот что делает человека порядочного, то есть живущего как все.

Здесь я вынужден сообщить кое-что о себе — по причине вполне очевидной — предельно кратко.

В семье мне прочили преподавательскую карьеру. Достоинно закончив Эколь Нормаль, я защитил диссертацию на филологическую тему при общем восторге экзаменаторов — увы, здесь не место хвалиться подробностями. Теперь вам известна сфера моих интересов, и понятно, почему я не пренебрег упомянутой находкой и не смутился открывшимися запутанными, даже загадочными обстоятельствами. Результаты моих изысканий оказались поразительными сверх всякого ожидания...

Вытряхнув из оловянного футляра на стол ворох скрученных пожелтелых листков, я призывал в помощь послушническое терпение и любо-

знательность минувших студенческих лет: предстояла кропотливая работа, дабы поначалу просто разобраться, что к чему.

В глазах издателя вся эта кipa бумаги не стоила бы и гроша, ибо в избытке снабжена была бесконечными отступлениями, сомнительными суждениями и псевдонаучными концепциями.

Итак, перебирать, сортировать, отбрасывать твердой рукой.

А у авторов рукописи (четыре или пять — считать можно по-разному) рука, водившая пером, часто дрожала от ужаса.

Первым пишет незаурядный авантюрист и деятель церкви — он был рукоположен в сан, — его следует назвать Дуседам Старший, в отличие от потомка — поистине святого, досточтимого аббата Дуседама, единственного, кому удалось светлым лучом истины пронизать мрачную историю Мальпертюи. Итак, Дуседам Старший — первый, а Дуседам Младший — третий из авторов манускрипта. По моим подсчетам, авантюра Дуседама Старшего относится к первой четверти прошлого, девятнадцатого века, а озарения его внука аббата — к началу последней четверти того.

Между ними, второй хронологически, — некий молодой человек, блестяще образованный и, на мой взгляд, превосходно воспитанный, но неизменно отмеченный каленой печатью злощастья. Ему мы обязаны центральной частью всей истории.

В головокружительных и грозных арканах его судьба связана с событиями, разбросанными во времени и пространстве. Первые страницы повествования наводят на мысль о дневнике, в духе тех, что в прошлом веке вошли в моду у молодых почитателей «Сентиментального путешествия» Стерна. Однако по мере чтения такое впечатление рассеялось: очевидно, автор доверялся бумаге лишь в минуты тревоги, в предчувствии скорого прощания с жизнью.

Есть еще и маленькая, аккуратнo исписанная тетрадка в металлическом переплете — с ней число очевидцев разных периодов нашей истории возрастает до четырех.

Аккуратный почерк принадлежит Дому Миссерону, покойному настоятелю монастыря Белых Отцов, где в ходе успешной операции мною и был изъят оловянный футляр. На последней странице тетрадки проставлена дата, незывлемая

века в безудержном потоке времени — 26 сентября 1898!

В-пятых и последних: к пишущим я должен причислить и себя; часто даже не зная об откровениях соавторов, все четверо — или, если хотите, пятеро — в совокупности начертали повесть Мальпертьюи, определив ей место в истории кошмаров рода человеческого.

Началом я положил краткую главу, оставленную несомненно Дуседамом Старшим, хотя он и не говорит от своего имени. В авторстве этих страниц меня убедил почерк — совсем в другой части манускрипта Дуседам Старший мимоходом и недвусмысленно упоминает о том, что рукопись написана им самим, а почерк в обоих случаях идентичен. Похоже, сей пастырь-ренегат, человек образованнейший, но исполненный злобы, намеревался в форме безличного повествования описать собственные похождения; упоминая имя Дуседама в третьем лице, он не щадит себя в коллизиях с другими персонажами, скорее напротив, находит циничное удовлетворение, живописуя в самых черных тонах свои злодеяния.

По-видимому, буйный образ жизни воспрепятствовал писательским устремлениям, и Дуседам ограничился несколькими страницами, весьма, однако, важными для истории Мальпертьюи в целом.

Я сохранил в неизменном виде весь фрагмент, включая заглавие.

часть первая
АЛЕКТА

глава вводная
**ВИДЕНИЕ
АНАХАРСИСА**

Хоть вы и воздвигаете церкви, строите
вдоль каждой дороги часовни и ставите
кресты, вы не сможете помешать богам
древней Фессалии вновь и вновь воскре-
сать в песнях поэтов и книгах ученых.

ГОТОРН

*Пелена тумана разорвалась и открылся ост-
ров, чью близость предвещал рев прибоя. Зрели-
ще было столь устрашающее, что моряк по име-
ни Анахарсис, судорожно вцепившись в румпель,
заорал от ужаса и отчаяния.*

*Уже несколько часов его тартана «Фена»
неслась навстречу гибели, влекомая смертоно-*

сным притяжением этого чудовищного утеса; и вот он предстал в яростной вспышке молнии: гигантские белесые валы разбивались о неприступные скалы.

Анахарсис кричал от страха смерти, ведь смерть была рядом с самого рассвета. Сначала обломком рея убило рулевого Миралеса, а когда суденышко дало крен на правый борт и схлынувшая вода обнажила левый шпигат, Анахарсис увидел труп Эстопулоса: голова юнги застряла в шпигате.

Со вчерашнего вечера «Фена» не слушалась руля, и все действия Анахарсиса были чисто инстинктивными.

Впрочем, он сознавал, что полностью утратил ориентацию, дрейфуя по воле враждующих ветров и неизведанных течений. За много лет плавания по родным морям он ни разу не видел этого острова.

Ветер с губительно близкого берега донес отвратительный запах анагира, трижды проклятой травы, — моряк понял, что стал жертвой злых духов.

В вышине над гребнями скал парили огромные формы — не найти иного имени, дабы назвать то, что он увидел: гигантские, вне всякого человеческого разума, формы — омерзительно человекоподобные и разнополые, судя по мощным контурам одних и плавным очертаниям других. Рознились они и величиной: одни почти в челове-

ческий рост, иные напоминали безобразных карликов, — впрочем, моряк мог ошибиться из-за расстояния.

Оцепенелые в позе мучительного отчаяния, призраки, казалось, пронизали взором бушующее над ними небо.

— Трупы, трупы с гору величиной, — всхлинул моряк, в страхе закрыв лицо при виде некой фигуры, невыразимо величавой в своей грозной неподвижности.

Лишь одно видение не парило над скалой — оно слилось с ней воедино. Поистине нечеловеческое страдание исказило его очертания: казалось, гигантская рана, подобная рваному зеву пещеры в теле горы, не давала угаснуть отвратительной судороге — последнему знаку жизни в inferнальной покойницкой.

Но вот... зоркий глаз моряка уловил в вышине движение — тень скользнула в разрыве меж клочьями тумана... да, теперь он бы поклялся, что видит птицу — птицу величины немыслимой. В порывах ураганного ветра пернатый монстр то возносился, то снижался, однако неизменным фокусом причудливых орбит его полета оставался силуэт, плененный скалой. Неуловимое мгновение — и чудовищный хищник низвергся на свою жертву, свирепо и жадно терзая когтями и клювом призрачную плоть...

Вихрь обрушился на тартану, закружил волчком и отбросил далеко в сторону от кипящего

прибоя. Мачта и бушприт сломались, словно спички, и труп юнги выбросило за борт.

Обломок рангоута рухнул на Анахарсиса — удар пришелся по голове.

На миг он потерял сознание, а когда очнулся, цеплялся уже не за румпель, а за расщепленную культю мачты.

Остров и отвратительные видения поглотил туман, но прямо перед Анахарсисом маячила еще более мерзкая личина. При виде жестоких глаз и безобразно вывернутых губ моряк едва не закричал от ужаса, но тут же понял, что кошмарная образина, столь устрашающая на первый взгляд, вовсе не таила злобных намерений, ибо принадлежала резной деревянной фигуре.

Фигура венчала высокий заостренный форштевень, неотвратно нависший над левым бортом «Фены»; секунда — и маленькое суденышко, не выдержав таранного удара, пошло ко дну.

На борту неизвестного корабля все же успели заметить Анахарсиса и в последний миг спасли от морской пучины, удачно подцепив багром.

С переломанными ребрами, невыносимой болью в крестце, с залитыми кровью волосами и бородой Анахарсис улыбался: наконец-то он снова на матросской койке, в маленькой каюте, освещенной подвесной лампой, — и среди людей. Несколько человек разглядывали спасенного и переговаривались между собой.

Один из них, дочерна загорелый и обветренный исполин, озадаченно поскреб в спутанной гриве темных волос.

— Дьявол что ли занес сюда проклятую тартану? — проревел он. — А?

Его собеседник пребывал в неменьшем удивлении.

— Надо бы его допросить, да только ни черта не разберешь в этой тарабарищине. Пошлика за Дуседамом: он парень дошлый, авось что и выудит от утопленника, если только опять не нажрался в стельку.

У койки Анахарсиса появился заплывший жиром тип с лицом, покрытым чешуйками какой-то заразы, и злобно косящими глазками. В знак приветствия он показал Анахарсису язык.

И обратился к моряку на его родном наречии островов архипелага.

— Как ты попал в эти места?

Дабы оправдать ожидания своих спасителей, Анахарсис с величайшим усилием собрался и, одолев боль, сдавившую грудь, кое-как заговорил о своих блужданиях, об ужасной буре, забросившей «Фену» далеко от родных берегов.

— Твое имя? — спросил человек по имени Дуседам.

— Анахарсис.

— Как? Еще раз!

— Анахарсис... В нашем роду это имя передается от отца сыну.

— В бога душу! — возопил Дуседам своим товарищам.

— Ты что, Дуседам? — изумился кто-то.

— Подавиться мне своим ночным колпаком, если это не перст судьбы!

— Ну-ка ты, сальный бурдюк, в чем дело? — приказал черноволосый.

— Терпение, господин Ансельм, — с насмешливым почтением отозвался жирный тип, — надобно кое-что припомнить, сообразить...

— Под виселицей будешь припоминать и соображать, наставничек чертов! — загремел господин Ансельм.

— Анахарсис, — неизвестно кому поклонившись, объяснил Дуседам, — философ скифского происхождения, жил в VI веке до Рождества Христова, объездил все аттические острова и пытался учредить в Афинах культ Деметры и Плутона. В дела божественные соваться не всегда безопасно, и потому затея Анахарсису дороговато обошлась — беднягу удушили.

Владелец «Фены» ничего не понимал и, чувствуя, что слабеет, снова заговорил — на сей раз о кошмарных видениях туманного острова.

Слушая его, Дуседам вдруг принялся вопить и жестикулировать.

— Вот оно! — радостно осклабился он. — Друзья мои, обещаю вам золота полный трюм! Анахарсис, глашатай божественной воли, через последнего потомка завершает свою миссию. Так

значит, века и тысячелетия фантомам не помеха!

Господин Ансельм озаботился:

— Уточни, в каком направлении двигалась тартана последние часы.

— Прямо на юг, — едва слышно прошептал раненый, когда Дуседам перевел вопрос. — А что?

— Пассажиры нам не нужны, — порешил господин Ансельм.

— Видно, Анахарсисам на роду написано удушье, — захохотал толстяк Дуседам.

Разговора Анахарсис не понял, но угадал свою участь — лица людей, подаривших ему час жизни, были неумолимы.

Моряк зашептал молитву, которую ему не суждено было дочитать в этом мире.

Прежде чем вернуться к рассказу Дуседама Старшего, я представляю читателю первую часть повествования Жан-Жака Грандсира. Как уже сказано, его исповедь-воспоминание наиболее важна для нашей истории: пожалуй, все ужасы Мальпертюи так или иначе сопряжены с трагической судьбой Жан-Жака Грандсира.

глава первая

ДЯДЮШКА КАССАВ ОТХОДИТ

Тот, кто постигает тайну своей смерти,
а живущим оставляет тайну своей жизни,
обкрадывает и жизнь, и смерть.

СТЕФАН ЗАНОВИЧ

Дядюшка Кассав скоро умрет.

Белоснежная, то и дело подрагивающая борода ниспадает на грудь, сам дядюшка утопает в красной перине. Ноздри втягивают воздух, словно он напоен сладостными ароматами, огромные волосатые руки готовы вцепиться в любую добычу. Служанка Грибуан, принеся чай с лимоном, выразилась так:

— Вещички упаковывает.

Дядюшка Кассав услышал.

— Пока еще нет, женщина, пока еще нет, — ухмыльнулся он.

Прислуга ретировалась — испуганно шелестящий смерч юбок; а дядюшка добавил, обращаясь ко мне:

— Не так уж долго мне осталось, малыш, но ведь умирать — дело серьезное, и спешить тут не следует.

Минутой позднее он снова блуждает взглядом по комнате — ничего не упуская, будто составляет окончательную опись: игрок на теорбе — статуэт-ка поддельной бронзы; тусклая миниатюра Адриана Броуэра¹; дешевенькая гравюрка — женщина играет на старинной колесной лире; и ценнейшая «Амфитрита» кисти Мабузе².

Стук в дверь, входит дядя Диделоо, здорова-ется:

— Добрый день, двоюродный дядя.

Он один из всей семьи так называет дядюшку Кассава.

Диделоо — чинуша и зануда. Карьеру начинал учителем, да с учениками так и не справился.

Теперь он заместитель начальника в одной из муниципальных служб и, насколько может, трети-рует подчиненных экспедиторов.

— Ну, начинайте выступление, Шарль, — го-ворит дядюшка Кассав.

— Охотно, двоюродный дядя; опасаясь, одна-ко, вас чрезмерно утомить.

— Ну так повосхищайтесь собой молча и побыст-рее — мне ваша физиономия не больно-то приятна.

¹ Броуэр (Брауэр) Адриан — фламандский художник (1605 или 1606 — 1638).

² Мабузе (наст. имя Ян Госсарт или Госсарт) — фламандский художник (1472 или 1478 — ок. 1533/1536). — *Здесь и далее примечания переводчиков*

У старого Кассав явно портится настроение.

— Увы, я вынужден привлечь ваше внимание к низменным проблемам материального порядка, — начинает свои причитания дядюшка Диделоо. — Нам нужны деньги...

— Да неужто? Вот уж удивили так удивили!

— Надо заплатить врачу...

— Самбюку? Накормить его, напоить, а ежели нужно, пусть спит на софе в гостиной — и довольно.

— Аптекарь...

— Я к лекарствам и не притронулся. Все пузырьки и порошки прилежно забирает ваша прелестная жена Сильвия, страдающая, как известно, всеми болезнями, какие только ей удалось обнаружить в медицинском словаре.

— Много и других расходов, двоюродный дядя... Откуда нам взять столько денег?

— Сундук с золотом зарыт в погребке — третья камера, девять футов четыре дюйма под седьмой плитой. Хватит?

— О, благородный человек, — пускает слезу дядюшка Диделоо.

— К сожалению, про вас, Диделоо, этого не скажешь. А теперь уберите-ка... болван!

Шарль Диделоо злобно косится в мою сторону и скользит к выходу; он такой тощий и плюгавый, что без труда просачивается в чуть приотворенную дверь.

Дядюшка Кассав смотрит на меня.

— Повернись-ка к свету, Жан-Жак.

Я повинуюсь. Умиравший тягостно-пристально разглядывает меня.

— Ничего не попишешь, — после довольно долгого обследования ворчит он, — вылитый Грандсир, хоть и прилизанный малость. В жилах капля крови поспокойней — и смотри-ка, на вид куда благородней, чем твои предки. Да уж... А вот твой дед Ансельм Грандсир — в те времена его звали просто господин Ансельм — отъявленный был мошенник!

Это любимый дядюшкин эпитет, и я совсем не обижаюсь, потому что деда, оставившего по себе столь дурную память, никогда не видел.

— Не помри он на гвинейском берегу от бери-бери, так и вовсе бы законченным мерзавцем стал, — веселится дядюшка Кассав. — Вот уж кто любил все доводить до конца!

Дверь распахивается, появляется моя сестра Нэнси.

Облегающее платье подчеркивает статную фигуру, глубокий вырез корсажа нескромно приоткрывает великолепные формы.

Ее лицо пылает гневом.

— Вы прогнали дядю Шарля, — выпаливает она. — И поделом, пусть не суется не в свое дело. К сожалению, он прав, нужны деньги.

— Ты и он — большая разница, — отвечает дядюшка Кассав.

— Ну, а где же деньги? — выходит из себя Нэнси. — Гримуаны не могут заплатить по счетам.

— Почему не возьмете в лавке?

Нэнси смеется отрывистым, резким смешком, который вполне подходит к ее надменной красоте.

— Сегодня с семи утра всего шесть покупателей, выручка — сорок два су.

— А мне говорят, дела, дескать, наладились, — ухмыляется старик. — Не переживай, моя красавица. Возвращайся в лавку, достань малую стремянку с семью ступеньками, полезай на самую верхнюю. Смотри, в лавке чтоб не торчал какой клиент несимпатичный — юбки-то у тебя ох как коротки... Ты у нас высокая, с последней ступеньки как раз дотянешься до жестяной коробки с этикеткой «сиенская охра». Так вот, как следует пошарь своими прекрасными белыми ручками в сей скучной коробке, найдешь несколько сверточков, четыре-пять — этакие, знаешь, цилиндрики коротенькие, зато весьма увесистые. Постой же, не спеши, мне приятно поболтать с тобой. Да будь поосторожней: если порошок сиенской охры попадет под ногти, и за несколько часов не отчистишь. Ну ладно, ладно, беги, прелесть моя, а ежели на темной лестнице Матиас Кроок ущипнет тебя за мягкое место, на помощь не зови, все равно не приду.

Нэнси показывает нам язык, алый и остренький, как язычок пламени, и, хлопнув дверью, исчезает.

Слышен стук ее каблучков по гулким ступеням, через минуту негодующий возглас:

— Свинья!

Дядюшка Кассав ухмыляется:

— Это не Матиас!

Звук оплеухи.

— Это дядюшка Шарль!

Старик в отличном настроении, и только свинцовый оттенок лица да злобещий присвист в груди выдают близость смерти.

— Да, Нэнси вполне достойна своего дедамошенника! — с явным удовольствием констатирует старый Кассав.

В комнате вновь воцаряется молчание; свистит старый клапан сокрытых в груди мехов, поддерживающих огонь в невидимой жаровне, с шершавым шорохом пальцы царапают покрывало.

— Жан-Жак!

— Я здесь, дядюшка Кассав!

— Вы с Нэнси сегодня утром получили известие от отца, от Николаса Грандсира?

— Вчера утром, дядюшка.

— Ну, неважно, днем больше, днем меньше, мне уже все едино. Откуда письмо?

— Из Сингапура. Отец в добром здравии.

— Если только его не вздернули за те двенадцать недель, пока шла почта. Бог ты мой, если бы он когда-нибудь вернулся...

Дядюшка о чем-то размышляет, по-птичьи склонив голову набок, — этаким мудрый старый ворон:

— Нет, не вернется он... Да и чего ради? Грандсиры рождаются, чтобы поднимать все паруса под

всеми ветрами белого света, а не плесневеть под крышами домов человеческих.

Входит Нэнси, улыбается, ни тени плохого настроения.

— Я нашла пять свертков, дядюшка Кассав, — объявляет она.

— Как оно, золото, — тяжеленько? — усмехается дядюшка. — Уж ты-то наверняка сообразишь, что с ним делать?

— Еще бы! — нахально заявляет Нэнси.

И вновь исчезает, бросив мне напоследок:

— Жижи, тебя ждет на кухне Элоди.

С лестницы слышится ее смешок — на сей раз мягкий, ласкающий — и довольное куропаточье квохтанье.

— Вот теперь уж точно Матиас! — комментирует дядюшка и громко хохочет, игнорируя хриплую какофонию протеста в груди.

— Она сказала, пять свертков? А ведь было шесть! Вполне достойная внучка мошенника Ансельма Грандсира... Тем лучше!

Визитеры, собственное веселье и монологи заметно утомили старого Кассавы.

— Иди-ка к Элоди, малыш, — говорит он усталым глухим голосом.

А мне того и надо: снизу, где в одном из бескрайних мрачных подвалов разместилась кухня, огромная, словно конференц-зал, доносится запах свежееиспеченных вафель и изысканный аромат масла, топленного с корицей и сахаром.

Иду по бесконечному темному коридору — далеко впереди слабо мерцает светлый прямоугольник.

Там, в открывшейся глубине необъятного вестибюля, бойкое сияние газового рожка выхватывает из сумрака фасад крохотного, словно игрушечного магазинчика — будто смотришь на него в перевернутую подозрную трубу.

У этой москательной лавчонки, словно прильнувшей к груди хозяйского дома-покровителя, весьма примечательная история... Впрочем, еще будет время к ней вернуться.

Через открытую дверь видно прилавок потемневшего дерева, всевозможные склянки с едкими веществами, связки бумажных пакетиков; и Нэнси с приказчиком Матисом — близко, даже чересчур близко прильнувших друг к другу.

Но это зрелище не особенно меня интересует: аппетитный зов кухни куда сильнее праздного юного любопытства.

Веселая песенка булькающего масла и перестук вафельниц вносят радостную ноту в молчаливый вечерний сумрак.

— Явился наконец, — ворчит моя старая няня Элоди, — а то доктор уже подбирался к твоим вафлям.

— Они в самом деле хороши, эти вафли, — сладкие, как раз такие я и люблю, — слышится слабый голосок из темного угла.

В кухне нет газового освещения — подобное роскошество предусмотрено дядюшкой Кассавом

только для лавки. Лампа с фитилем скупо освещает стол; тарелки белоснежного фарфора отвечают неожиданными бликами. Печь пышет теплом, и потоки горячего воздуха то и дело колеблют огонек свечи на каминной полке; рядом лежит черная чугунная вафельница.

— Как больной? — продолжает голосок. — Прекрасное самочувствие, не правда ли?

— Так вы думаете, он поправится, доктор?

— Поправится? И речи быть не может. Конец, медицина вынесла приговор Кассаву. Но я все же готов для него постараться.

Старческая, иссохшая, мертвенно-бледная, точно вылепленная из воска рука размахивает в свете лампы листком бумаги.

— Вот свидетельство о смерти и разрешение на предание земле — составлено должным образом и подписано мной лично. Только даты недостает. Кстати, еще вчера причиной смерти значилось двустороннее воспаление легких; однако я думаю, что «болезнь Брайта»¹ звучит куда внушительней.

Ведь надобно же оказать старине Кассаву хотя бы эту услугу, не так ли? А теперь, славная моя Элоди, я бы охотно угостился еще одной чудесной вафлей.

Так рассуждает доктор Самбюк: дядюшка хоть и примирился с его визитами, но не признает никаких предписаний.

¹ Хронический нефрит

Доктор такой тщедушный и маленький, что рядом с Элоди даже в высокой шляпе выглядит карликом — едва ей до подбородка достает, а ведь Элоди и сама не великанша.

Все личико у него в складках и морщинах, а на сей скомканной миниатюре внезапно выдается гладкий и мясистый розовый нос.

Прозрачная, словно воск, тонкая рука с неожиданной силой разламывает вафли на правильные квадратики и поливает их маслом и патокой.

— Пожалуй, я постарше его буду, хотя о нашем дорогом Кассаве трудно знать что-нибудь наверняка, а вот он уходит первым, — радостно кудахчет старый гурман. — Подобные события весьма утешительны в моем возрасте: так и кажется, а вдруг смерть про тебя забыла? Кто знает? Может, так оно и есть. Мы ведь связаны сорокалетней дружбой, искренней и прочной. Познакомились на пассажирской барже — Кассав возвращался с охоты, подстрелив пару веретенников. Я поздравил его с трофеем — не каждый стрелок добудет такую пугливую птицу.

Ну а он в ответ пригласил отведать дичинки. Разумеется, я не отказался! Да будет вам известно, мясо веретенника — если он успел нагулять жирку — даже нежнее, чем у его родича бекаса.

И с тех пор меня нередко удостаивали приглашения в Мальпертью.

Мальпертью! Чернила тяжело сочатся с пера, когда скованная ужасом рука выводит на бумаге зловещее слово. В этом доме свершились многие

судьбы, он подобен последней вехе на путях человеческих, воздвигнутой самым безжалостным роком. Я невольно отталкиваю мрачный образ, отступаю перед ним, словно пытаюсь отсрочить его неотвратимый выход на авансцену моей памяти.

Но персонажи в истории Мальпертью нетерпеливы и спешат сыграть свои роли, краткие, как отпущенный им земной срок; бытие вещей куда более долговечно — возьмите, к примеру, любой булыжник в каменной кладке проклятого дома. Не только бараны толпятся у входа на бойню, нетерпение и спешка точно так же подстегивают людей: зажженные свечи — нет им покоя, — пока не окажутся под гасильником Мальпертью.

Шуршащим вихрем врывается в кухню Нэнси; вафлям она предпочитает блины и раздирает их хищными белыми зубами — блины повисают в руке лоскутьями дымящейся кожи, сорванной с живой плоти.

— Доктор Самбюк, — интересуется она, — когда же умрет дядюшка Кассав? Вы-то должны знать.

— О цвет моих мечтаний, — отвечает старый врач, — кому адресован ваш вопрос — Эскулапу или Тиресиасу? Лекарю или прорицателю?

— Все равно, лишь бы ответил.

Самбюк рисует в воздухе восковым пальцем, это у него называется «припомнить небесную планисферу».

— Полярная звезда, как всегда, на месте — единственная постоянная особа в бесконечности пространства... Чуть пониже Плеяд, на правом борту, зажег огонь Альдебаран. Ядовитым светом заливают горизонт Сатурн.

Теперь повернемся... Да, сегодня Юг разговорчивей Севера: Пегас учуял конюшню Геликона; Лебедь поет, будто в зените вознесения предчувствует гибель; в зрачках Орла горит Альтаир, и Орел ищет гнездо поближе к богу пространства; Водолей весь замызгался, а Козерог...

— Короче, вы, как всегда, ничего не знаете, — негодует сестра.

— В мое время, — неожиданно меняет тему доктор, — вафли кропили ароматной померанцевой водой — сами боги не вкушали яства более изысканного. Ах да, моя роза, речь шла о нашем славном Кассаве, — он протянет еще с неделю. Впрочем, сказано неточно: его прекрасной душе потребуется ровно семь дней, дабы устремиться к божественно сияющим звездам.

— Дурак, — говорит сестра, — хватит и трех дней.

И она оказалась права.

В кухню заглядывает служанка Грибуан.

— Мамзель Нэнси, прибыли госпожи Кормелон...

— Проводите их в желтую гостиную.

— Но, мамзель, там не топлено!

— Именно поэтому!

— И мадам Сильвия с дочерью пожаловали, они господина Шарля ищут.

— В желтую гостиную!

Тут я протестую.

— Ведь тетя Сильвия не одна, она с Эуриалией!

— Да ладно, сам знаешь: жарко или холодно, буря или штиль — Эуриалии все нипочем. Послушайте, Грибуан, а кузен Филарет явился?

— Сидит в нашей малой кухне, мамзель Нэнси, и чуток выпивает с Грибуаном, говорит, чтоб не застудить внутренности.

— Он закончил работу для дяди Кассавы? Если нет, выставить его за дверь.

— Мышиное чучело — да, да, мамзель, принес, очень даже славно получилось.

Доктор Самбюк смеется каким-то булькающим бутылочным смехом — точь-в-точь бутылка булькает горлышком.

— Последний трофей в списке охотничьих побед бравого Кассавы! Поймал на своей перине мышку и нежненько придушил ее двумя пальцами. А ведь тому сорок лет и веретенников стрелял!

Буль-буль!

— Всех в желтую гостиную, — командует Нэнси, — я хочу кое-что сообщить.

Мамаша Грибуан удаляется, шаркая старыми шлепанцами.

— Мне тоже идти? — с тоской вопрошает маленький доктор.

— Да, и хватит пожирать вафли.

— Тогда я прихвачу с собой чашечку кофе с ромом и побольше сахара. В мои годы посидеть в желтой гостиной — все равно что соснуть после обеда в погребѣ, — ворчит Самбюк.

Из всех мрачных и мерзлых комнат Мальпертью желтая гостиная самая гнусная, обшарпанная, зловещая и промозглая.

Сумрак едва рассеивают два канделябра о семи свечах каждый, только я больше чем уверен: Нэнси распорядится зажечь три, от силы четыре свечи витого воска.

Там, в полутьме, сидя на высоких стульях с прямыми спинками, люди превращаются в неясные тени, голоса шелестят, словно шорохи в пустыне, слышны лишь слова скорби, ненависти или отчаяния.

Нэнси берет из кухни лампу с фитилем, чтоб пройти по коридорам, где уже царит непроглядная темень. Потом лампа будет гореть в прихожей, на постаменте статуи бога Терма — Нэнси вовсе не намерена дополнительно освещать предстоящее собрание.

— Я оставлю тебе свечку, Элоди.

— На четки да на молитву хватит, — соглашается наша няня.

В желтой гостиной, как я и ожидал, — смутно чернеющие силуэты.

Устраиваюсь на единственном низеньком стуле, напоминающем скорее церковную скамеечку для молитвы, и стараюсь распознать присутствующих.

Обитую черным репсом софу оккупируют три сестры Кормелон в своих неизменных траурных вуалях: три богомола вечером подстерегают какого-нибудь беспечного инсекта, ненароком попавшего в пределы их досягаемости.

В своей стылой неподвижности они словно не замечают никого, но я чувствую, как их взгляд с холодной злобой фиксирует наше появление.

Неотесанный, дурно одетый кузен Филарет, едва заведя нас на пороге, кричит:

— Привет! Не хотите взглянуть на мою мышку?

И размахивает дощечкой, на которой распято что-то серо-розовое.

— Сначала я хотел ее усадить в позу белочки, да вышло не больно-то удачно, совсем даже не здорово, — жизнерадостно поясняет он в своей обычной простоватой манере.

Семейство Диделоо расположилось поближе к свету канделябров.

Дядя Шарль сосредоточенно разглядывает свои надраенные до блеска ботинки. Тусклая и невзрачная тетя Сильвия — персонаж в стиле гризайль — адресует в нашу сторону улыбку безвольного рта; отчетливо слышно, как при малейшем движении у нее на шее постукивают друг о друга гагатовые пластинки украшения.

А я глаз не могу отвести от дочери Диделоо, моей кузины Эуриалии. Даже в платье, сшитом по фасону исправительных заведений для распутниц, она превосходит красотой Нэнси: в роскошной

рыжей гриве то и дело пробегают искорки, и глаза — нефритовые.

Сейчас они прикрыты веками, о чем я очень сожалею — с ними хочется играть, как с драгоценными камнями, перебирать их пальцами, ловить прихотливые зеленоватые отблески, оживлять своим дыханием.

Неожиданно раздается скрежет, схожий с вокалом птицы-сорокопута:

— Мы желаем видеть дядю Кассава!

Это взяла слово Элеонора, старшая из сестер Кормелон.

— Через три дня вы все его увидите, все вместе и в последний раз. Он собирается что-то объявить. Будут присутствовать нотариус Шамп и отец Айзенголт в качестве свидетеля. Такова воля дяди Кассава.

Все это Нэнси выговорила залпом и молча уставилась на пламя свечи.

— Речь пойдет о завещании, полагаю? — осведомляется Элеонора Кормелон.

Нэнси не отвечает.

— Я охотно с ним повидался бы, — подключается кузен Филарет, — уж он-то наверняка похвалил бы мою мышку. Но его воля — закон, я возражать не собираюсь.

— Теперь, когда нас объединяет... — начинает дядя Шарль.

— Нас? Только не надо говорить насчет единения и вообще о нас вместе! — взрывается моя

сестра. — Если мы и собрались, то вовсе не для разговоров. Я сообщила все, что положено, можете расходиться.

— Мадмуазель, мы сюда добирались больше получаса! — возмущается Розалия, средняя сестра Кормелон.

— По мне, так добирайтесь хоть с того конца света, да туда и возвращайтесь, — с трудом сдерживая ярость, отвечает Нэнси.

Внезапно воцаряется молчание, тревожное беспокойство сковывает лица — всех, кроме Эуриалии. Эхо тяжелых шагов доносится из прихожей, словно под плитами разверзлась пустота, пронзительно скрипят петли открываемой двери.

Жалобно звучит чей-то голос:

— Кто же прячется в доме и постоянно гасит лампы?

— Боже мой! Лампы опять гаснут... — стонет тетя Сильвия.

— У статуи бога Терма горел свет, я только собрался подойти, порадоваться огоньку, как *он* задушил фитиль.

— Кто же это? — жалобно вопрошает тетя Сильвия.

— Неизвестно. Я боюсь его, он, верно, черный и страшный. И всегда гасит свет. Помните лампу на площадке, розовую с зеленым, так красиво освещающую лестницу? При мне чья-то рука загасила фитиль, и ночь словно хлынула из адского колодца и поглотила лестницу. Вот уже пять, может, десять

лет — а может, и всю жизнь — я ищу встречи с ним, и все безуспешно. Я сказал «ищу»? Нет, нет, встреча мне вовсе не нужна. А он все гасит лампы — задувает или тушит фитиль...

В комнату только что вошел новый странный гость пугающей худобы и огромного роста — выпрямившись, он превысил бы шесть футов. Все лицо этого скелетоподобного существа заросло отвратительной грубой щетиной, ржавого цвета балахон свисает с плеч.

Он радостно устремляется к зажженным свечам.

— Хоть здесь еще горят... Как прекрасно видеть свет, куда важнее, чем пить и есть.

— Лампернисс, ночной жук, тебе чего тут надо? — восклицает доктор Самбюк.

— Имеет полное право, — мгновенно парирует Нэнси, — он тоже будет на общем собрании.

— Там зажгут много свечей и ламп, — ликует старое чудище. — В моей лавке горит яркий свет, прекрасный, как заря, но мне туда нет доступа, так повелела высшая сила.

— Лампернисс... — начинает дядя Диделоо, унимая испуганно-брезгливую дрожь.

— Лампернисс?... Да, правильно, меня так зовут... «Лампернисс. Лаки и краски» было написано над дверью красивыми трехцветными буквами. Я продавал любые краски, всех оттенков... и серные фитили, и сиккативы, и сланцевое масло, серую и белую мастику, охру, лак светлый и темный, цинковые и свинцовые белила — мягкие и

жирные, как сметана, и тальк, и закрепители для красок. Я — Лампернисс, я любил все цветное, а теперь живу в черной тьме. Я продавал черный костяной уголь и черную голландскую сажу и никогда никому не предлагал черную ночь. Я — Лампернисс, я хороший, меня упрятали в ночь, а в ночи тот, кто гасит лампы!

Плача и смеясь, страшилище тянется паучьими лапами к свечам, обжигает ногти, в убогом ликовании нечувствительный к укусам пламени.

Меня Лампернисс не пугает. Он обретается по заброшенным углам дома; раз в день где-нибудь в глухом переходе Грибуаны ставят миску варева, которое он иногда съедает.

А все присутствующие как-то съежились, словно инстинктивно опасаясь чего-то неизвестного. Невозмутимы только Нэнси и Эуриалия.

Сестра забирает из рук доктора Самбюка чашку, противно дребезжащую по блюдцу; кухня кажется спящей, но зеленый лучик скользит меж полуприкрытых век: наверняка она наблюдает явление жалкого ночного жука Лампернисса.

— Выметайтесь! — коротко бросает Нэнси гостям.

— Вы так вежливы, кухня... — скрежещет в ответ Элеонора Кормелон.

— Ждете, чтоб выставили за дверь?..

— Нэнси, прошу вас, — вступает дядюшка Диделоо.

— А вы... вам... — рычит Нэнси, — вам бы лучше помолчать и убраться восвояси, да поскорее.

— Разве вы здесь хозяйка, мадмуазель? — интересуется Розалия Кормелон.

— Дошло наконец?

— Она зажигает свечи, негасимые свечи, их никто не задувает! — восклицает Лампернисс. — Будь же благословенна!

Страшилище неуклюже переминается перед горящими свечами: на стене, как на экране, приплясывает тень, от которой, словно от живого существа, всячески норовит уклониться кузен Филарет, — бедняга, похоже, так ничего и не уразумел в быстросменяющихся, малоприятных событиях и репликах.

— Мои краски! — кричит Лампернисс, пританцовывая перед крохотными огоньками жалкой иллюминации, — они все тут! Я больше никому не продам их, и никто не придет их отнимать!

Внезапно он впадает в задумчивость, сквозь грязные серо-бурые заросли на лице глаза умоляюще обращены к Нэнси.

— А вдруг тот, кто гасит лампы... о, Богиня!

Одним жестом — движением жнеца, под рукой которого падают наземь горделивые колосья, — Нэнси закрывает собрание.

— Увидимся через три дня.

Медленная процессия теней потянулась к двери. Эуриалия следовала за матерью; без зеленого пламени ее глаза казались незрячими.

Дядюшка Шарль замешкался у порога. Похоже, хотел что-то сказать Нэнси, да передумал и вы-

скользнул в сумрак передней. Короткая заминка стоила ему места в процессии, и Алиса, младшая из сестер Кормелон, прошла вперед.

Неожиданно послышалось ее болезненное «Ох!»

Нэнси рассмеялась своим пронзительным смешком.

— Ха! Он никак не уймется — вечно распускает свои руки.

Доктор Самбюк раскопал в углу тонкую тросточку и безжалостно стегал ею хнычущего Лампернисса.

— Ой-ой, — причитает несчастный паяц, — бесы отнимают у меня краски... Горе мне... куда же подевались краски — их нет... За что же меня бьют и бьют!

С криком бросился он к лестнице: его уродливый силуэт по-обезьяньи перепрыгивает со стены на стену под светом ламп — их по одной на каждой площадке.

— Вот одна и погасла! — вдруг завопил он.

Что-то черное, бесформенное проступает на миг то тут, то там на стенах и витражах высоких окон.

— И здесь погасла, и здесь! Это он, а я его не вижу. Он забрал весь свет и все краски. И опять бросил меня в ночь!

— На кухню! — скомандовала Нэнси. — Безумец прав. Тварь, что гасит лампы, совсем рядом!

И темнота откликнулась:

— Тварь-что-га-сит-лам-пы...

Нэнси равнодушно пожала плечами. Я очень любил сестру, но она всегда оставалась для меня загадкой. В страшном шквале событий, перетрясших наши жизни, женщины казались мудрее мужчин. Увы! Приближаясь к тайне, я с первых же слов теряюсь в предположениях; так, гадая, можно обвинить мою сестру в безразличии: если она провидела будущее, почему не воспротивилась ужаснейшей из судеб?

— Ну вот, — сказала Элоди, откладывая четки.

И молча поставила на огонь вино с сахаром и пряностями.

— Славный вечерок, — высказался Самбюк. — А что, дети мои, не разговеться ли нам? Бравый Кассав любил ночное разговенье. После полуночи кушанья и вина обретают особый букет, вкус и аромат — это открыли еще древние мудрецы.

Почтенное состоялось разговенье. Среди прочего был подан язык в соусе, и доктор воспользовался случаем, чтобы поведать нам, как на пиру у Ксанфа-фригийца Эзопу подавали лишь блюда из языка, а он называл сию часть тела то лучшим, то худшим угощением на свете.

Самбюк наелся и раздулся, как недоросший питончик, Нэнси удалилась к себе в спальню, а мы с Элоди остались бодрствовать у постели заснувшего дядюшки Кассава.

На ночь его облачили в скуфью бергамского бархата с серебряной кисточкой; при тусклом свете

ночника с плавающим фитилем он выглядел так комично, что я тихонько захихикал.

Дядюшка и в самом деле умер на третий день, последние часы перед кончиной будучи в абсолютно здоровом уме и разговорчивом настроении. Однако зрение временами отказывало — несколько раз он гневно восклицал:

— Куда пропала картина Мабузе? Шарль Диделоо, жулик вы этакий, верните картину на место! Все останется в доме, все, слышите вы?

Нэнси удалось его успокоить.

— Прелесть моя, — он взял руки сестры в свои когтистые лапищи, — назови всех присутствующих, а то вместо людей лишь какие-то тени.

— Нотариус Шамп сидит за столом с бумагой, перьями и чернильницей.

— Хорошо. Шамп свое дело знает.

Старый поверенный, с лицом суровым и честным, признательно склонил голову, хотя и понимал, что умирающий не видит его жеста.

— Кто дальше?

— Стул рядом с ним не занят.

— Так ты пригласила Айзенготта, чертовка?

— Конечно, дядюшка. Рядом с вами сидит мой брат Жан-Жак.

— Отлично, весьма приятно слышать... Ха! Мой юный друг Жан-Жак, твой дед тоже был мне другом — бог мой, еще каким другом! — и притом отъявленным мерзавцем. Уж он-то наверняка

поджидает меня где-нибудь в закоулке Вечности, и это меня радует.

— Дамы Кормелон тоже здесь.

— Воронье слетелось на падаль! Мы ведь давненько знакомы, не так ли, Элеонора, Розалия и Алиса — хотя ты вроде бы помоложе и уж несомненно по-красивей других. Понимаете, о чем я? Разумеется, *ведь порой вам дано понять*, ха-ха! Физиономии у вас злующие, зато нечистый вознаградил вас отменными мозгами. Прощайте, а поскольку за мной вроде еще должок, я его скоро улажу.

— Кузен Филарет...

— Да уж, кузен мой кровный родственник. С этим родством ни ему, ни мне ничего не поделать. Он здесь по праву, хотя, смею полагать, второго такого глупца не выходило из рук Создателя.

Филарет тоже поклонился, будто услышал от дяди Кассав величайшую похвалу.

Уловив его движение, Кассав улыбнулся.

— Филарет всегда исполнительен и услужлив, — мягче добавил он.

— Матиас Кроок... — чуть помедлив, тихо произнесла Нэнси.

Дядюшка был явно недоволен.

— Н-да, пожалуй, и несправедливо прогонять его... Да ничего, утешится! Пусть возвращается в свою любимую лавку.

Тут старик с трудом повернулся набок, сию секунду разглядеть молодого человека, и в глазах его мелькнула странная нерешительность.

— Я иногда ошибался в жизни, Кроок, — честно говоря, довольно редко, — но мне уже некогда исправлять ошибки. Справедливо или нет, уйдите отсюда!

Матиас Кроок ретировался с жалкой улыбкой на сконфуженном красивом лице; глаза Нэнси пылали темным огнем.

— А вот и доктор Самбюк явился.

— Пусть забьется где-нибудь в кресло, и суньте ему чего-нибудь погрызть.

— Чета Грибуанов тоже здесь.

— Добрые и преданные слуги уже столько лет, что и не сосчитать. Таковыми они и останутся.

— Лампернисс — на лестнице, следит за горящей лампой.

Дядюшка Кассав зловеще засмеялся.

— Пусть следит, пока горит лампа, ибо ее задуют.

— А здесь вот дядя Шарль Диделоо, тетя Сильвия и Эуриалия.

Умиравший скорчил гримасу.

— Когда-то Сильвия была красива, но это в прошлом. Я рад, что не вижу ее. Да, красотку Сильвию Шарль встретил на...

— Двоюродный дядя! Двоюродный дядя! — тревожно возопил Шарль. — Я вас умоляю!

— Ладно уж, — а ты, Эуриалия, мой прекрасный цветок, сядь подле меня с твоим кузенком Жан-Жаком. На вас двоих я только и надеюсь и с этой надеждой покидаю сей мир.

За дверью раздался умоляющий вопль:

— Нет, нет, не гасите лампу!

Порог переступил человек величественной наружности и, не обращая ни на кого внимания, уселся рядом с нотариусом Шампом.

— Айзенголт пришел! — воскликнул дядя Кассав.

— Да, пришел, — возвестил голос, звучный, как колокол.

С трепетным почтением я взирал на вновь прибывшего.

Очень бледное удлинненное лицо, казавшееся еще длиннее благодаря пышной, пепельного оттенка бороде. Пристальный взгляд черных глаз; руки неправдоподобной красоты, какие иногда видишь у надгробных изваяний в церкви. Одет бедно, зеленый сюртук лоснится потертыми швами.

— Шамп! — торжественно провозгласил дядюшка Кассав. — Здесь собрались мои наследники, объявите сумму состояния, которое я оставляю им.

Стряпчий склонился над бумагами, медленно и раздельно выговорил цифру. Настолько огромную, непомерную, фантастическую, что у собравшихся голова пошла кругом.

Очарование золотой цифры нарушил возглас тети Сильвии:

— Шарль, ты подашь в отставку!

— Само собой, — ухмыльнулся дядюшка Кассав, — обязательно придется.

— Это состояние, — продолжал нотариус, — не подлежит разделу.

Испуганно-разочарованный ропот тут же утих, поскольку Шамп читал далее:

— После кончины Квентина Моретуса Кассавы все здесь присутствующие под страхом потери прав на наследство и других возможных выгод должны поселиться и жить под крышей этого дома.

— Но у нас же есть дом, наш собственный! — простонала Элеонора Кормелон.

— Не прерывайте, — строго заметил поверенный. — ... Должны жить здесь до своей кончины, причем каждый получит пожизненную годовую ренту в...

И снова узкие губы стряпчего назвали колоссальную цифру.

— Свой дом продадим, — бормотала старшая из дам Кормелон.

— Все будут обеспечены кровом и питанием отменного качества, что специально оговорено завещателем. Супруги Грибуан, пользуясь благами наравне с остальными, останутся в положении прислуги и никогда не будут пытаться его изменить.

Нотариус сделал паузу.

— Строение Мальпертью не должно подвергаться никаким переделкам. Последнему из живущих под его крышей перейдет вся завещанная сумма.

— Условия, касающиеся дома, распространяются и на москательную лавку; Матиас Кроок до конца будет исполнять обязанности приказчика с утроенным пожизненным содержанием. Только

последний жилец дома имеет право закрыть магазин.

— Айзенголт ничего не получает, не ищет выгоды и не преследует никаких интересов — он будет свидетелем безукоризненного соблюдения условий завещания.

Нотариус взял из папки последний листок.

— К завещанию имеется приписка. Буде случится, что последними останутся в живых мужчина и женщина, они обязаны вступить в брак — чета Диделоо автоматически исключается, — и состояние должно поровну разделить между ними.

Воцарилось молчание: разум отказывался принять все услышанное.

— Такова моя воля! — твердым голосом объявил дядюшка Кассав.

— Да будет так! — торжественно откликнулся сумрачный Айзенголт.

— Подпишитесь, — распорядился поверенный Шамп.

Все подписались, кузен Филарет поставил крест.

— Теперь уходите, — лицо у дядюшки Кассавы внезапно исказилось. — Айзенголт, вы оставайтесь.

Мы ретировались в сумерки желтой гостиной.

— Кто проследит за нашим размещением в этом доме? — спросила Кормелон-старшая.

— Я, — коротко ответила Нэнси.

— А почему, собственно, ВЫ, мадмуазель?

— Попросить Айзенготта объяснить вам? — вкрадчиво осведомилась сестра.

— Мне кажется... — вмешался дядя Шарль.

— Чепуха! — оборвала Нэнси. — Впрочем, вот и господин Айзенготт.

Он прошел на середину комнаты и оглядел нас по очереди пристальным тяжелым взором.

— Господин Кассав желает, чтобы Жан-Жак и Эуриалия присутствовали при его последних минутах.

Все склонили голову, даже Нэнси.

Дядюшка Кассав тяжело дышал, в его стекленеющих глазах отражалось пламя свечей.

— Кресло, Жан-Жак... сядь в свое кресло... а ты, Эуриалия, подойди ко мне.

Кузина скользнула вперед, послушная и все же великолепно безразличная к странной торжественности момента.

— Посмотри мне в глаза, дочь богов, — пролепетал дядя изменившимся голосом, в котором, казалось, звучало боязливое почтение. — Посмотри мне в глаза и помоги умереть...

Эуриалия склонилась над изголовьем.

Умирающий испустил долгий вздох, я услышал несколько слов, тут же растаявших в тишине:

— Мое сердце в Мальпертюи... камень в камне...

Кузина так долго не двигалась, что мне стало страшно.

— Эуриалия... — взмолился я.

Она обернулась со странной улыбкой на губах. Затуманенный взгляд полуприкрытых глаз — ни огонька, ни мысли.

— Дядюшка умер, — сказала она.

В этот миг отчаянное рыдание донеслось с лестничной площадки.

— Он задул лампу... Я изо всех сил оберегал ее, и все-таки она погасла. Ой-ей-ей, лампа погасла!

глава вторая

ЗНАКОМСТВО С МАЛЬПЕРТЮИ

Гений ночи унес лисью голову, дабы украсить ею свой дом и тем почтить его

ИСТОРИЯ ХУСЕЙНА

Малые божества, такие, как пенаты, брауни, гласменнхены, отнюдь не суть духи, но миниатюрные инкарнации и, следовательно, абсолютно материальны и заимствуют силу от земли, на коей живут.

УОРТ (Сравнительный фольклор)

Солнце! Дайте мне солнце!

ИБСЕН (Привидения)

Настала пора обрисовать Мальпертюи, и меня охватывает странное бессилие. Образ отступает, подобно замку Морганы, кисть неподъемно тяжелеет в руке живописца — столько деталей, требующих описания и определения, ускользают, теряют очертания и тают туманными клочьями.

И я отказался бы от поставленной задачи, когда бы не помнил наставлений моего чудесного учителя, доброго аббата Дуседама: мало смотреть, важно уметь видеть.

За шесть недель до смерти дядюшки Кассава мы перебрались с набережной Сигнальной Мачты в Мальпертюи.

Я всегда с нежностью буду вспоминать наш дом на набережной. Маленькое, причудливое строение; благодаря зеленоватым стеклам окон днем в комнатах таился необыкновенно мягкий, словно аквариумный, полусвет, насыщенный ароматами вербены и любимого табака аббата Дуседама, частенько нас навещавшего.

Входная дверь открывалась в холл — единственное просторное помещение под кровлей, — за которым неусыпно надзирал со стены портрет моего отца, капитана Николаса Грандсира, в свою очередь охраняемый почетным караулом внушительной оружейной коллекции.

Поначалу капитан посылал вполне достаточно денег для оплаты жилья и относительно безбедного существования. Однако к моменту нашего переезда к дядюшке Кассаву чеки из сингапурских, шанхайских или кантонских банков приходили все реже и суммы все уменьшались.

В период сравнительного благосостояния в доме на набережной Сигнальной Мачты друзья не пренебрегали возможностью воздать должное кулинарным талантам Элоди, и аббат Дуседам,

самый почетный из них, отличался постоянством.

Это был низенький человечек, округлый и толстенький, как бочонок, с жизнерадостной физиономией, подобной полной луне, и всегда в запятнанной сутане.

Кроме хорошей кухни (здесь Элоди была на высоте), он любил доброе вино, голландский табак и старые книги.

Имя его вполне заслуженно не кануло в безвестность, ибо связано с некоторыми книжными изданиями, которые и посейчас не утратили определенного авторитета. Так, читатель обязан ему весьма углубленным исследованием гравюр Уэнделла Диттерлинга, своеобразно написанной биографией Жерара Доу, а также изысканиями в области кузнечного искусства XV века.

Кроме того, аббат Дуседам продолжил любопытные труды доктора Мизе из Лейпцига, имевшие предметом исследования лики, язык и сравнительную анатомию ангелов.

Аббат доказывал, что сии небесные духовные сущности выражают свои мысли посредством светоиспускания, а цвет используют вместо звуков.

Он регулярно служил мессу, ни минуты не экономил на ежедневном чтении требника, подавал пример целомудрия и смирения — при всем том начальство его не любило. Занятия темой доктора Мизе создало ему незаслуженную репутацию ересиарха и повлекло неоднократные ссыл-

ки в монастырские обители со строгим уставом. Однако самые придирчивые и мелочно-щепетильные сановники церкви не смели предать забвению прошлое: молодые годы сего пастыря прошли под далеким небом, в гибельных краях, где рядовые поборники Христовы отстаивали славу Божию ценой собственных мучений и крови.

При каких роковых обстоятельствах свел он знакомство с капитаном Николасом Грандсиром? Аббат никогда не касался этого вопроса, а отец ограничивался тем, что завершал свои письма «горячим дружеским приветом славному святому Тату, которого хранит Господь на радость бедным смертным, дабы могли приобщиться вечной благодати».

— И что за «Тату» такое? — подозрительно спрашивала Элоди.

— А это такая толстая тварь вроде меня, — пояснял аббат Дуседам, — только вот она осталась на берегах Амазонки, не то что я — пью здесь доброе вино, ем всякие лакомства и вовсе не заслуживаю милосердия Господня.

— Как истолкуете вы название дома, принадлежавшего дядюшке Кассаву, — название, подобное проклятию? — спросил я однажды, изображая любопытство научно-познавательного толка.

Аббат Дуседам напустил на себя озабоченно-сосредоточенный вид, весьма ему чуждый, и объяснил:

— Мудрые мужи, сочинители знаменитого и столь красочного «Романа о Лисе», наделили име-

нем Мальпертью самое логово лисовина-коварного. Не слишком отдаляясь от сути употребления этого слова, я разумею Мальпертью как обитель зла, или, скорее, лукавства. Лукавство же является, по преимуществу, прерогативой Духа Тьмы. Основываясь на оном постулате и трактуя его расширительно, я заключаю, что Мальпертью — прибежище Лукавого, то есть Дьявола...

Я скорчил испуганную гримасу.

— Предпочитаю просто лиса. На оконных рамах — помните, те парные окна на фасаде, — вырезаны какие-то мерзкие фигурки...

— Кальмары-стрела, гюивры, герпетоны, — уточнил аббат.

— И среди них лисьи морды еще самые симпатичные; а на каменных консолях под этажными перекрытиями — такие же изображения.

— Это не более чем зловредная *otocyon megalotis*, лисица большеухая. Однако не спешите, мой юный друг, не спешите. Лисий образ по праву относится к сфере демонологии. Японцы, признанные авторитеты в этой потаенной и грозной науке, недаром считают лиса кудесником, могущественным чародеем и ночным духом с весьма обширными возможностями inferнального толка. В некоторых гримуарах — кстати, я категорически против чтения и тем паче изучения подобных книг, — на гравюрах, изображающих борьбу святого Михаила с восставшим ангелом, повер-

женный Лукавый наделен притворной и нечестивой физиономией лиса.

К сожалению, сколько ни рылся я в архивах, выяснить мне не удалось, почему дом дядюшки Кассавы был так назван. Полагаю, сим именем нарекли его монахи Барбускины — в прошлые века они владели большей частью служб и угодий, приписанных к дому. Лично у меня Мальпертью вызывает печальные предчувствия и ощущение угрозы.

— Расскажите об ордене Барбускинов, — внезапно выпалил я, прекрасно зная, сколь неохотно Дуседам касался этой темы.

Его округлые толстенные ручки беспомощно и досадливо задвигались.

— Орден... послушайте, мой мальчик, ордена как такового никогда не было — просто так говорилось в народе. Добрые монахи из обители, вами подразумеваемой, были бернардинцы, кои много претерпели от морских и сухопутных гёзов во время восстания Нижних провинций против Его Католического Величества...

Но я упорствовал.

— Верно, эти ваши монахи носили бороды, и потому...

— О нет, не впадайте в подобное вульгарное заблуждение: Барбускины носили не бороды, они надевали апостольники, монашеские куколи¹, в

¹ Barbe — борода (*франц.*), barbute (barbette) — апостольник, куколь, нагрудник — части монашеского одеяния.

знак покаянного обряда. Возможно, по этой причине они и получили прозвище — я бы все же не осмелился настаивать, тем более в письменной форме, на таком предположении! Мир их праху, ведь они были святыми людьми, и заслуги их умножены выпавшими на их долю страданиями и гонениями.

— Так ли, аббат? Мне сдается, предание говорит совсем другое на сей счет!

— Замолчите! — взмолился аббат Дуседам. — Все это не более чем мерзкие слухи, заблуждения, увы, с дьявольской помощью живучие и упорные.

В таком духе проходили наши беседы на упомянутые темы; передав их содержание, я чувствую себя более готовым вернуться к описанию Мальпертюи.

Нередко склонялся я над старинными гравюрами с изображениями улиц старого города: исполненных надменной скуки, враждебных любой попытке оживить их хотя бы на бумаге с помощью света и движения.

Без всякого труда мне удалось разыскать улицу Старой Верфи, где находится Мальпертюи; а вот и сам дом в компании высоких, зловещего вида соседних строений.

Огромные крытые балконы с балюстрадой; каждое крыльцо — а их несколько — обнесено массивными каменными перилами; башенки, увенчанные крестами; на парных окнах крестообраз-

ные переплеты; резные изображения драконов и тарасков; обитые гвоздями двери.

В облике дома словно запечатлелись, слившись воедино, высокомерие его властителей — грандов и вельмож — и униженный страх простых прохожих, спешащих побыстрее проскользнуть мимо.

Фасад — мрачная маска, чуждая безмятежного покоя, искаженная личина, которой не утаить сжигающие ее изнутри горячку, страдание, гнев. Заснуть в одной из огромных спален дома — значит обречь себя на кошмар; постоянные его жилыцы поневоле знают с кровавыми призраками жертв, — замученных, заживо ободранных, замурованных, — а может, с чем-то и пострашнее.

Так, по-видимому, думает случайный зевака, замешкавшийся в тени здания, — и вот он уже спешит прочь, к деревьям на перекрестке, к журчанию фонтана, белокаменной голубятне и соседней часовне Пресвятой Девы Семи Скорбей.

Увы!.. Я слишком уклонился от намеченной цели...

Аббат Дуседам упомянул как-то о старых архивах, где многое могло бы открыться об этом доме — могло бы, но не открылось.

Я вошел в Мальпертюи, проникся его настроением, для меня нет тайн в его закоулках. Ни одной упорно запертой двери, необследованной залы, запретной комнаты или потайного хода, и все же...

Все же на каждом шагу — тайна, и каждый шаг отбрасывает новую сумрачную тень — темница неотступно следует за пленником.

Аббат Дуседам неединожды интересовался прилегающим садом: просторный, словно парк, окруженный такой устрашающе высокой стеной, что остроконечные металлические стержни наверху отбрасывали тень лишь перед самым полуднем.

Если смотреть из стрельчатых окон дома, кажется, вся обширная площадь сада покрыта ровным газоном, на котором волнистыми зелеными шапками выделяются вековые деревья. А на самом деле растет здесь редкая и жесткая трава, куцые деревца бересклета да чахлый кустарник; лишь у самого основания стены заросли овсяга и кислицы торжествуют над бесплодием почвы.

Угрюмые деревца бережно охраняют от дневного света непонятно чьи личинки, копошащиеся в земле, и пышную мертвенно-бледную поросль из семейства споровых.

Но привычные формы жизни, неотлучные от жизни нормального дерева, изгнаны отсюда: в ветвях не углядишь нагловатой побежки дрозда, не спугнешь дикого голубя, не вызовешь гневного возмущения соек.

Однажды в полночь я услышал неуверенный голос лесного жаворонка, таинственной ночной птички, и его робкую песнь аббат Дуседам счел за вещий знак несчастья и опасности.

На берегу центрального пруда в зарослях стрелолиста обитает лишь голенастый коростель: время от времени он подает о себе весть — словно напильник работает по металлу; да еще в пасмурную погоду где-то в хмуром поднебесье жалобно плачут ржанки.

Упомянутый пруд, довольно большой, внезапно открывается за барьером из скальных дубов, которые сомкнутым строем стоят плечом к плечу, переплетя короткие узловатые ветви.

Вода в пруду похожа на чернила — несомненный признак безмерной глубины; а уж температура — руку отдергиваешь, словно от укуса. И все-таки пруд рыбный — Грибуан вершей ловит зеркальных карпов, зеркальных окуней и великолепных, отливающих синевой угрей. Метрах в сорока за крутым склоном южного берега еще одна живая преграда — из высоких тяжеловесных деревьев хвойной породы: впечатление столь негостеприимное, что поневоле замешкаешься перед этим рубежом.

По ту сторону ощеренной иглами тьмы предстает омерзительное зрелище: вся изъеденная язвами каменная кладка стен в черных наростах, пустые глазницы окон, провалившаяся кровля — развалины старинного монастыря Барбускинов.

Чтобы подняться на исполинское крыльцо и приблизиться к единственной окованной железом двери, нужно сначала одолеть пятнадцать высо-

ченных ступеней, стиснутых с обеих сторон вму-
рованными в камень перилами.

Только прилив необычайной отваги позволил
моему добрейшему учителю Дуседаму взойти туда
и приняться за обследование печальных останков
здания, охраняемого собственным безобразием.

Предполагалось, что результаты изысканий
увидят свет в печатном виде. Аббат и в самом деле
записал кое-какие свои впечатления — отрыви-
стые и сумбурные, — но так и не собрался закон-
чить сочинение, хотя и прочил ему читательское
внимание. Вот один фрагмент его заметок: «Уди-
вительно, в каком неудобстве жили добрые мона-
хи; я полагаю, сие обстоятельство весьма спо-
собствовало священному покаянию. Кельи узкие,
низкие, без доступа свежего воздуха и света. Сто-
лы и скамьи рефекториума вытесаны из грубого
серого камня. Часовня столь высока и темна, что
свод ее виднеется, будто на дне колодца. За ис-
ключением просторных, но крайне неприглядных
кухонных помещений, нигде нет и следа очага
либо камина. Часть подвала служила, по-видимо-
му, лабораторией: сохранились мощная кладка
вытяжных отверстий, а также сложенный из кир-
пича перегонный куб внушительных размеров, во-
допровод и ложницы от кузнечного горна. Хотя
занятия спагией строго осуждались в минувшие
века, некоторые монастырские ученые страстно
увлекались этой наукой.

Не меньшее изумление вызывает необычайная протяженность подземных ходов и закоулков, ныне доступных лишь местами по причине обвалов, частичных затоплений и рудеральной растительности, вполне заслуживающей внимания сведущего ботаника. Очевидно, во времена, печально известные всевозможными гонениями, добрые монахи стремились обеспечить себе убежища и пути сообщения или бегства».

Я пытался было побудить аббата и к исследованию самого Мальпертью — задача несравненно более легкая, но он отказывался с упорством, граничащим с явным недовольством.

После редких визитов в какую-либо неосвоенную часть дома Дуседам долго сидел на своем стуле, нахохлившись, опустив голову и поджав губы, вспотевшие руки мелко подрагивали; подозреваю, в эти минуты он твердил про себя какие-нибудь экзорцизмы против нечистой силы. Вполне возможно, смиренному и верному служителю Господа свыше дано было провидеть ужасную участь, уготованную ему в этом прибежище великого зла, и он принял свою судьбу, как святые принимают мученический венец.

Только в нашей мрачноватой кухне в его глазах пропадало выражение ужаса: творения и общество Элоди придавали силы выносить некое таинственное постороннее присутствие, а быть может, и решимость бросить вызов скрытым и невидимым, но тем более грозным силам.

Бедный, милый аббат страдал оттого, что чревоугодие не просто предосудительно, но и большой смертный грех. Суфле из костного мозга, напигованная чесноком баранья нога и точащая сок домашняя птица, поданные нашей няней на огромный стол полированного дуба, исторгали у аббата сокрушенные вздохи.

Терзаясь раскаяньем, вонзал он вилку в трепещущие нежным жирком аппетитные куски, кромсал филе, изничтожал компоты; в процессе еды он изо всех сил пытался сложить лоснящиеся соусом губы в горькую сокрушенную усмешку, но улыбка его становилась все более блаженной, все более счастливой.

Впрочем, всякий раз ему удавалось убедить себя в невинности гурманства.

— Коли соизволением Господним по уютным ложбинкам и полянам растут грибы, коли мясистый гребешок венчает петушиную голову, в глубине укромных долин цветет дикий чеснок, а виноград Мадейры наливается жаром послеполуденных южных сиест — не для того же они оттеняют вкус рагу из дичи, чтобы явить из сего кушанья орудие гибели и проклятья. Между прочим, у Миноса стол не отличался изобилием.

Так рассуждал он. Но произнеся имя верховного судьи Аида, оратор содрогнулся, и тревога проснулась в добрых голубых глазах.

Мои вопросы часто смущали достойного аббата, в особенности когда речь заходила о Мальпер-

тьюи, дядюшке Кассаве и даже моем отце, Нико-
ласе Грандсире.

— Есть книги, коих прочитанную страницу уже не открывают вновь, — изрекал он. — Жизнь стра-
дает от хронического прострела в шее и не в состо-
янии обернуться назад. Последуем же ее примеру,
не будем касаться былого: над прошлым властвует
смерть и ревниво охраняет свои владения.

— Да ведь позволила же она улизнуть Лаза-
рю, — возразил я.

— Умолкни, несчастный!

— Только вот Лазарь оказался неразговорчи-
вым... Ах, если бы он оставил мемуары!

Тут аббат Дуседам окончательно расстроился.

— Твои безрассудные и непочтительные ре-
чи, — жаловался он, — мне придется искупать до-
полнительным строжайшим покаянием.

Прощаясь с ним на пороге Мальпертьюи, я
удерживал его за полу старой сутаны.

— А зачем дядюшка Кассав завел москатель-
ную лавку?

Мы выходили на улицу, и я заставлял аббата
обернуться: странным образом соседствовали по-
роднившиеся фасады надменного господского до-
ма и невзрачной лавчонки с тусклыми витринами.

Это маленькое строение не отличалось архитек-
турным изыском, хотя принадлежало давно ми-
нувшей эпохе художественного вкуса и гармонии.

Щипец, контуром схожий со старинным шле-
мом, увенчанный фонарем из красного кирпича и

флюгером, отклонился гребнем назад, словно обладателю шлема нанесли жестокий удар в лицо. В сдвоенных, узких, как бойницы, окнах блестели, будто надраенные воском, стекла зеленого бутылочного оттенка.

Над дверью еще висела старая вывеска: «Лампернисс. Лаки и краски».

— А все же зачем эта лавка? — настаивал я. — Ведь Нэнси и Матиас Кроок даже не всякий день и на сто су наторгуют.

И Дуседам отвечал с таинственным видом:

— Краски... ах, мой бедный мальчик, вспомни о чудесных изысканиях доктора Мизе. Краски... цвет... речь ангелов. Дядюшка Кассав возжелал кое-что похитить у наших друзей с неба, но... тсс! Об этом лучше не говорить, ведь никогда не знаешь, кто подстерегает наши неосторожные слова и даже мысли!

Резким движением он высвобождал сутану из моих рук и, не оглядываясь, спешил прочь; случилось, под порывом ветра его накидка взмывала, точно большие черные крылья.

Славная Элоди, женщина простая и здравомыслящая, отвечала на мои праздные разглагольствования так:

— Господь хранит свои таинства и карает святотатца, на них посягающего. Отчего же дьявол, божья обезьяна, не может ему подражать и в этом? Надо лишь жить по законам Божьим, Жан-Жак, избегать Сатаны и его соблазнов да читать каждый

вечер молитву. Полезно также носить освященное оплечье и поминать святых угодников.

Да, возможно... Как будет видно из дальнейшего, бурлящий поток ужаса застиг Элоди вместе с остальными, но черные чары Мальпертью не в силах были ее погубить.

Возведение в сан (охотно признаю — звучит несколько напыщенно) новых жильцов Мальпертью свершилось без особых заминок и столкновений.

Первым прибыл кузен Филарет, самолично управляя тачкой, куда была свалена вся его скудная поклажа.

Нэнси отвела ему большую комнату с окнами в сад, коей кузен Филарет остался премного доволен, — через два часа она уже вся пропахла формалином, йодоформом и этиловым спиртом.

На столе громоздились чашечки и скальпели, пинцеты и ватные тампоны вперемежку с блюдечками, наполненными стеклянными глазами и порошками красителей. На полках и прочей мебели, словно по волшебству, появилось разное зверье — мертвая фауна, пугающая мнимым жизнеподобием; взгляд перебегал с драгоценной лазури зимородка на элегантно-черного алкиона, фиксировал воплощенное лукавство серебристой ласки и настороженно-угрожающую позу австралийской бородатой ящерицы, погружался в пушистое тепло розовых крохалей и скользил в бледном отблеске змеиной чешуи.

— Братец Жан-Жак, — обратился ко мне кузен Филарет, — мы с тобой чудно поладим. В здешнем здоровенном саду наверняка водится сколько угодно всяких тварей, ты их наловишь, и, будь они в перьях или в шерсти, я их тебе оформлю краше всех живых.

— Единственное живое в саду — мерзкий коростель, — ответил я без всякого энтузиазма.

— Поймай его, увидишь: из моих рук он выйдет совсем не таким гадким.

Семейство Диделоо въехало тихо и незаметно.

Когда я наведалься в просторные апартаменты на втором этаже, назначенные им незлопамятной Нэнси, тетя Сильвия уже вышивала по голубой канве, а дядя Шарль сметывал готовые лоскуты. Кузина Эуриалия не соизволила показаться из своей комнаты.

Как и следовало ожидать, дамы Кормелон оказались не столь покладисты. Правда, сестра выделила им весьма отдаленные покои, до которых приходилось добираться длинным, мощенным каменной плиткой коридором, под гулкое эхо собственных шагов; потолки спален терялись где-то в неимоверной высоте, словно в часовне. Поэтому дамы настроились всецело скептически и не смягчились даже при виде чудесных настенных гобеленов.

— От этих образин кошмары будут сниться!

— Здесь в комнату нужно не меньше тридцати свечей, — заявила Элеонора.

— В каждой комнате приготовлено по шесть свечей, — сухо отозвалась Нэнси. — Впрочем, каждый волен докупить недостающие две дюжины — ведь нотариус Шамп уже выдал деньги за первый месяц.

— Свои деньги мы потратим по *своему* усмотрению, мадмуазель, и обойдемся без советов!

Доктору Самбюку досталось помещение причудливое и забавное — абсолютно круглая комната в башне, замыкающей западный фасад дома. Доктор был полностью удовлетворен, поскольку предпочитал, по его словам, смягченное величие солнечных закатов откровенной горячке восходов.

Завидев в холле Лампернисса, заправлявшего маслом лампу, Нэнси и ему предложила светлую и уютную каморку в южном флигеле.

Лампернисс встревожился.

— Нет, нет, не хочу... о, Богиня... нельзя, чтобы *Он* знал, где я живу. Я прячусь в разных местах, где *Ему* меня не сыскать и не украсть свет и краски!

Нэнси спокойно и привычно улыбнулась, а Лампернисс убежал с жалобными причитаниями.

Ежедневно — за завтраком в двенадцать часов и за ужином в семь — все обитатели дома обязаны были присутствовать в трапезной зале, просторной и поистине роскошной.

Мебель черного дерева, инкрустированная эбеном и розовым перламутром, в свете ламп и вы-

соких витых восковых свечей обретала прозрачную глубину драгоценного камня; лучи полуденного солнца пронизывали оконные витражи — и в воздухе россыпями, каскадами переливались авантюрины.

Когда в громадном очаге разгорались поленья, казалось, именно здесь — собственное жилище самого огня, куда он каждый раз возвращается после временного отсутствия; по сторонам стояли массивные серебряные таганы и подставки для дров.

Супруги Грибуан, при добровольном содействии Элоди, прислуживали за столом, и, согласно воле покойного дядюшки Кассавы, каждый завтрак или ужин больше походил на пиршество.

Хотя участники застолья собирались с единственной целью — сколь возможно продемонстрировать свою холодность и неприступность, должен сознаться, что первая же трапеза получилась чуть ли не забавной.

Дамы Кормелон ели за четверых и брали добавку к каждому блюду с очевидной решимостью не упустить ничего, по праву им причитающегося.

Тетя Сильвия пожеманилась над закусками, зато храбро атаковала жаркое и откровенно объедалась, перепачкав всю салфетку и заляпав скатерть.

Дядя Диделоо быстро оценил редкостные достоинства выставленных вин и теперь то и дело бросал горящий взгляд на мою чудесно красивую сестру.

Доктор Самбюк мгновенно нашел общий язык с кузеном Филаретом, своим соседом по столу.

— М...ням...м...ням..., — возглашал чучельщик, преисполненный гастрономического энтузиазма, — не знаю, что я такое ем, но это чертовски вкусно!

— Это тушенное в портвейне филе с ореховым пюре, — пояснил старый врач.

— А завтра нам такого еще дадут? — спросил Филарет, игриво подтолкнув собеседника локтем.

В полное восхищение его привели фигурки, украшающие каждую чашу великолепного фарфорового сервиза из Мустье, — в них подали приготовленный в роме рис со сметаной.

— У меня чертенок с шестью рожками! А у вас, доктор... ага, какой-то парень пьет прямо из бочки!

Он собирался обследовать фарфор и у других присутствующих, чем навлек на себя гнев дам Кормелон: защитив свои владения салфетками, они спросили кузена Филарета, знаком ли он хоть немного с обычаями света.

Добрый малый не почуял подвоха и просто душно ответил, вполне-де знаком, коль скоро с самого дня своего рождения живет на этом свете и, кстати, вполне им доволен.

Нэнси, не такая уж злая в глубине души, видимо, одобряла зарождающиеся взаимоотношения, а меня тревожило поведение Эуриалии.

Держалась она за столом прямо и чопорно, ела мало и с откровенным неудовольствием. Ни искор-

ки в затуманенных глазах, незрячих, даже когда они останавливались на мне.

Скверное блеклое платьице к тому же было ей мало и безжалостно стесняло, искажало очертания тела; казалось, свободно жили в ней только волосы — пышная грива, отбрасывающая красные отсветы при малейшем движении головы.

Когда со стола было убрано, дядя Шарль предложил во что-нибудь сыграть.

К моему изумлению, дамы Кормелон согласились на партию в вист с дядюшкой в качестве четвертого партнера.

Доктор Самбюк осчастливил кузена Филарета согласиен на игру в шашки.

Тетя Сильвия уюстилась в кресле и заснула. Нэнси внезапно исчезла, к явному разочарованию дяди Диделоо. Я не успел заметить, как рядом со мной вдруг очутилась Эуриалия. Необычное, почти болезненное ощущение пронизало меня, когда Эуриалия коснулась моей шеи холодными и твердыми, словно каменными пальцами. Рука ее медлила — долго, так долго, что все мое существо словно погрузилось в вечное оцепенение.

Чистый хрустальный звон настенных часов возвестил одиннадцать.

Дамы Кормелон, довольные, клохтали — дядюшка Диделоо проиграл четыре су.

— А вы играете гораздо лучше, чем я ожидал, Филарет, — с некоторым сожалением отметил доктор Самбюк.

— Я регулярно сражался в шашки в «Маленьком Маркизе», — оправдывался таксидермист. — только один Пикенбот, сапожник, частенько меня обставлял.

— Надо будет научить вас в шахматы, — объявил Самбюк.

Тетя Сильвия, просыпаясь, зевнула, и во рту у нее блеснуло золотом.

— Жан-Жак... — прошептала Эуриалия.

— Что? — тихо промолвил я, с трудом шевеля губами, потому что рука ее все еще касалась моей шеи и странное онемение не проходило.

— Слушай меня, а сам молчи.

— Хорошо, Эуриалия.

— Когда все остальные умрут, ты женишься на мне...

Мне хотелось повернуться, чтобы увидеть ее, но рука на моей шее стала еще тяжелей и холодней, и я не мог пошевелинуться. Однако прямо передо мной стояло трюмо.

Два неподвижных зеленых огня светились, словно огромные лунные камни сквозь толщу сумрачных вод.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Я увидел Капитана: голова его была при-
бита гвоздем к мачте, и я понял, что его
покарали боги.

ГАУФ (Корабль-призрак)

В город безрадостно и бесславно пришла осень. Возможно, за городской стеной в золото оделись леса, дорожные колеи устал мягкий, упругий ковер, фруктовые сады во плоти явили хвалу изобилию, и вокруг царили чистая радость и благое довольство. Но в стан сынов человеческих осень пришла скупой на дары и улыбки.

Исторгнутые неизбывными страданиями, слезы текли по фасадам — лицам домов; улицы полнились резким клекотом водных потоков и в такт шквальному порывам ветра призрачные руки нетерпеливо стучались в каждую дверь и окно.

Деревья, изгнанники улиц и аллей, съежились — виднелись лишь их углем набросанные абрисы, а мертвые опавшие листья, повинувшись прихоти ветра, так и норовили, будто вражеская длань, нанести пощечину похлеще.

Украшенные гербами печные трубы Мальпертью изрыгали в серое небо дымные колонны — ведь в каждой комнате рокотало пламя, лакомое до дров и каменного угля.

Когда стрелка настенных часов приближалась к четырем пополудни и серебристое эхо откликлось на последние шаги маятника, из недр кухни по дому победно расползлся запах кофе, а супруги Грибуан спешили расставить зажженные лампы в специально отведенных местах: в углах коридоров, на лестничных площадках, в нишах холла.

Неяркое рассеянное сияние этих отдаленных друг от друга звезд только усугубляло сумрак Мальпертью.

В такие минуты москательная лавчонка, прикорнувшая в глубине бокового вестибюля на первом этаже, становилась надежной обителью света. Я пытался найти там временное убежище и сталкивался с молчаливой враждебностью Нэнси и Матиаса Кроока.

Это их территория, и они не скрывали, что ни с кем не намерены делиться преимуществами своего уютного владения.

Иногда я натыкался на всхлипывающий и стонающий призыв, скрюченный на лестничных ступеньках: Лампернисс издали тосковал по своему утерянному раю.

Я был непрочь с ним подружиться — Лампернисс вызывал у меня странное чувство жалости и

даже нечто вроде инстинктивной симпатии; он же сторонился меня, как и всех прочих. И все-таки я не сдавался, нарочно попадаясь на его пути, чтобы сказать несколько приветливых слов.

Отчасти я был вознагражден за упорство, если, конечно, можно назвать наградой первое из тревожных открытий, сделанных мною в Мальпертхюи.

Жизнь в замкнутом пространстве породила и первый призрак — скуку.

Целыми днями лил дождь и завывал ветер: чудилось иногда, что это уже не просто ливень, а настоящий потоп.

В саду с его омерзительными тайнами тоже невозможно было отвлечься от мрачных молчаливых будней дома. Деревья бились насмерть голыми ветвями, исхлестанное тело земли покрылось волдырями, которые лопались брызгами грязи; когда же ветви и сучья замирали для короткой передышки, слышно было, как раздраженно булькает и пузырится пруд.

Поскольку я не большой любитель чтения, меня не прельщала и богатая домашняя библиотека; к тому же темные кожаные переплеты пахли отсыревшей обувью.

Однажды я все же отважился навестить в библиотеку и наткнулся там на дядю Диделоо и Алису Кормелон, младшую из трех сестер.

Смешавшись, дядя попытался перейти в наступление.

— Хорошо воспитанный юноша входит, предварительно постучав!

— Значит, я не хорошо воспитанный юноша! К тому же здесь, кроме мышей, обычно никого не бывает!

Хлопнув напоследок дверью — в стиле Нэнси, — я подумал, что Алиса Кормелон в общем-то совсем недурна собой.

После этого случая дядя был со мной неизменно холоден, зато в обращенных ко мне взорах младшей Кормелон угадывалось не только беспокойство, но и намек на соучастие в чем-то забавном.

Конечно, всегда можно было укрыться у Элоди, но она, если не колдовала у своих плит, то была целиком поглощена четками и молитвенником.

— Вознесем молитву святой Венеранде, чтобы поскорей кончилась эта погода, выглянуло солнышко и ты смог поиграть в саду.

*Заступница святая Венеранда,
Прими сей дар смиренный...*

Не знаю, что полагалось смиренно принести в дар святой Венеранде, — задолго до конца благочестивого обращения я улизнул из кухни и отправился искать убежища у кузена Филарета.

Там мне, верно, удалось бы обрести отдохновение даже не на один день, если бы не воздух: меня начинало мутить от густых испарений карболки, чуть ли не облаком витающих в комнате.

Таксидермист постоянно трудился над каким-нибудь омерзительным шедевром и очень любил давать тошнотворно-подробные пояснения.

— Принес бы ты зверюшек, малышей, — мне их всегда не хватает, а здесь, по правде говоря, и вообще не разживешься. Как насчет того коростеля, конечно, когда дождь кончится, а?

Однажды я было возрадовался, учуяв новый аромат среди удушающей вони:

— Вот не знал, что вы курите, кузен Филарет!

— А я и не курю, кузен Жан-Жак.

— Однако здесь пахнет табаком, и очень даже неплохим!

— Курил аббат Дуседам, а не я.

— Как, разве аббат сюда заходит? — удивился я.

— Приходил, — сухо ответил Филарет.

И отвернулся.

Я не только удивился, но и обиделся — как, мой добрейший наставник не известил меня о своих визитах в Мальпертью?

О дамах Элеоноре и Розалии Кормелон говорить нечего: я избегал их общества, да и они наверняка без меня не скучали.

Что до Грибуанов, то привратницкая так же мало располагала к веселью, как и сами ее обитатели. Пару раз я к ним навещался, был принят вежливо и почтительно — так встречают случайного путника, которого не ждали и не рассчитывают увидеть вновь. Осведомившись о моем

здоровье, прокомментировав вчерашнюю и сегодняшнюю погоду и высказав прогноз на завтра, со мной прощались, словно спроваживая подальше.

Тетушка Сильвия — в ее салоне я словно навещал недвижимую и немую статую; увы, с Эуриалией увидеться тоже не удавалось! А меня сжигала лихорадка, знакомая разве охотникам за сокровищами, и имя ей было Эуриалия. После общих застолий она исчезала, подобно тени; все попытки случайно встретиться с ней в коридоре или столкнуться на пороге открывшейся двери, застать в одном из салонов или увидеть ее в окне, закончились неудачей. Вокруг меня на морщинистых нетопырьих крыльях кружила скука и вынуждала искать встреч с этим необъяснимым манекеном, которого преследовали загадочные тени и сама тень теней, — с Ламперниссом.

Как-то кузен Филарет поведал мне с глазу на глаз:

— Я тут смастерил новую мышеловку. Отличная штука вышла, вместительная — такая не поранит, да и шкурку не попортит, даже если кто и покрупнее мыши попадет. Ты, кузен, все закутки здесь знаешь, так поставь ее получше — может, где на чердаке?

— Там кроме мышей да крыс ничего не поймашь.

— Может быть, может быть, а кто знает? На этих старых чердаках чего только не водится. Вот, помню, жил по соседству с портом некий господин

Ликкендорф, так ему попалась роскошная розовая крыса неизвестной породы, а мой друг Пикенбот, сапожник, ручался, на чердаке, дескать, у его бабушки жили мыши с хоботом. А еще...

Тут моего собеседника окликнул доктор Самбюк:

— Эй, Филарет, как насчет урока в шахматы?

Чучельщик сунул мне в руки ловушку — целую клетку из жесткой проволоки: на нескольких крючках уже была приманка — кусочки сала и сыра.

— Удачной охоты, кузен... Как знать?

Это охотничье предприятие меня отнюдь не воодушевляло, но исследовать чердаки Мальпертхейм занятно, хоть на время избавишься от скуки.

Я взбирался по бесконечным лестницам: одни, прямые и широкие, казалось, должны вести в залы храмов, другие устремлялись вверх тесной спиралью и упирались в люки, приподнять которые удавалось, только изо всех сил надавив плечом.

Совершенно неожиданно я очутился там, где хотел.

Анфилада сводчатых многогранников; кое-где сквозь вентиляционные отверстия и смотровые окошки пробивался серый свет. Повсюду абсолютно пусто: ни одного хромоногого стула, задвинутого в угол, ни старого комода, прислоненного к стене из потемневших кирпичей, чтобы не рассыпался в прах; пол не заставлен источенными жучком сундуками — чистота, будто на мостике пассажирского лайнера.

Мне стало холодно. Ветер, разгуливавший по кровельным черепицам снаружи, наполнял пустоту до завываниями, то вздохами.

Я поставил ловушку на первое попавшееся место и поспешил прочь, обещая себе, что этим коротким вторжением в верхние приделы Мальпертьюи и ограничится моя помощь кузену Филарету.

Прошло два дня.

Утром я проснулся раньше обычного — сильнейший порыв ветра чуть не высадил застекленную дверь моей спальни. За окном в серых предрассветных сумерках, зловеще подкрашенных лимонно-желтым на востоке, потоки воды с неистовым ревом низвергались на сад.

Холод скользкой змеей заполз под одеяло, я содрогнулся. И вспомнил, что Элоди, верно, уже разожгла в кухне огонь, и там тепло и уютно.

Скорей туда!

В сумерках коридоров уже кое-где проступали блекло-серые провалы; от погасших ламп исходил густой, жирный чад остывающего масла и обугленных фитилей.

Я спустился в холл первого этажа, откуда вели лестницы в кухонные помещения, как вдруг из мрака протянулась мертвенно-бледная рука и вцепилась в мое плечо.

Я испустил вопль.

— Тише! Тише! Не кричите... нельзя никого звать! — раздался умоляющий шепот.

Передо мной стоял Лампернисс.

Он дрожал всем телом — в полутьме его истощенный силуэт ходил ходуном, точно деревце под порывами шквального ветра.

— Ведь это вы поставили ловушку, — прошептал он, — так, значит... вы знали?... Я бы никогда не посмел... Вот один и попался! Вы должны пойти, я боюсь. Думаете, это они гасят лампы?

Возражать было бесполезно; его рука сжала мое предплечье, как тисками, и с неожиданной силой старик увлек меня к лестнице наверх.

И я вновь проделал путь на чердак, только на сей раз с пугающей быстротой — Лампернисс буквально тащил меня. Никогда я не видел его таким разговорчивым, как в эти лихорадочные минуты, — и таким счастливым: сквозь заросли на его лице глаза пылали, как две раскаленные жаровни, и причиной тому была радость.

Лампернисс наклонился ко мне с таинственным видом, словно собираясь доверить важный секрет:

— Я, конечно, понимаю — это *Он*... Но ведь *Он* мог бы забыть. Если бы *Он* забылся и забыл про меня, а? И время, и законы природы — все здесь во власти каких-то загадочных сил, которые то погружают в забвение, то пробуждают память. А вдруг *Он* забыл, и кто-то другой гасит лампы? Я кое-что о них знаю. Они злы оттого, что такие маленькие, и издеваются над всеми, кто больше них. В судьбах грядущего им не отведено никакой роли. И значит, их можно ловить в эту

противную крысоловку... ага, так им и надо! Я бы их убивал и мучил — тогда ведь мои лампы не гасли бы и никто не посмел бы украсть у меня краски?

— Не знаю, о ком вы говорите, Лампернисс, и вообще ничего не понимаю, — как можно мягче сказал я.

— Ах да, ведь здесь и нельзя отвечать по-иному.

В конце крутого подъема, на самых подступах к чердаку, его лихорадочный порыв внезапно угас.

— Послушайте, — прошептал он, — вы ничего не слышите?

Он так затрясся, что и по мне словно пробежали разряды из лейденской банки.

Да, я тоже слышал...

Высокий пронзительный звук, вгрызающийся в барабанные перепонки, — звук бешено работающего по металлу тонкого напильника.

Временами звук затихал, и в эти мгновенья передышки слышалось что-то вроде раздраженного птичьего чириканья.

— Бог мой, — полувсхлипнул, полусглотнул Лампернисс, — его СПАСАЮТ!

Я оттолкнул Лампернисса и попытался пошутить:

— С каких это пор крысы распиливают ловушки, чтобы освободить своих соплеменников?

Точно пернатый хищник, старик впился в меня желтыми скрюченными пальцами.

— Молчите... и не вздумайте открыть люк — они разбегутся по всему дому! И погаснет свет! Слышите вы, несчастный? Ни ламп, ни солнца, ни луны... вечная проклятая ночь... Бежим отсюда!

По ту сторону люка — резкий лопающийся звук подаввшегося стального прута, громкий писк, пронзительные смешки.

Да-да, тоненькие смешки впивались в уши, как заточенные щипцы, резали слух, как лезвие бритвы...

Я начал вырываться от Лампернисса: лягнув старика так, что он громко застонал от боли, я наконец освободился и крикнул ему:

— Хочу посмотреть!

Лампернисс с хриплым клекотом осел на пол, но уже через секунду, невнятно причитая, мчался вниз по лестницам.

За люком воцарилась тишина.

Я уперся плечами в крышку люка и приподнял ее.

Бледные отсветы зари чуть проникали сквозь слуховые окна; в паре футов от меня стояла ловушка с погнутыми и выломанными прутьями.

С ужасом и отвращением я поднял клетку: красная бисеринка слабо поблескивала на гладком дне — отполированной самшитовой дощечке, — капля свежей крови.

А в дюйме от нее за кусочек приманки цеплялась...

Рука.

Отрубленная кисть руки, с чистым и розовым срезом.

Рука прекрасной формы, с ухоженной смуглой кожей, величиной с... обыкновенную муху.

На каждом пальце этой кошмарной миниатюрной руки рос непропорционально длинный ноготь, заостренный, как игла. Я отбросил ловушку с ее омерзительным содержимым подальше в темный угол.

На чердаке было почти темно, заря только-только осторожно закрадывалась сюда, и в этой полутьме я увидел...

Я увидел нечто размером не больше крысы.

Существо в человеческом облике, но безобразно уменьшенном. А за ним толпились еще абсолютно такие же. Эти гротескные фигурки, эти гнусные насекомые святотатственно присвоили образ и подобие Божье... Хотя и миниатюрные, твари эти так и сочили ужас, злобу, ненависть и угрозу.

Еще секунда — и крошечные монстры набросятся на меня. Я испустил душераздирающий вопль и последовал примеру Лампернисса: свалился кувырком через весь первый пролет, прыгал вниз с верхней ступени каждого следующего марша, стрелой пролетал широкие лестничные площадки.

Внезапно я вновь наткнулся на Лампернисса.

Вприпрыжку преодолевая длинный коридор, он размахивал факелом, пылавшим ярким красным пламенем. Старик бросался от лампы к лампе, подносил к фитилям огонь — и в темноте рождались желтые шары света.

И тут я оказался испуганным и беспомощным свидетелем могущества темных сил в Мальпертьюи.

Едва фитиль лампы успевал разгореться, как бесформенная тень стремительно отделялась от стены и словно наваливалась на огонек — и снова воцарялся мрак.

Лампернисс закричал — погас факел и в его руке.

В течение нескольких дней я не встречал жалкого паяца, только по-прежнему где-то в сумерках коридоров раздавались его причитания.

Кузен Филарет больше не заговаривал о своей ловушке, да и я помалкивал на эту тему.

В скором времени мои тревоги и страхи приковало другое событие, куда более зловещее.

Когда в холле на первом этаже раздавался гонг, все незамедлительно откликались на этот призыв к ужину.

Кузен Филарет обычно первым открывал дверь комнаты и радостно окликал с лестничной площадки своего друга доктора Самбюка:

— Что у нас сегодня на ужин, док? Я как раз проголодался... Удивительно, сколь набивание желудка способствует аппетиту!

А старый врач в ответ:

— Наверняка ляжка какой-нибудь... уточки!

Эскадронной рысью цокали по звонким плитам дамы Кормелон; что касается Диделоо, то они

находились в полной боевой готовности за столом трапезной еще до общего призыва.

Раздавался скрип подъемника, подающего кушанья из кухни в столовую, и Грибуаны начинали деловито суетиться. Нэнси, примерная хозяйка дома, командовала, когда и что подавать.

Часто сигнал к ужину заставлял меня где-нибудь в отдаленной части дома, иногда в саду, если случалась приличная погода.

В этот вечер я услышал гонг из желтой гостиной, где намеревался стащить пару витых свечей и оставить их рядом с миской Лампернисса, — ему был бы приятен такой подарок.

Закрыв за собой дверь гостиной, я не торопясь отправился в столовую и вдруг в конце коридора увидел ярко освещенную штору москательной лавки.

Странно: ведь обычно Матиас Кроок выключал газ и закрывал магазинчик сразу после ухода Нэнси. Он быстро перекусывал в соседней харчевне и возвращался на свидание с моей сестрой на пороге Мальпертью — там они болтали и смеялись до самой ночи.

Уже несколько дней мне не терпелось поведать о своем приключении на чердаке кому-нибудь, кто без улыбки выслушал бы мой удивительный секрет.

Разумеется, я прежде всего подумал об аббате Дуседаме, но он больше не появлялся в Мальпертью.

Матиасу Крооку я симпатизировал, хотя мне никогда не приходилось подолгу с ним беседовать.

Он был миловиден, как девушка, широко улыбался белоснежной улыбкой и уже издали приветствовал меня дружелюбными жестами.

Его тенорок, доносившийся иногда из подсобки для приготовления различных смесей, порой скрашивал гнетущее молчание Мальпертюи. Нэнси уверяла, что он сам сочиняет свои песни; одна из них отныне будет похоронно звучать у меня в ушах до конца дней моих. Очень привлекательная мелодия, в ритме медленного вальса, с легкими вариациями подстраивалась под великолепные слова Песни Песней:

Я роза Сарона и лилия долин...

Имя твое, как разлитое миро...

Нэнси очень любила этот мотив и в хорошем настроении постоянно его напевала.

Пока я смотрел на освещенный магазинчик, раздался голос Матиаса, и Песнь Песней возвестила враждебному мраку о любви и красоте.

Слишком долго поджидал я удобного случая поговорить с глазу на глаз с Матиасом, чтобы упустить такую возможность.

Я живо пробежал по коридору и вошел в москательную лавку.

К моему удивлению, в лавке никого не было — однако совсем рядом голос продолжал петь:

— *Я роза Сарона...*

— Матиас! — позвал я.

— *И лилия долин...*

— Матиас Кроок! — повторил я.

— *Имя твое, как разлитое миро...*

Песня оборвалась; в наступившей тишине было слышно, как шипя выходит газ из медного крана, рождая пляску яркого мотылька.

— Ну же! Матиас, почему вы прячетесь? Кое-что хочу спросить у вас... вернее, рассказать...

— *Я роза Сарона...*

Отпрянув, я ударился о прилавок.

Голос запел снова — несомненно голос Матиаса, только теперь он звучал с удвоенной силой.

— *И лилия долин...*

Я зажал уши руками. Песня гремела, как гром, так, что звенели склянки на полках и стекла в шкафах.

— *Имя твое, как разлитое миро!*

Это было невыносимо. Уже не человеческий голос, но яростный катаракт, обвал звуков и нот, бьющий в стены и потрясающий кровлю, — словно вокруг меня бушевал ураган немыслимой природы и силы.

Я уже повернулся бежать из лавки и звать на помощь, когда увидел самого певца.

Он прятался за полуприкрытой дверью и был огромного роста — по крайней мере, возвышался над прилавком; Матиас Кроок, даже вытянувшись, даже встав на что-нибудь, не мог быть таким высоким.

Я машинально окинул взглядом его фигуру: голова в густой тени; такие знакомые руки, кисти

белые и тонкие; брюки немного растянуты на худых коленях; ноги...

Странно! Свет от газового рожка весело поблескивал на лакированных ботинках и... проби-
вался под ними.

Под ногами Матиаса было светло!

Его ноги неподвижно покоились в воздухе...
А он пел, пел устрашающим голосом, от которого сотрясались не только мензурки на прилавке и безмен с тяжелыми медными шишечками-противо-
весами, но и многие другие, обычно инертные, привычно неподвижные вещи.

Только в конце коридора, у самой столовой, мне удалось перевести дыхание от ужаса и прон-
зительно завопить.

— Матиас умер... он висит в лавке!

За дверью прозвенела упавшая на пол вилка, с грохотом повалился стул; минута гробового мол-
чания сменилась шумом голосов. Еще раз успел
я в неистовстве крикнуть:

— Висит в лавке! Висит в лавке!

И собирался добавить: он все еще поет!.. Но
в тот же момент с треском распахнулись створки
дверей и людской поток вырвался в коридор.

Кто-то тащил меня за собой, кажется, кузен
Филарет. Больше я не видел Матиаса — сестры
Кормелон встали на пороге лавчонки плечом к
плечу и загородили проход.

Над головами дяди Диделоо и тети Сильвии

я видел обнаженные руки сестры, воздетые в прощальном жесте тонущего человека.

Дядя пролепетал:

— Нет же... говорю вам, нет...

Затем голос доктора Самбюка произнес как отрезал:

— Ни-ни... Кроок вовсе не повешен... Его голова прибита к стене!

Я тупо повторил:

— Его голова прибита к стене!

В этом месте мне очень трудно привести воспоминания в порядок. Приходят на ум слова Лампернисса: «Какие-то загадочные силы то погружают нас в забвение, то пробуждают память». Прибавлю, временами обитатели Мальперткюи действуют как будто с ясным сознанием всего происходящего и для них не существует ничего загадочного; а в иные дни они становятся жалкими существами, дрожащими в страхе перед надвигающимся неведомым. А порой мне кажется: довольно небольшого усилия — и все прояснится, однако некая фатальная расслабленность не дает собраться и решиться...

А в тот страшный момент я без всякой мысли отдался общему потоку и вместе с другими — орущими и жестикулирующими теньями — снова оказался в столовой. Чуть раньше перед моими глазами мелькнуло видение. Около изваяния Терма, у лампы с разгоревшимся и коптящим фи-

тилем Лампернисс держал Нэнси за плечи, и до меня донеслись слова:

— О Богиня... просто он тоже не уберег краски и свет!

Не могу сказать, каким образом среди нас внезапно появился Айзенготт. Перед обитателями Мальпертью словно предстал судия в торжественный и зловещий момент приговора.

Он молвил:

— Довольно ныть и суесловить!..

Никому из вас не дано понять происходящее в Мальпертью!..

Да никто и не смог бы понять!..

Каждую фразу отделяло от другой молчание, как будто Айзенготт отвечал на молчаливые вопросы.

Кузен Филарет выступил вперед:

— Айзенготт, я сделаю что нужно.

И они с доктором Самбюком, который, казалось, стал выше ростом, вышли из столовой. Шаги удалялись в сторону москательной лавки и скоро затихли.

— Вы будете жить по-прежнему — таково приказание Кассава! — закончил Айзенготт, обращаясь ко всем обитателям Мальпертью.

Его борода белела, как снег, а глаза сверкали, точно два карбункула.

Ответила одна только Элоди:

— Я стану молиться.

Но Айзенготт не отозвался, хотя эти веские слова несомненно были обращены к нему.

И в самом деле, жизнь потекла прежним руслом, будто кто замазал густым дегтем дикое происшествие того вечера.

Со следующего дня Нэнси начала дежурить в магазине, обслуживая все более редких покупателей; по большей части она пребывала наедине с собой в рыжеватых отсветах газового освещения. Я ни разу не видел ее плачущей и не слышал ни единой жалобы.

Возможно, я один только и продолжал размышлять о случившемся, хотя и мои мысли были туманны и путаны; я долго пытался восстановить в памяти поведение кузины Эуриалии в те трагические минуты и с тягостной уверенностью припомнил: когда все в смятении и ужасе ринулись к месту кровавого происшествия, Эуриалия даже не шелохнулась, осталась сидеть за столом, безразлично или вообще с полным отсутствием мысли продолжала глядеть в свою тарелку.

Мальпертюи явил свою грозную волю жалким пленникам — и они смиренно понурили головы.

Так я никому и не рассказал ни о крошечной отрубленной руке в крысоловке, поставленной в чердачном углу, ни о том, что мертвый Матиас Кроок, голова которого была прибита к стене, громогласно распевал Песнь Песней.

глава четвертая

ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ СИГНАЛЬНОЙ МАЧТЫ

Кто это движется, бодрствует и выжидает в доме сем?

ПОРИЦКИ (История привидений)

Неверно было бы сказать, что ужас Мальпертью проявлялся с неуклонной размеренностью и устрашающие события следовали друг за другом с постоянством океанских приливов или фаз луны, подобно року дома Атридов.

Беря в расчет прекрасные изыскания господина Френеля, я склонен объяснить пики и спады в действии злых сил Мальпертью явлением интерференции. В таком случае происходит нечто вроде пульсации, причем интенсивность явления нахо-

дится в сложном соотношении с фактором времени.

Разговоры на подобные темы вызывают все более явное отвращение у аббата Дуседама, и тем не менее он соизволил сказать что-то о «кривизне пространства», коей объясняется соположение двух кардинально несхожих миров и существование гибельного места их пересечения — Мальпертью.

Это, конечно, лишь образное выражение сути; аббат с мрачным удовлетворением утверждает, что без обширных познаний в математике мне не добиться четкого и ясного знания проблемы.

Он безжалостно оставляет меня в потемках, ибо я никогда не был, не есмь и уж, верно, не буду светочем знаний и кладезем премудрости.

Эманация зла, таким образом, допускает определенные передышки: дух тьмы собирается с силами для нового удара либо просто на время забывает про нас — а мы и рады миру да спокойствию.

Кузен Филарет все чаще ставит в тупик своего шахматного учителя, доктора Самбюка; уставившись в доску, Самбюк ворчит:

— Филарет, мальчик мой, тут одно из двух: либо ты где-то раскопал превосходный трактат по шахматам и втихомолку его изучаешь, либо тебе везет, как последнему висельнику.

Таксидермист довольнехонек, ерзает на стуле и попивает молоко, а Самбюк продолжает:

— Сия комбинация коня с ладьей, основанная на жертве поганой пешки... кх-м! кх-м! да,

парень, ты молодец! Это же находка, я сходу купился!

Тетя Сильвия вышла какой-то сложный рисунок, и Элеонора Кормелон откровенно снисходит до комплимента:

— Настоящий антик, сударыня!

Розалия не собирается отставать:

— Какой милый котик.

Тетя Сильвия поясняет:

— Рисунок мне дала Эуриалия.

И кузина снисходительно комментирует:

— Это горный африканский лев.

Алиса адресует Эуриалии не лишнюю очарования улыбку:

— Вы превосходно рисуете, мадмуазель; вижу, вы работаете над портретом, только не пойму, чей же он?

— Принцесса Нофрит, — коротко бросает кузина.

Тут я вмешиваюсь в разговор.

— Это из искусства Древнего Египта.

— Спасибо за объяснение, — говорит Эуриалия с иронией, весьма для меня болезненной.

Гляжу на нее мрачным взором, в ответ — ноль внимания. А я готов полюбить ее всем своим существом или же возненавидеть всеми силами души. С того самого вечера, когда ее рука сковала меня и неслыханное обещание сорвалось с ее уст, мое существование ей как будто совсем безразлично.

Несколько раз я все более робко предлагал ей украдкой свидание в саду или в библиотеке. Эуриалия коротко и резко отказывала, а то и просто поворачивалась спиной, не сказав ни слова.

Я нахожу, что она одевается как старуха, а ее волосы не возьмет никакой гребень, лицо у нее — каменная маска, и вообще она противная, противная...

В тот день я сказал ей:

— Знаешь, Эуриалия, завтра мне исполнится двадцать лет!

И в ответ получил:

— Ну что ж, самое время выбраться из колыбели.

Я поклялся себе отомстить за такое оскорбление, хоть и не представлял, каким образом.

Впрочем... у меня забрезжила идея, расплывчатая, смутная, но она заставила меня трепетать и краснеть.

Нэнси ни в чем не изменила образа жизни; только совсем побледнела и под глазами синие круги: от этого она даже похорошела — так что дядя Диделоо, случайно коснувшись ее платья, весь дрожит.

Дождь перестал, но, разогнав на небе стада туч, осень спустила с цепи колючий и упорный ветер с востока, возвещающий приближение зимы.

Сад уже выглядит не так враждебно, и я решил воспользоваться немногими относительно теплыми часами, когда там гостит солнце.

Но всякий раз прогулка срывается.

Едва я добираюсь до пруда, меня пронизывает озноб, я плотней укутываю шею шелковым шарфом — без него Элоди не выпускает погулять — и возвращаюсь домой.

Тогда я обещаю себе, что на завтра выйду опять, и... не выхожу. Почему? Чувствую — причина кроется *вне меня*.

Совершенно очевидно — нечто, некая сила не дает мне переступить определенный рубеж, ибо *все, что мне придется там увидеть*, еще не воплощено во времени; и вот я опять узник размеренных будней.

После трапезы мы все дольше задерживаемся в столовой, иногда всей компанией перебираемся в маленькую круглую гостиную, скромную и уютную, оживленную чудесным огнем растопленного камина.

Кресла здесь глубокие и мягкие, на полу пушистый густой ковер чистой шерсти, а в одном из шкапов расположилась целая батарея бутылок, столь ценимых мужчинами.

Вот один из наших вечеров. Даже Нэнси с нами, она согласилась заменить дядю Шарля в висте с дамами Кормелон.

Нэнси играет плохо, Алиса немногим лучше, чем весьма недовольны старшие сестры.

Наконец Розалия не выдерживает:

— Ты играешь словно ребенок, и на ум не придет, что тебе скоро тридцать шесть, Алекта!

Алиса дернулась, и я заметил, как испуганно и гневно вспыхнули ее глаза.

Возможно, ее укололо напоминание о возрасте, а возможно...

Ага, кажется, и старшая сестра не одобряет оговорки средней: рука Элеоноры ложится на плечо Розалии, и та с трудом сдерживает гримасу боли. Только вот почему она назвала младшую Алектой? Похоже на имя Алиса, но я убежден, что старшая Кормелон недовольна именно, казалось бы, незначительной оговоркой.

Самбюк тоже обратил внимание на странное поведение сестер.

Он поднял голову, и на его сморщенном лице появилось какое-то непонятное выражение...

Что тут скажешь — остается пожать плечами... только долгими нудными вечерами обращаешь внимание на такую чепуху.

Вообще-то, сколько бы я ни злился, внимание мое приковано лишь к Эуриалии: она склонилась над альбомом и что-то рисует карандашом...

И вдруг меня передернуло: ни разу не взглянув на меня прямо, злодейка, оказывается, наблюдала за мной в зеркале; гротескная, намеренно окарикатуренная фигура на листе бумаги — несомненно я!

С тяжелым сердцем я покидаю гостиную, сопровождаемый только улыбкой Алисы Кормелон.

Слоняюсь по пустынному дому; кое-где зажжены лампы. Вот уже несколько дней их никто

не гасит, и Лампернисс больше не бродит, будто неприкаянная душа, по коридорам со зловещими тенями; он частенько посиживает даже на кухне, где угощается вафлями и блинами Элоди.

Я вновь прибегаю к единственному способу убить время, которым вполне невинно заполняю тягостный досуг: слежу за Грибуанами! Жалкое времяпрепровождение, что и говорить, да к тому же не слишком богатое открытиями.

В маленьком квадратном оконце слегка сдвинута занавеска — в щелку можно наблюдать Грибуанов и не быть замеченным. Привратничья одновременно служит им кухней, это тесная и самая темная комната во всем доме. Тусклый свет проникает через застекленную фрамугу над дверью, при таком освещении самые мелкие предметы отбрасывают несуразно длинную тень. Если Грибуаны не заняты по хозяйству, они коротают время за грубо сколоченным столом, покрытым старой плисовой скатертью красного цвета.

Грибуан в греческой феске с кисточкой курит длинную темную трубку; его жена, сложив руки на коленях, о чем-то грезит, впериw невидящий взгляд в безыскусные фигурки на картине из Эпиналя¹, украшающей противоположную стену. Даже односложными словами они обмениваются редко.

¹ Эпиналь — город на Мозеле, где с конца XVIII века существовало массовое производство дешевых репродукций на религиозные или бытовые темы

В общем-то смотреть не на что, и однако я ценю время, проведенное перед окошком с приспущенной занавеской: наблюдаю за двумя недвижимыми персонажами и силюсь понять, что же происходит в них самих, счастливых в своей инерции и своем молчании.

Случается, Грибуаны высвобождаются из-под свинцового гнета бездеятельности.

Женщина направляется в самый дальний угол и появляется, прижимая к груди темный кожаный мешок. Грибуан откладывает трубку и облизывает черные губы: они собрались считать свои деньги.

Считают, считают! Считают!

Выражение лиц меняется, и вот уже две огромные крысы когтистыми лапами выстраивают столбики экю и золотых.

Шевелятся поджатые губы, и я угадываю растущие цифры: счет заканчивается неслышной артикуляцией девиза:

— Экономить! Надо экономить!

Звон золотых и серебряных монет не слышен сквозь стекло, и когда супруга Грибуан паучьим движением сгребает их со стола в кошель, они падают беззвучно.

Женщина опять идет в угол; затем садится к столу, руки ложатся на колени, а Грибуан вновь раскуривает трубку, набитую какой-то гадостью, — смрад, напоминающий чад от головешки, проникает через щели в стекле моего наблюдательного пункта.

Мне пришло в голову напугать их. И как-то раз, сам не зная почему, я громко крикнул: Чиик!..

Землетрясение не сильнее ошеломило бы двух затворников, опьяненных деньгами и одиночеством.

Дабы понять, в чем дело, придется сделать небольшое отступление.

Кроме постоянных жильцов в Мальперткюи никогда никого не бывает — за исключением одного лишь творения, столь безликого, что большинство обитателей дома вряд ли когда и узнают о его существовании.

Раз в неделю супруга Грибуан приступает к генеральной уборке всего огромного дома, и благодаря помощнику через несколько часов все прямо-таки блестит и сияет чистотой.

Одет этот помощник в грубое шерстяное платье, а на большую круглую голову словно навинчен головной убор, смутно напоминающий треуголку; фигурой он отталкивающе схож с бочкой, посаженной на толстые ноги со ступнями, как два чугуна; по-обезьяньи длинные руки придают законченность этому грубому наброску человеческого тела. Он таскает громоздкие деревянные бадьи, полные воды, как пушинкой орудует неопикуемой величины швабрами, щетками и тряпками размером с простыню.

Тяжеленные вещи при его приближении начинают скользить и приподниматься будто сами собой; вопреки своей массе сей феномен перемещается и успевает по работе с невероятной быс-

тротой. Когда он колет дрова для растопки — кубометры дров на мелкие полешки, — его топор пляшет в воздухе, а щепки разлетаются вокруг, как градины во время внезапной бури.

Я поостерегся допытываться о нем у Грибуанов: *в Мальпертьюи подобных вопросов не задают* — это правило, которому следуешь изначально и по собственному внутреннему убеждению.

Однажды я вознамерился заглянуть ему в лицо — и отпрянул в ужасе: лица не было.

Под тенью треуголки гладкую блестящую розовую поверхность рассекали три узкие прорезы вместо глаз и рта.

Все приказания Грибуаны отдавали ему жестами, никогда не прибегая к словам; он же изредка выпускал единственный отрывистый звук, будто щелкал клювом ночной козодой:

— Чиик! Чиик!

Откуда он приходил? Куда удалялся, закончив работу?

Однажды только я видел, как Грибуан уводил его куда-то по саду, пока они не скрылись за деревьями.

Так вот, в один прекрасный день, когда супруги насытились страстью скупцов и вернулись в привычное состояние угрюмой прострации, я крикнул: Чиик! Чиик! — и ей-богу, имитация удалась.

Грибуан выронил трубку, его жена неожиданно дико завизжала.

Одновременно они кинулись к двери, в мгновение ока задвинули все щеколды и задвижки, подтащили стол и забаррикадировались стульями.

Из какого-то темного угла Грибуан вытащил длинную абордажную саблю и свирепо пролаял — даже мне было слышно:

— Это ты... это ты... больше некому!

В ответ его жена растерянно заныла:

— А я тебе говорю, не может быть! Абсолютно не-воз-мож-но!

Я счел за лучшее не повторять столь хорошо удавшуюся шутку, опасаясь сделать какое-нибудь неизвестное открытие, и уразумел, что в Мальпертуйи сокрыта еще одна тайна.

Как-то утром на той неделе, когда мне исполнилось двадцать лет, я спустился в кухню: Элоди растапливала печи, чтобы приготовить завтрак. Доктор Самбюк составлял ей компанию — смаковал глоточек испанского вина и грыз печенье.

— Элоди, — попросил я, — дай мне ключ от нашего дома.

— От нашего дома? — удивилась няня.

— Ну да, от нашего дома на набережной Сигнальной Мачты — собираюсь туда наведаться после завтрака.

Впервые после переезда в Мальпертуйю я намеревался на несколько часов отсюда улизнуть. Элоди колебалась, на ее прямодушном лице отразилась явная боязливость и осуждение.

Самбюк принялся напевать:

— Когда вырастают крылья...

Элоди покраснела и тихо промолвила:

— Постыдился бы...

— А почему, — возразил доктор, — совсем даже наоборот. Если император Катая жил, окруженный восхищением, почитанием и любовью семи миллионов своих подданных, так это потому, что уже в возрасте десяти лет он содержал семьсот жен.

— Я его нянчила, вот такого малыша, и подумать только...

Элоди отвернувшись, и я услышал подавленное всхлипывание.

— И все-таки, Элоди, дай мне ключ.

Тяжело вздохнув, она подошла к огромному комоду, пошарила в ящике и молча протянула мне ключ.

Сердце мое странно и сладостно щемило, когда я уходил из кухни; на темной лестнице послышалось шуршание женского платья, но обнаружить никого не удалось.

За завтраком я едва прикоснулся к еде, чем вызвал насмешки кузена Филарета — он-то воздал должное плотным мясным блюдам и не менее сытным кушаньям из птицы. Я исподтишка наблюдал за остальными, как будто малейший неосторожный жест мог выдать план чудесной эскапады.

Но, как обычно, у них не вызывало интереса что-либо новое, если оно не наполняло тарелки.

Дядя по-прежнему пялился на погруженную в задумчивость Нэнси; Самбюк растолковывал Филарету тонкости меню; сестры Кормелон, за исключением сдержанно улыбающейся Алисы, ели будто по особому заданию; тетя Сильвия подчищала тарелку краюхой хлеба; Эуриалия развлекалась игрой солнечных лучей в своем бокале; Грибуаны неслышно скользили от одного сотрапезника к другому, словно куклы на колесиках.

Уже переступив порог Мальпертюи, я вдруг ощутил страх таинственного постороннего вмешательства, которое могло помешать выполнить намеченное.

Я испуганно оглянулся вокруг, но в обычно царивших здесь сумерках ничто не шевельнулось, только бог Терм издали смотрел на меня белесыми каменными глазами.

Улица встретила приветливой улыбкой; косой луч солнца осветил воробьиную битву за соломинку, издалека доносилась скороговорка торговца свежей рыбой.

Я переключил внимание на людей, возникающих передо мной в золотистой дымке: обыкновенные невыразительные лица прохожих, спешащих по своим будничным делам; они вовсе не замечали меня, я же был готов расцеловать эти незнакомые физиономии.

На горбатом мосту через речку с зеленоватым течением какой-то старикашка углубился в созерцание опущенной в воду лески.

— Холодновато сегодня, а все же два леща есть! — прокричал он, когда я шел мимо.

Перед витриной булочной неловкий подмастерье, весь обсыпанный мукой, невзначай наклонил корзину, из нее посыпались свежие, еще дымящиеся хлебцы; в открытом окне кабачка с настежь распахнутыми шторами двое, не выпуская из рта раскуренных трубок, торжественно чокались голубыми фарфоровыми кружками, увенчанными шапками пены.

Все эти безыскусные картинки дышали жизнью: я жадно глотал чуть морозный воздух улицы, в котором, казалось, слились и аромат горячих хлебов, и вкус пенного пива, и журчание бегущего потока, и ликование старого рыболова.

Сразу за углом набережной Сигнальной Мачты виден наш дом с опущенными зелеными ставнями.

Ключ туго повернулся в замочной скважине, и дверные пружины слегка заскрипели — мягкий упрек за долгое отсутствие, высказанный добрым и тихим домом моего детства.

Я отсалютовал величественному и суровому Николасу Грандсиру в раме с потускневшей позолотой и помчался в маленькую гостиную: сколько безмятежных часов проведено здесь!

В воздухе витал легкий запах прели и затхлости, но в очаге были приготовлены дрова.

И стоило взыграть первым языкам пламени, как дом окончательно пробудился и встретил меня с привычным радушием. Широкий диван, на

который Нэнси набросала несусветное множество подушек, так и приглашал прилечь, за стеклами шкафа всеми цветами спектра поблескивали переплеты книг — заброшенных, но уже навечно запечатленных в памяти.

Кокетливые безделушки делали вид, будто налет пыли ничуть не умаляет их прелести, розово-полосатые раковины при моем приближении вновь приглушенно запели вечную песнь моря. Бесчисленные приветствия, слившиеся в дружеское объятие, исполненное ласки и участия, звали остаться здесь подольше.

В углу каминной полки лежали трубка вишневого дерева и табакерка из покрытой глазурью керамики, забытые аббатом Дуседамом.

Несколько опасаясь терпкого табачного соблазна, я все же с умилением вспомнил моего славного наставника, набил и раскурил трубку.

До сих пор удивляюсь, сколь триумфальным оказалось мое приобщение раю курильщиков: организм отнюдь не возмутился, напротив, с первых же затяжек я изведal полнейшее удовольствие.

Я весь отдался наслаждению тройным счастьем — временно обретенной свободой, старым добрым окружением и одиноким посвящением в табачное таинство, — и радость заставила на время забыть про смутное ожидание...

Ожидание неизвестно чего, но, выходя из Мальпертюи, я был уверен — ожидание непременно сбудется.

И теперь назвал свою уверенность вслух:

— Я жду... Я жду...

Призывая в свидетели окружающие вещи, я вопрошал слегка запыленные безделушки, гулом приборя зовущие морские раковины, тонкие завитки голубого дыма.

— Я жду... я жду...

И внезапно в ответ раздалось робкое звяканье колокольчика в прихожей.

На миг сердце замерло в груди от страха, я весь сжался в уютном тепле диванных подушек.

Звонок позвал вновь — настойчиво и нетерпеливо.

Казалось, целая вечность минула, пока я встал с дивана, прошел мимо портрета Николаса Грандсира, открыл входную дверь.

В мягком золоте послеполуденного солнца вырисовывался силуэт, лицо скрывала вуаль. Гибкая фигура бесшумно скользнула в холл и дальше, в гостиную с диваном.

Вуаль упала, я узнал эту улыбку... сильные руки легли мне на плечи — и я склонился под их тяжестью, жгучие губы впились в мои...

Алиса Кормелон пришла... Теперь я был уверен, что ждал именно ее, *она и должна была прийти...*

Пылающие поленья наполнили гостиную знойным смолистым ароматом, табачный дым смешался с запахом пряностей и меда, а на тканый шерстяной ковер с мягким шелестом упали вуаль, платье Алисы, источая пьянящее дыхание роз и амбры.

На потемневшие скаты крыши спустились сумерки, в золе камина догорал огонь, и темные воды залили зеркала, когда Алиса уложила свои слегка растрепанные длинные густые волосы цвета гагата и эбенового дерева.

— Пора уходить, — прошептала она одним дыханием.

— Давай останемся здесь, — отчаянно воспротивился я, сжимая ее в объятиях.

Без малейшего труда Алиса освободилась из этих жалких оков — совершенная форма ее рук, словно изваянных из слоновой кости, таила силу под стальную силу воли.

— Значит, мы вернемся сюда еще...

Уже стемнело, и я не мог видеть выражения ее глаз.

— Возможно, — вздохнула она.

Пленительные очертания тела, поведавшего мне свои тайны, вновь скрылись под платьем, накидкой, вуалью.

Вдруг Алиса схватила меня за руки — она вся трепетала.

— Слушай... кто-то ходит по дому!

Я прислушался, и меня пробрала дрожь: явно приближались тяжелые медленные шаги, и этот приглушенный звук безжалостно всколыхнул, разорвал тишину.

Невозможно было различить, спускался ли кто-то с верхнего этажа или поднимался из подвала, но звук шагов пронзил, заполнил все про-

странство и тем не менее не отражался от стен, не будил отголосков.

Шаги миновали холл и внезапно оборвались у двери гостиной, где мы с Алисой замерли, окаменев от ужаса.

Сейчас дверь медленно повернется на петлях и...

Дверь не отворилась.

Звучный и торжественный голос медленно произнес в вечерней тьме:

— Алекта! Алекта! Алекта!

Один за другим три размеренных удара в дверь — три раза мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди, точно удары сотрясли изнутри самое мое естество.

Алиса пошатнулась, выпрямилась и быстрым движением распахнула дверь.

Холл был пуст, зеленоватая полоска, словно потерявшийся лунный блик, протянулась сквозь витраж.

— Идем, — приказала она.

Мы очутились на улице; в мягких сумерках один за другим зажигались огни.

— Алекта...

Гневное восклицание, и боль в моем плече, будто сжатом тисками.

— Никогда... слышишь? Никогда... не произноси больше этого имени, иначе горе и ужас тебе!

У поворота на мост она покинула меня не прощаясь; не знаю, какой дорогой она добралась в

Мальпертюи раньше меня, а я ведь шел кратчайшим путем и не мешкал ни секунды.

Элоди взяла у меня ключ и ничего не сказала.

Я присел к очагу, в кастрюлях на огне тихо истекло слезой жаркое.

— Элоди, я захватил с собой из нашего дома трубку и табакерку аббата Дуседама — кажется, мне доставит огромное удовольствие курить.

Только что вошедший доктор Самбюк одобрительно подхватил:

— Рад этому, мой мальчик. Если вы курите трубку, значит, под крышей Мальпертюи появился еще один мужчина, а Бог свидетель — не так уж здесь много мужчин!

Элоди по-прежнему молчала и явно пребывала в дурном расположении духа.

Я вышел из кухни, Самбюк за мной.

На лестнице маленький доктор взял меня за руку.

— Слушайте!

Издали доносились стенания.

— Это Лампернисс — лампы снова гаснут!

И доктор удалился припрыгивающими птичьими шажками.

В вестибюле я наткнулся на Нэнси, сестра увлекла меня в угол к богу Терму; при свете лампы под стеклянным колпаком она внимательно оглядела меня.

— О, Жижи, что происходит? Что случилось? Ты на себя не похож... за несколько часов, пока

мы не виделись. Ты... ты весь в отца... на портрете...

Она хотела поцеловать мои волосы, вдруг отпрянула, словно пронзенная болью.

— Ты пахнешь розой и амброй... о, мой Жижиг! И убежала в темноту, безудержно рыдая.

Я остался стоять, прислонившись к постаменту каменного бога; где-то во тьме бесконечно печальный голос произнес:

— Богиня плачет... похищен свет ее очей и сердца!

Вечер завершился в ротонде гостиной: шахматы, вист и вышивание — вышивание, вист и шахматы.

Алиса, вопреки обыкновению, ни разу не ошиблась за всю игру и смущенно покраснела, заслужив похвалу.

Эуриалия встала, выронив карандаш из непослушных пальцев, и обогнула большой стол, за которым расположились игроки.

За спиной Алисы она остановилась и якобы заинтересовалась игрой; я сразу заметил, что она вовсе не рассматривает раскрашенные кусочки картона — взгляд ее был прикован к шее Алисы, белой, удлиненной, бесподобно грациозной шее — о, с какой болью расставались с ней мои губы!

Эуриалия вся вибрировала, будто одержимая чуждой злой волей, руки ее поднимались все выше, выше к этой белой шее.

С улыбкой на устах Алиса думала о своем, не подозревая о безмолвном гневѣ моей кузины.

Что до меня, то мне вовсе не было страшно, напротив, гордость и торжество обуревали мою душу.

«Она ревнует! Эуриалия ревнует!»

Даже не задаваясь вопросом, догадывается ли кузина о моем дерзком любовном походе, я про себя ликовал:

«Она ревнует!»

И почти желал, чтобы хищные ногти впились в шею жертвы, однако кульминации не последовало: руки Эуриалии опустились, скрылись в складках черного платья; снова медленно обойдя стол, она теперь включила в этот круг и меня и оказалась за моей спиной.

Я пристально всматривался в стоявшее неподалеку трюмо, совершенно темное из-за скромного освещения комнаты.

Внезапно во мгле вспыхнули два зловещих светлячка — уже второй раз я увидел впившиеся в меня глаза тигра, только в этот миг они горели не загадочным опаловым светом — из них рвалось пламя неопишѣмой ярости.

Я не обернулся.

ЕХІТ ДИДЕЛОО... ЕХІТ НЭНСИ... ЕХІТ ЧИИК...

Некоторые злодеяния подлежат только
божественному отмщению.

КНИГА ЕНОХА

Уже далеко не впервой подкараулив на лестнице Алису, я украдкой передал ей записку с просьбой о повторном свидании в доме на набережной Сигнальной Мачты.

Заканчивалась записка мольбой: «Положите ваш ответ под изваяние бога Терма».

Но Терм и Купидон, покровитель влюбленных, — разные боги; на третий призыв, настойчивый и горестный, последовал отклик — квадратик бумаги с кратким «Нет!»

Все мои ухищрения добиться свидания с младшей из дам Кормелон были бесполезны.

Я подстерегал Алису, как охотник подстерегает жертву, она уклонялась от встреч с ловкостью, граничащей с издевкой, — и так продолжалось до тех пор, пока я случайно не открыл причину ее упорства; это открытие разбило мне сердце.

Случилось это в один ничем не примечательный день, когда Мальпертуй затих в своем странном оцепенении; все таинственное и ужасное, сокрытое в доме, то ли на время исчезло, то ли замерло, собираясь с силами.

В желтой гостиной, столь враждебной присутствию кого бы то ни было, что туда редко кто заходил, сидел дядя Диделоо и что-то быстро писал.

В приоткрытую дверь я видел его, склоненного над листом бумаги, — на лбу испарина, глаза лихорадочно блестят.

Торопливо просушив исписанный лист промокательной бумагой из бювара, дядя запечатал конверт и быстро покинул комнату.

Я моментально проскользнул в гостиную и схватил бювар.

Почерк у дяди Диделоо оказался крупным и понятным, его гусиное перо оставляло довольно толстые чернильные линии, так что на промокательной бумаге отпечаталась точная копия написанного, только в зеркально отраженном виде.

Делом одной секунды было поднести промокательную бумагу к изобличающему зеркалу. О, мое сердце, мое бедное двадцатилетнее сердце...

Обожаемая Алиса!

Хочу вновь с тобой свидеться, однако наши встречи в Мальпертью становятся совсем небезопасными. Хотя я и успокаиваю себя непрерывно, что нас не подозревают, но чей-то внимательный и злоедающий взгляд, я чувствую, следит за нами из черной мглы. Необходимо вырваться на пару часиков из этого окаянного дома. Я был занят поисками убежища, которое надежно укрыло бы наши ласки, — и нашел!

Запомни хорошенько адрес: улица Сорвиголовы, дом семь.

Эта улочка мало кому известна, начинается она от площади Вязов и кончается на Гусином Лугу.

В доме номер семь живет мамаша Груль: старуха весьма жадна до денег, наполовину слепая и глухая, да не настолько, чтобы не услышать тройной звонок, — по такому звонку она откроет дверь в любое время. Итак, тебе откроют хоть в полночь, никогда не узнают и даже не взглянут в твою сторону. Поднимешься по лестнице на площадку с двумя дверями.

Комната, НАША КОМНАТА, выходит на палисадник и обязательно тебе понравится — у мамы Груль во времена ее расцвета, сдается, был неплохой вкус.

Жду тебя сегодня в полночь. Из Мальпертью уйти несложно: если не слишком настаивать на висте, все улягутся в десять часов.

Считай это пожеланием... Увы, обожаемая моя Алиса, не вынуждай меня приказывать. Иначе придется назвать тебя — Алекта...

Твой Шарль

Я выронил бювар, открывший мне такую гнущность, и выбежал в сад, чтобы скрыть от случайного взора слезы ярости и стыда.

Когда пронзительный северный ветер, порывами сотрясавший деревья, высушил слезы, на ум пришла последняя фраза письма, несомненно таившая угрозу: «Иначе придется назвать тебя — Алекта!»

Почему это имя, даже созвучное имени Алиса, пробудило бешенство в совиных глазах дамы Элеоноры Кормелон?

Чей таинственный голос произнес это имя в тот вечер на набережной Сигнальной Мачты и почему Алиса явно страшится чего-то и чуть ли не угрожает мне?

Страданиям сердца отнюдь не чуждо мучительно-острое наслаждение — это я открыл, вернувшись в желтую гостиную, чтобы вновь перечитать столь горькие для меня слова в бюваре.

Но бювара на месте не оказалось.

Наверное, дядя Диделоо вспомнил о своей оплошности и забрал бювар, а посему я не особенно встревожился.

За ужином я наблюдал за Алисой: легкий румянец на щеках, оживленно блестящие глаза под-

тверждали — письмо прочитано адресатом; торжествующий вид дяди Диделоо яснее ясного свидетельствовал о характере ответа.

Алиса согласилась на ночное любовное свидание!

Возможно, для меня все закончилось бы слезами, горьким осадком в душе и, наконец, целебным забвением, если бы опьяненный успехом Диделоо неосторожно не вздумал посмеяться над моей молодостью.

Доктор Самбюк, философствуя, остановился на преимуществах зрелого возраста и упомянул цicerонову речь *De Senectute*¹.

Диделоо согласился с ним и добавил язвительно:

— И подумать только, что учителя навязывают этот шедевр всяким сопликам, вроде нашего друга Жан-Жака. Вот уж и впрямь метать бисер перед свиньями.

Я вспыхнул от негодования, а дядюшка развеселился.

— Не сердитесь, малыш, — завершил он мягким и покровительственным тоном, — вам в утешение остаются чудесные гудящие волчки и ага-товые шарики.

Я заскрипел зубами и вышел прочь из гостиной, а дядя прямо-таки зашелся от смеха.

— Мерзавец, — бормотал я, — еще поглядим, какую рожу вы скорчите, когда...

¹ О старости (лат.).

Меня обуревали планы один другого запутаннее и сумбурнее, только увидев за ужином Алису, я понял, как надо действовать.

Ревность разъедала мне сердце, злость кружила голову, словно коварное вино.

И я решился...

На углу улицы Старой Верфи ночной сторож, вооруженный алебардой, прокричал половину одиннадцатого — в этот миг я бесшумно притворил за собой входную дверь.

Дядя Диделоо точно вычислил, когда Мальпертью одолеет сон: в десять часов дом затих и погрузился во мрак, кое-где в коридорах рассеянный лишь вечными лампадами, коим пока не угрожали темные силы.

В городе отмечали какой-то праздник: за озаренными красным окнами кабачков слышались песни и смех, и по пути мне попалось несколько пьяниц, беседовавших чуть ли не с луной.

Кое-где на пустынных улицах догорали огни праздничных лампионов.

До площади Вязов мне пришлось добираться по некой улице сомнительной репутации, где теснились постыдные заведения. С порога одного из притонов меня окликнули — компания в масках:

— Эй, красавчик, угости выпивкой!

Я продолжал путь не оглядываясь, а вслед мне неслись насмешки и грубые шуточки.

Конец улицы терялся во мгле, последние дома весьма мрачного вида освещал единственный висячий фонарь.

В кругу света неподвижно стоял ночной гуляка, задрав голову к небу. На нем был черный плащ с капюшоном; приблизившись, я убедился, что он, по-видимому, тоже участвовал в замирающем празднестве — лицо его скрывала маска.

Но какая маска...

Помню, когда я был маленьким, Элоди однажды вырвала из моей книги с картинками гравюру с изображением дьявола, раскрашивающего маски. Лукавый склонился над лицом из картона и быстрыми мазками кисти превращал его в нечто ужасное, коему нет имени в этом мире.

При первом же взгляде на эту картинку у меня начались судороги, но я, как замороженный, не мог отвести от нее глаз, — и Элоди поспешила отделяться от нее навсегда.

Так вот, обращенная к звездам маска сразу же напомнила мне ту картинку — и столь ярко, что я невольно отпрянул в сторону.

Одинокая фигура не шевельнулась — казалось, человек не заметил ни меня, ни моего испуганного движения. Он стоял, прислонившись к стене, с запрокинутой головой, и фонарь освещал устрашающую гримасу поддельной личины.

Я быстро прошел мимо.

На углу я обернулся: человек исчез. Предомной открылась площадь Вязов — дома рассту-

пились, пропустив вперед несколько деревьев и позволив видеть небо с восходящей молодой луной.

На мгновение лунный серп померк, будто скрытый огромной тенью, — а ведь в чистом морозном небе не было ни облачка...

Тень проплыла над деревьями, над домами; что-то мягко шлепнулось наземь около меня: маленькая мертвая сова со свежей кровью на серебристом оперении брюшка.

Я трижды позвонил в дом номер семь на улице Сорвиголовы. Старуха отворила, с жадностью вцепилась когтями в протянутые деньги, оцарапав мне руку, и тут же повернулась спиной.

Узкая лестница, освещенная венецианской лампой, вела наверх.

Где-то сзади, на первом этаже, старуха принялась что-то бормотать своему коту.

Перегнувшись через перила лестницы, я увидел, что она забилась в огромное плюшевое кресло, с котом, которого звала Лупка, на коленях.

Верно, вот так, с течением лет, постепенно глаза ее переставали видеть и она привыкала жить в вечном полусне, заполнившем долгие часы бесполезного досуга.

Когда звенел звонок, нервная дрожь пробежала по кошачьей спине, и старуха знала — пришла пора впустить визитеров и получить деньги.

А до чего же странные вещи приговаривала старая ведьма!

— Богам опять захотелось пожить, Лупка, только теперь на их долю выпала гнусная человеческая участь. Это хорошо, ох, хорошо, и меня очень радует. Тише! Ты не любишь, чтоб я об этом толковала... Он тоже не любит, да пускай себе!.. Мне хуже чем есть не будет!

Трижды по твоей шерстке прокатилась бархатная волна, Лупка, я открыла, и в моей руке очутилось золото. Золото теплое, греет сердце, а серебро холодней, его ласка не растекается теплом по моим жилам. Как он выглядит, человек, которого отказываются видеть мои глаза? Ответь, Лупка, ты так красноречиво вздрагиваешь. Так, так, теперь знаю — жалкий слизень, налипший на колесо судьбы... стопа Божия уже занесена над ним.

А золото было горячее, как сама любовь... и коснулась я — руки еще не мужчины. Впрочем, какое мне дело... но кто же все-таки смеет противиться поступи рока? Кто он? Где он? Что он делает? Какая мне разница, а твоя чудесная густая шерстка больно уж разговорчива сегодня, мне остается лишь внять ее речи... Язычок пламени, колеблемый на ветру страха и мучения? Что-что? Он мечется во второй комнате, подслушивает, что происходит или произойдет по соседству? Ах, Лупка, когда-то все это называлось одним словом — молодость!

Замолчи... замолчи! Не смей видеть дальше, Лупка!

Она не звонила трижды в звонок любви, этого не понадобилось. И золота я от нее не получила, мне и дверь не пришлось ей открывать. За молчи, замолчи... По твоей шерстке бегут искры — ведь даже ты, демон, боишься и почитаешь ее.

Ага! Три звонка, иду открыть.

А остальное — это дело самой ночи.

Так, в полудреме, сама с собой разговаривала мамаша Груль.

Внизу у лестницы послышался шум, и я покинул свой наблюдательный пост — праздное суесловие старухи мне надоело и вызывало лишь муторное ощущение, как всякое зрелище подобного распада.

Я приблизился к комнате, выходившей на палисадник.

Дверь открыта, в комнате никого.

Сердце мое сжалось — да, мерзавец Диделоо не солгал и не преувеличил, обещая Алисе гнездышко, достойное любви.

До сих пор удивляюсь, где в этом низком и невзрачном домишке, в этой застойной затхлой атмосфере под замшелой крышей скрывалось такое чудо неги и уюта.

За невесомой завесой прозрачного шелка в отделанных перламутром канделябрах горели свечи; в глубине очага, выложенного редкостным мрамором, на мелко наколотых поленьях, потрескивая, танцевал розовый и голубой огонь.

Взгляд не сразу улавливал очертания предметов обстановки, все как бы парило в белом и сиреновом, словно в сердце огромного снежного шара.

Стойкий запах тубероз витал в теплом воздухе, на консоли чеканного серебра клепсидра отсчитывала мгновения, роняя хрустальные слезинки.

На минуту я поддался очарованию места, пока вдруг не спохватился — ведь здесь, в этом мечтательно-голубом обрамлении должна умереть моя первая любовь. Но жгучая ревность очень быстро уступила место другому чувству: нечто невыразимо гнетущее властвовало над этой декорацией безмятежного покоя. И не надо мной нависла неизбывная угроза; скрытый ужас здесь, совсем рядом, и направлен не на меня.

Я хотел было предупредить об опасности Алису и даже дядю Диделоо, — но мое тело подчинялось уже не мне, а некой чуждой посторонней воле.

Словно сомнамбула, я пятясь отступил из комнаты и вошел в соседнюю дверь. По лестнице поднимались шаги.

Ох! После белого и сиренового Эдема — клоака. Через окна, не прикрытые занавеской или ширмой, нахальная луна бесстыдно обнажала уродливое и гнусное мое убежище.

Дверь осталась открытой, лампа венецианского стекла освещала лестничную площадку: в не-

ярком разноцветном свете четко обрисовался силуэт дяди Диделоо.

Он показался мне уродливым и смешным в своем рыжем пальто с откиннутым капюшоном и в маленькой касторовой шляпе.

Поднимаясь по лестнице, Диделоо насвистывал один из тех пошлых мотивчиков, что я слышал сегодня на праздничных улицах.

В чудесной комнате он издал довольное хрюканье и к полному моему негодованию заблеял Песнь Песней несчастного Матиаса Кроока:

Я роза Сарона...

Имя твоё, как разлитое миро...

Ах, негодяй! Трогательную песню, освященную кровью Матиаса, он извратил отсебятиной и пел на такой гнусный манер, что меня замутило:

Разлитое, разлитое миро

*Тир-лим-пам, тир-лим-пам-пам, тир-лим
пам-пам...*

*Тридцать шесть ножек — восемнадцать
дырок...*

Я несомненно кинулся бы на него, высказал в лицо все, что о нем думаю, и надавал пощечин, но все мое тело сковало ужасом. Ибо ужас явился...

Нечто огромное и черное беззучно поднялось по ступеням, миновало площадку и скользнуло к любовному гнездышку, где продолжал голосить Диделоо.

Я узнал маску с улицы.

Обладатель маски остановился перед моей дверью, лунный свет упал на него. Оказалось, я видел тогда не отталкивающую личину из картона, но истинный образ, словно явившийся из кошмарного сна.

Откинутый капюшон не скрывал голову пришельца — громадную, меловой белизны, с будто просверленными отверстиями налитых кровью глаз, в которых мерцали отсветы адского пламени. Ухмыляющийся огромный черный рот обнажился оскалом хищного зверя из породы кошачьих, с торчащими клыками — по ним то и дело сновал узкий раздвоенный язык.

Вокруг этой inferнальной личины зловещим ореолом клубились черные испарения: постоянное внутреннее движение вверх и вниз напоминало кипящую смолу, — и вдруг в черной гуще прорезались бесчисленные глаза, немигающие, жестокие — демонический лик окаймляли змеи, свившиеся в клубки, — жалящие, поблескивающие чешуей исчадия преисподней.

Несколько секунд чудовище не двигалось, словно позволяя мне запечатлеть в памяти все нюансы безгранично отвратительного зрелища; затем накидка упала с плеч, показались перепончатые крылья, сталью сверкнули когти.

С невообразимым ревом, от которого до основания содрогнулся ветхий дом, оно ворвалось в комнату к поющему Диделоо.

В свою очередь я испустил испуганный вопль и кинулся вон из комнаты; по-моему, несмотря на панический страх, я даже хотел прийти на помощь жалкому дяде Диделоо.

Что-то меня удержало.

Что-то свинцовой тяжестью легло мне на плечо.

Чудесной удлиненной формы рука, словно точенная из старинной слоновой кости.

Она протянулась из густого ночного мрака...

Повинуясь ей, я медленно подошел к окну: ночное небо было объято невообразимым смятением; при свете луны я еще успел заметить взмахи гигантских крыл, налитые красной яростью зрачки, чудовищные когти, вспарывающие замороженное пространство. А в беснующемся адском неистовстве невероятных конфигураций, в пятнадцати туазах над землей отчаянно барахтался человек, в котором я узнал дядю Диделоо.

Я закричал, но мой слабый зов о помощи утонул в раскатах грома и вспышках молний.

Рука слоновой кости больше не удерживала меня: она исчезла во тьме комнаты, будто сотканная из белого пламени.

Однако теперь я видел очертания всей фигуры, коей она принадлежала, — сначала не очень отчетливо из-за мглы.

Длинный сюртук... серебристая борода, большие глаза, строгие и бесконечно печальные.

— Айзенготт!

Никто не ответил: призрак исчез. Судорожно рыдая, я бросился прочь из отвратительного строения.

Я бежал к площади Вязов и уже издали увидел распростертое на земле тело дяди Диделоо.

Приблизиться не успел: коренастый силуэт метнулся из тени деревьев.

Я узнал кузена Филарета.

Он подбежал к труп, хладнокровно поднял его и унес в ночь.

Больше никто и никогда не заговорил о дяде Диделоо! НИКОГДА!

Чья таинственная воля вынудила выкинуть его из памяти, будто и не было его в нашей семье, будто он вовсе и не существовал?..

За столом тетя Сильвия теперь сидела рядом с Розалией Кормелон, прежней соседкой дяди, и, казалось, все так и должно быть.

Однажды, когда мы с Элоди были в кухне вдвоем, я упомянул имя погибшего.

Не поднимая глаз, устремленных в огонь, Элоди лишь произнесла:

— Помолимся! Всем нам надо много молиться.

В предрождественские дни ушла моя сестра Нэнси.

Произошло это самым простым образом.

Однажды утром, когда мы на кухне пили кофе вдвоем — Элоди, доктор Самбюк и я, — она во-

шла, одетая в широкое драповое пальто, с дорожной сумкой в руке.

— Я ухажу и отказываюсь от права на все обещанные блага. Если будет на то воля Божья, позабочусь о Жижи даже издалека.

— Господь с вами, — тихо произнесла Элоди, не выказав ни малейшего удивления.

— Прощайте, моя красавица, — пробормотал Самбюк и, не теряя времени, сомкнул челюсти на тартинке с маслом.

Я догнал сестру на лестнице и удержал за полу пальто; она слегка оттолкнула меня.

— Мне не суждено оставаться в Мальпертюи, как, вероятно, суждено тебе, Жижи, — серьезно и печально сказала она.

— Ты возвращаешься в наш дом на набережной Сигнальной Мачты?

Она отрицательно тряхнула роскошными темными волосами.

— О нет... нет!

Больше она не обернулась; входная дверь захлопнулась с грохотом, в котором слышалось что-то безвозвратное.

Я направился в москательную лавку — там царил пустота.

Склянки, мензурки, весы, коробки и бутылки — все исчезло.

В углу послышался звук, точно скреблась мышь, — это Лампернисс подьедал из миски свое варево.

Я поведал ему об уходе Нэнси, но, по-видимому, он не понимал, о чем речь, зато находил вкус в жалкой трапезе.

А потом, морозной и снежной порой, наступило Рождество.

Прежде чем поведать об этой памятной рождественской ночи, принесшей обычным людям мир и надежду, а обитателей Мальпертюи повергшей в неимоверный ужас, надобно еще рассказать о двойной интермедии, усилившей мой страх и тревогу. Я частенько бродил по всему дому, где теперь все друг друга избегали, если не считать обязательного общения за трапезой. Дважды или трижды эти блуждания без определенной цели приводили меня на самый верхний этаж, совсем близко к чердачному люку.

Я его не поднимал; за опущенной преградой таилось молчание, однако не раз я слышал легчайшие шажки: возможно, мышь пробежала или от зимней спячки на миг случайно пробудился нетопырь. В страстных поисках чего-либо, что отвлекло бы от печальных мыслей и чувства одиночества, омрачавших мою судьбу, я усаживался на нижнюю ступеньку марша, доставал из кармана трубку аббата Дуседама и в мудрой усладе курильщика искал хоть каплю забвения.

В одну из таких сравнительно безмятежных минут неподалеку приоткрылась дверь, и я услышал приглушенный голос:

— Ну так что, Самбюк, ошибся я или нет?

Говорил весьма чем-то обеспокоенный кузен Филарет.

— Ух ты! Да, похоже, — отвечал доктор, — и вправду запах проклятого голландского табака, а больше никто его не курит.

— Я тебя уверяю — аббат здесь шастает. Надо остерегаться этого попа!

— Вот уже несколько недель его здесь не было! — проворчал старый врач.

— Я тебе говорю, Самбюк, надо его остерегаться! Дуседам остается Дуседамом, даже если он носит сутану.

— Спокойствие, друг, в конце концов, уже недолго до ночи Сретенья.

— Тсс! Док, ты зря произносишь вслух такие вещи, а ведь в доме еще пахнет его мерзким табаком!

— А я тебя заверяю...

— Лучше помолчи!

Дверь с силой захлопнулась; снизу, с первого этажа, слышалась какая-то возня, прерываемая резким «Чиик! Чиик!».

Был день уборки, и мамаша Грибуан, должно быть, гоняла по коридорам недоделанного слугу-уборщика.

Эта масса плоти гигантскими шагами поднималась теперь ко мне и вдруг резко остановилась.

Я перегнулся через перила: мамаша Грибуан почему-то повернула назад и поспешно спускалась, оставив на месте своего помощника.

Чиик замер, точно автомат с лопнувшими пружинами, свесив руки и расставив ноги.

Я покинул свой наблюдательный пункт и приблизился к нему на расстояние вытянутой руки.

— Чиик, — прошептал я, — Чиик.

Он не двигался. Я коснулся его руки — она была холодна и тверда, словно каменная.

— Чиик!

Я дотронулся до его лба.

И с отвращением отдернул руку. То же ощущение промерзшего камня, к тому же еще и липкого, будто только что из сточной канавы.

— Тсс! Осторожно, молодой господин!

Я живо обернулся: в двух футах от моего лица свесился через перила Лампернисс.

— Осторожно, молодой господин, Грибуан возвращается!

— Что это? — тихонько спросил я, указывая на омерзительное изваяние из плоти.

Лампернисс захихикал.

— Это ничто!

— И все-таки?

Лампернисс продолжал смеяться.

— Тебе стоит лишь спуститься в сад — сразу же, как только мамаша Грибуан закончит с ним уборку. Знаешь дощатый сарай, где сам Грибуан хранит рыболовные снасти? Да? Так вот, приподними сети. Но я предупреждаю, это — просто ничто... ничто...

Поскольку мое недоумение и недовольство только усилились, Лампернисс вновь принял таинственно-доверительный вид, как и в тот раз, когда мы поднимались на чердак.

— Ничтожество... а когда-то он был большим, был великим. Это животное вздымало горы так же легко, как сегодня таскает ведра старухи Грибуан. Опьяненный мощью и гордыней, он поднял самый грозный из всех бунтов на свете! Чиик... Чиик... — и трупы побежденных соскальзывали в пропасть. Чиик... Чиик... — едва ли громче крика умирающей пичуги!

Внезапно он прекратил посмеиваться и проворно скрылся — Грибуан возвращалась.

Я отступил в тень и через минуту вновь услышал «Чиик! Чиик!» этой странной, недоволенной креатуры.

После полудня я последовал совету Лампернисса.

Сарай находился у высокой стены, ограждавшей просторный парк Мальпертюи; дверь, снабженная замком и щеколдой, была приоткрыта.

В углу, рядом со сломанной тачкой и кое-какими садовыми инструментами, лежали рыболовные снасти папаши Грибуана. В другом углу высилась кипа старых потемневших сетей крупного плетения.

Я приподнял их, и рука моя дрогнула, коснувшись высокой шапки из грубого войлока.

Чиик лежал скрючившись, словно хотел занять поменьше места, холодный и недвижимый.

— Я же говорил вам: ничто.

За спиной у меня стоял Лампернисс и потрясал чем-то вроде заржавленного гарпуна.

— Ничто... ничто... смотрите-ка!

Прежде чем я успел перехватить его руку, гарпун угодил прямо в застывшее лицо.

Я испуганно вскрикнул, заслышав змеиное шипение: Чиик оседал, съеживался, исчезал прямо на глазах.

— Вот видите! — ликовал Лампернисс.

Среди сетей, плетенных из толстой темной веревки, валялось нечто вроде сморщенной кожи и перепачканный чем-то липким грубый шерстяной балахон.

— Лампернисс, — взмолился я, — мне просто необходимо знать, что здесь произошло?

— Я всего-навсего показал, что он был... ничем, — расхохотался Лампернисс.

И тут же снова сделался угрюмым и настороженным.

— Достойная раба участь... Ба! Филарет, этот бесчестный лакей Кассава, займется им, если овчинка еще стоит выделки, — пробормотал он, устремляясь прочь.

Я вернулся в дом; уже поднявшись на крыльцо, я почувствовал на щеке ледяную ласку: в сумерках кружились первые снежные хлопья.

глава шестая

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОШМАР

Кто смеет самонадеянными словами подвергать сомнению божественный промысел?

ЗАХАРИЯ

Разве боги остались бы собой, не повергай они в трепет?

ПОДРАЖАНИЕ ПИСАНИЮ

Канун Рождества наступил без радостного волнения в преддверии великого праздника. Утром я застал кухню темной и холодной — очаги были мертвы. Элоди не откликнулась на зов — она тоже ушла, не прощаясь, не оглядываясь даже на то, что было ей здесь дорого.

В полдень Грибуаны подали омерзительно приготовленную пищу, к которой никто не притронулся. В воздухе витало что-то смутное: страх, мучительное ожидание, предощущение несчастья — кто знает?

Самбюк скрючился на своем стуле и походил на тощую озлобленную ласку, изготовившуюся к последнему укусу. Кузен Филарет уставился на меня тяжелым взглядом блеклых зеленоватых глаз, но меня наверняка не видел.

Дамы Кормелон превратились в недвижные тени — они сидели против света, и я не различал их лиц.

Тетя Сильвия тяжело привалилась к спинке стула и спала с открытым ртом, блистая золотыми зубами.

Эуриалия...

Ее стул был пуст — а ведь я мог поклясться, что еще минуту назад она сидела на своем обычном месте в мрачном одеянии кающейся грешницы и глядела в пустоту, а может быть, упорно изучала рисунок скатерти или своей тарелки.

Я обернулся: Грибуаны стояли наготове у столиков с десертом; возможно, отсвет от выпавшего за окном снега придавал их лицам столь отвратительный белесый оттенок.

Снегопад уже несколько дней укутывал весь мир пеленой безразлично-терпеливого ожидания, но сегодня лишь редкие хлопья кружились в воздухе.

Мне вдруг страстно захотелось сбросить оцепенение, сковавшее всех нас, и я с неимоверным трудом ухитрился выдать несколько слов:

— Завтра Рождество!

— Бам-м!

Оглушительно пробили стенные часы.

Внушительно водруженный супругой Грибуан, покоился на столе пудинг с изюмом, который никто не спешил отведать.

Я заметил, что взоры всех присутствующих прикованы к этому тяжелому и несъедобному кондитерскому произведению.

— Бам-м! — повторили часы.

Пудинг покоился на большом блюде тусклого олова, украшенном литыми фигурками; мое внимание привлекла одна из них.

Это оловянное блюдо часто выставлялось на стол во время десерта, однако никогда не вызывало у меня — да и ни у кого другого — особого любопытства; сейчас же, казалось, оно сделалось средоточием тоскливого ожидания, коему я тщетно пытался найти объяснение.

— Бам-м!..

Отзвенел последний удар — три часа — и словно послужил сигналом для темных сил, затаившихся в Мальпертюи.

— Агх!..

Был ли то вздох или хрип — в любом случае этот звук единодушно издали все сидевшие за столом, — будто лопнули невидимые оковы, мучительной тревогой сдавившие грудь?

Вздох облегчения при виде угрозы, наконец-то воплотившейся в нечто материальное?

Хрип ужаса перед первым проявлением

инфернального гнева? — Фигурка отделилась от оловянного блюда.

Я увидел маленького человечка, толстенького и, казалось, увесистого, будто в нем сохранилась оловянная или свинцовая тяжесть; лицо его, хоть и величиной с наперсток, своим уродством обжигало взгляд. Воздев руки в жесте лютой ненависти, он бежал по скатерти прямо к Филарету — и тут я заметил, что у человечка не хватает кисти одной руки.

Таксидермист сидел не шелохнувшись, с выпученными глазами, разинув рот в отчаянном беззвучном призыве на помощь.

Чудовищный карлик уже приближался к Филарету, как вдруг, рассекая воздух, на него обрушилась чья-то гигантская рука.

Послышался тошнотворный звук раздавленного яйца, и большое багровое пятно лучистой звездой расплзлось по белоснежной материи.

Грозная карающая десница вернулась в вечный сумрак — складки на одеянии Элеоноры Кормелон.

На Самбюка напал приступ судорожного смеха, от которого скорчило его поношенное тельце и пена выступила у рта.

— Отличный удар! — просипел он сквозь икоту.

— Заставьте его замолчать, Грибуан! — прогремел приказ.

И Розалия Кормелон повелительно простерла руку, огромную и грозную, как у ее старшей сестры.

Древообразный силуэт Грибуана отделился от стены.

Я видел, как он нагнулся, открыл рот, *и его дыхание огненной струей обрушилось на тщедушную скрюченную фигурку доктора...* а после — только кучка пепла причудливой формы дымилась на кожаном сиденье.

Я заорал что было сил.

— Сон, кошмар... ради Бога, разбудите меня!

Фантазмагорический вихрь закружил все вокруг; фигуры валились друг на друга, их очертания растекались. Три дамы Кормелон, спеленутые в единую компактную массу, катились, подсакивая, мимо — огромный шар черного тумана, в котором кишело что-то неразличимое, но ужасное. Несколько мгновений я видел умоляющее выражение на мертвенно-бледном лице кузена Филарета, затем на месте умиротворенно дремлющей тети Сильвии вынырнула светящаяся физиономия Грибуана.

Кто-то схватил меня за волосы и сильно потянул назад.

Когда я вновь обрел способность воспринимать окружающее, мы с кузеном Филаретом бежали по большому вестибюлю.

— Быстрей, быстрей, — на бегу руководил он, отдуваясь, — к лавке... Там мы еще продержимся.

— Что же такое происходит? — взмолился я. — О, кузен, заверьте меня, ведь это просто дурной сон?

— Один Бог знает, — простонал он, распахивая дверь старой лавчонки.

Такой светлый покой царил здесь, что я ощутил себя в чудесной гавани после ужаснейшей бури; чудным огнем горел газовый рожок, а на прилавке очень самодовольно восседал Лампернисс и с добродушной миной созерцал наше вторжение.

— Дружище Лампернисс, — обратился к нему Филарет, — нам придется принять бой, боюсь, весьма неравный.

Последовал короткий и невразумительный диалог между ними.

— Ты не из их числа, Филарет, и над тобой все еще тяготеет тень Кассава!

— Зато ты из их числа!

— Увы!.. И все же моя участь плачевна!

— Я спасу тебя, Лампернисс!

— Не тебе, бедняга Филарет, противиться року, восседающему на гранитном троне времени!

— Ко мне!..

— Кого ты зовешь? Этих? Ты же сам знаешь, они не стоят и дуновения ветерка в кронах деревьев.

Палец Лампернисса указывал в самый темный угол подсобки.

Там недвижно сидели трое.

Один грустно улыбался мне, другой стыдливо избегал моего взгляда, а третий был инертнее камня — и дикий ужас снова объял меня.

Я узнал Матиаса Кроока, дядю Диделоо и бесформенного Чиика.

Лампернисс пронзительно засмеялся.

— Посмотри-ка на них, мой молодой господин... Подумать только, что Филарет вообразил себя богом, отбирая их у смерти... Смотри!

Он набрал воздуха и дунул на новоявленных Лазарей.

И точас они ожили причудливой жизнью: переваливаясь и падая друг на друга, покачиваясь, сталкиваясь, как воздушные шары, они внезапно поднялись к потолку и остановились.

— Пустые шкуры! Пузыри, которые можно надуть, — знаешь, как дуют в раковину? Бедный, бедный Филарет!

Из большого дома раздался ошеломляющий рев, и я рухнул наземь ничком.

Лампернисс скорбно вскрикнул.

— Вот они, с ними мы не можем бороться. Если только...

Мощный удар сорвал с петель двери, и сквозь проем я увидел в сумраке холла трех устрашающих монстров из притона мамыши Груль.

Шесть пламенем налитых глаз, шесть драконьих крыльев и сталью сверкающие когти готовы были к сатанинской расправе над нами.

Но чудовища не пересекли порог.

Мощный голос, показавшийся мне знакомым, сотряс пространство:

— Рождество! Рождество! Христос воскрес!

Вдалеке раздалось торжественное песнопение многих голосов, и я отважился приподнять разбитое лицо с каменных плит пола.

Я смотрел не на отвратительные исчадия тьмы, а в окно, выходящее в сад, — стройное пение доносилось оттуда.

На белом фоне проступали прямоугольники золотистого света — сквозь заснеженные ветви деревьев виднелось строение монастыря, чьи незастекленные окна вдруг ослепительно засверкали.

Лампернисс закрыл лицо руками и разрыдался.

— Барбускины! — стонал он.

Трудно сказать, что преобладало в его столах — радость или страдание. Я продолжал наблюдать за происходящим — грандиозным и грозным зрелищем.

Сад заполнился людьми, в которых я узнал монахов, — высокие силуэты в рясах из грубой ткани и апостольниках.

Сомкнутыми рядами, мерной величавой поступью продвигались они вперед, воздев к потемневшему небу кресты черного дерева.

Неторопливое шествие приближалось к дому, и от священных песнопений деревья содрогались, будто от порывов ветра.

— Рождество! Рождество!
И вновь раздался властный голос:
— Дорогу Богу истинному! Прочь, призраки ада!

Мимо окна проходили первые ряды, сквозь прорези куколей горели глаза, воспаленные жаром святого рвения.

— Барбускины! — еще раз пробормотал Лампернисс.

И тоже упал ничком.

В этот миг я ощутил себя как бы невесомым — я воспарил над миром земным и руками раздвигал легчайшую облачную кисею.

Где-то в глубине этого немислимого измерения пронеслись громадные безобразные формы, мертвые, точно гонимые бурей остовы покинутых кораблей.

Я кого-то звал, не знаю кого, и на короткое мгновение мне явился лик аббата Дуседама: он улыбался и плакал, пока не исчез.

«Это просто дурной сон!», говорил мне рас-судок, но его слабый голос замолк и не повторил более слов утешения.

Я сидел в мрачной кухне с погасшим очагом; трепещущий огонек свечи заставлял тени совершать неожиданные прыжки — из угла в угол.

Не знаю, как сюда попал, во всяком случае, уже будучи здесь, как говорится, я пришел в себя.

И долго призывал кого-нибудь из тех, кто жил со мной под этой проклятой кровлей, — никто не ответил.

Я остался в Мальпертюи один. ОДИН!

Необъяснимый прилив отваги подвиг меня на поиски в ночном ужасе inferнального дома.

Нелепые оболочки Матиаса, дяди Диделоо и бесформенного Чиика больше не висели под потолком в пустой лавке.

Я добрался до привратницкой Грибуанов.

Никого.

Повсюду искал Лампернисса — тщетно.

Опустела комната кузена Филарета, обезлюдели апартаменты дам Кормелон, заброшены помещения, отведенные дяде Диделоо и его семейству.

Непонятное любопытство подтолкнуло меня зайти в гостиную посмотреть, сохранились ли отворительные останки доктора Самбюка — на его аккуратно поставленном стуле не было ни пятнышка.

— Кошмар! — повторил я, высоко, словно факел, поднимая плачущую салом свечу.

И вскрикнул... возможно, от радости.

Тетя Сильвия, выпрямившись, сидела на своем стуле с абсолютно невозмутимым видом.

— Тетя! Тетя!

Глаза ее были закрыты, мой крик не пробудил ее от сна.

Я приблизился и положил руку ей на плечо.

Ее тело медленно наклонилось, соскользнуло со стула и рухнуло на паркет с оглушительным грохотом.

На пол упало не человеческое тело, а каменное изваяние, и разбилось от удара.

И тогда в ночи прозвучал звонкий голос:

— Теперь мы остались одни в Мальпертьюи!

— Эуриалия! — заорал я.

Но кухня не показалась.

Как безумный, метался я по дому и все время кричал, умоляя ее появиться.

Тщетно.

С отчаянием в душе я вернулся в холл. Свечка моя погасла подле изваяния бога Терма, а из глубин мрака на меня надвигались устрашающие зеленые глаза.

Ощущение безмерного холода пронзило меня, тело словно само прильнуло к каменным плитам пола, сердце перестало биться.

ПЛЕНЕНИЕ БОГОВ

— Кто они, Тисос, ведь не моя рука убила их?

— Ты убил их в своем сердце, Менелай, и они всегда будут грозить тебе.

АТРИДЫ

Я, который совершил кражу в библиотеке Белых Отцов и предпринял тяжкий труд — возможно, во искупление своего греха — привести в порядок документы из оловянного футляра, дабы восстановить историю Мальпертью, я прерываю последовательность листов, оставленных несчастным Жан-Жаком Грандсиром.

Дело в том, что здесь необходима вставка из нескольких страниц, исписанных Дуседамом Старшим. Похожее уже имело место в самом начале этой повести, когда из рукописи нечестивца-аббата я переписал отрывок, названный им самим «Видение Анахарсиса». Несколько листов, здесь приведенных, будут последним образчиком его многословной прозы: в остальном его записи

являют собой исполненные самодовольства разглагольствования о тайных науках и набор опаснейших богохульств.

Отмечу в частности, что обуянный гордыней Дуседам Старший здесь уже прямо использует свое ненавистное «Я» вместо безличного изложения событий.

Остров относится к группе Киклад и, должно быть, расположен неподалеку от Пароса; но из-за свирепых грозовых бурь мы уже несколько дней плаваем наудачу в этих опаснейших местах. Наконец сквозь клочья тумана, разорванного утренним ветром и тут же вновь сросшегося, проступили отвесные скалы, о которых упоминал Анахарсис. Я уверен, он говорил правду.

Ко мне подошел Ансельм Грандсир и завел довольно необычную для него речь.

— В это время года такая буря прямо-таки удивительна, кто хоть немного знает море. Похоже, тут даже стихии подчиняются силам, недоступным нашему разумению. На этом проклятом острове кроется какая-то тайна...

— Да уж! — ответил я. — Возможно, мы ищем нечто не совсем обычное.

— Черт подери! — прорычал капитан. — Значит, я правильно чуял неладное... Нам обещали неплохое вознаграждение. Я не сразу клюнул, но когда тебе оплачивают все труды вне за-

висимости от конечного результата... Да, видеть, цель-то уже рядом. Ну и как тут все-таки не подумать о премии посolidнее...

Я прикидывал, к чему он клонит, а сам помалкивал. И тут он треснул по столу кулаком, точно кузнечным молотом.

— Когда простой моряк не знает, что к чему, колдун как раз и сгодится; твой куманек, что водит дружбу с дьяволом, наверняка подрастказал тебе всякого разного, прежде чем навязать нам твою мерзкую рожу.

— Вы изволите говорить о почтенном сеньоре Кассаве? — мягко осведомился я.

— Так он назвался, этот тип, что нам платит, — скептически отозвался капитан. — Не похож он на человека, готового разбрасывать свои экю направо и налево.

— Да уж, разумеется...

— Давай-ка по делу, Дуседам, — загремел он, — если не хочешь, чтобы твоя требуха пошла на корм рыбам!

Я улыбнулся, ибо за вспышками гнева видел беспокойство и нерешительность — он готов был подчиниться если не требованиям моим, то желаниям.

— Почтенный сеньор Кассав, — продолжил я, — мне представляется человеком удивительным. Он еще молод, но обладает познаниями ученого старца; полагаю, он искушен во многих науках, даже самых тайных. Я сам много учился,

господин Ансельм, знаю латынь, греческий и даже молодые языки мира. Через чтение я познакомился с историками и врачами, гуманистами, бенедиктинцами и алхимиками. Ценой бессонных штудий мне дано было познать спагирию, некромантию, геомантию и другие науки, относящиеся к сферам черной, красной и белой магии. Но я почувствовал себя жалким невеждой рядом с сеньором Кассавом, чье знание коренится в мудрости самого отдаленного прошлого и простирается к арканам будущего.

На случай, если бы мы обнаружили то, на что он надеялся, он наделил меня кое-какими возможностями, по сути дела довольно ограниченными, коими мне угодно будет воспользоваться с осторожностью и благоразумием.

— Ну тогда... — начал было Грандсир.

Его прервал крик дозорного.

— Туман рассеивается!

Мы бросились на мостик.

Море успокоилось как по волшебству; облака, стремглав убегающие к западу, обнажили чудесную лазурь аттического небосклона. И тут, словно сраженные безумием, матросы заматались по палубе, испуская дикие вопли. О нет, Анахарсис не солгал — доказательством служит смерть троих матросов нашего экипажа: их убил страх.

Стоя на поросшем травой пригорке, подняв руку в знак власти, коему научил меня почтен-

ный сеньор Кассав, я произнес грозные заклания. И в страхе содрогнулось предо мною небо, и, стелая, подчинилась преисподняя.

До конца ли завершена наша невероятная миссия?

Нет; и я содрогаюсь при мысли о том, что Смерти подвластны любые высоты, а моя власть простирается лишь над тем, чем она пренебрегла.

О! Какие божества впали в жалкое рабство, каким безграничным могуществом, способным низвести гору в горстку песчинок, наделил меня великий Кассав!

В путь! Поднять все паруса! Бежим отсюда морскими просторами, страшись, что силы тьмы, разгневанные неслыханным грабежом, бросятся за нами по следу кильватера.

Мы передали Кассаву груз!

Проклят... тысячу раз проклят дом, где святотатственной рукой осмелился он разместить такой груз.

Мальпертюи — так зовется дом сей.

И снова в бегство, хотя теперь отягощенное полученным за труды златом.

Есть ли на свете уголок, где можно в безмятежных наслаждениях потратить это золото без ведома Неба и Ада?

Следуя своему обыкновению, я и здесь сделаю краткое отступление.

Дуседам Старший больше не получит слова.

Не могу не содрогнуться при мысли о расплате, какую должен был понести этот дерзкий нечестивец; полагаю тем не менее, что заступничество Дуседама Младшего могло в какой-то мере смягчить ужасы геенны, выпавшие на долю его кровного родича.

Бедный аббат Дуседам, представляю себе его страдания и ужас в тот день, когда в руки ему попали эти пожелтелые листы, исписанные предком.

После, немного успокоившись, он, вероятно, потянулся к своей любимой трубке и долго курил ее — молча, глядя в никуда.

Как наяву вижу его в зимний день неизвестно какого года — насколько можно понять, некоего шестого января.

Перед ним длинные ряды книг в розовых отсветах по прихоти пламени, танцующего в большом открытом камине. Здесь все его великие молчаливые друзья, готовые обогатить пытливый ум исследователя: Эпиктет, Теренций, святой Иоанн Златоуст, святой Августин, святой Раймонд де Пеньяфорт, святой Фома Аквинский, Скалигер... а с роскошной псалтирью святого Григория соседствует грозная книга Еноха в переводе Роулинсона.

Вечер Богоявления темен, ливневые шквалы сменяются пронзительным ветром, и лишь доносящиеся отголоски детского пения освящают его.

«Вечер чуда, — наверное, прошептал аббат, — когда самое неистовое буйство стихий не может затмить сияние Звезды... Осветит ли она мой скорбный путь, лежащий во мраке?.. Увы, я, недостойный человек и жалкий грешник, не смею надеяться на лучшее!»

Он сворачивает страницы и, печально качая головой, вкладывает их в оловянный футляр тонкой работы — лежащий теперь передо мной.

«А когда наконец я открою то, что сочту истинной историей зловещего Мальпертюи, спасу ли я тем самым заблудшие души от власти Лукавого? Позволит ли Господь мне, своему недостойному служителю, споспешествовать Славе Его, вернув сии души на Небо Его?»

... И вижу: Дуседам Младший погружается в мучительные раздумья, а в очаге медленно умирает огонь, и дружеская улыбка книжных переплетов меркнет в ночи.

часть вторая

ЭУРИАЛИЯ

глава седьмая

ЗОВ МАЛЬПЕРТЮИ

Когда же открылась мне истина — во сне или в часы бодрствования?

МИССИС БЛАВАТСКАЯ

Колдуньи с гор Фессалийских в продолжение семи лун сохраняют живыми эти прекрасные глаза в урнах из серебра, а затем делают из них украшения: семь лет роняют глаза жемчуга вместо слез.

УИКСТЕД (Гримуар)

После нескольких листков, оставленных Дуседамом Старшим, с которыми читатель только что познакомился и которые, вероятно, в небольшой мере проясняют происшедшее, я поместил продолжение воспоминаний Жан-Жака Грандсира.

Меня разбудил отдаленный шум, схожий с дыханием исполинской груди.

Незнакомая комната: светлая, со стенами, сложенными словно из снежных плит, и с оконными переплетами, блестящими, как перламутр.

Тепло, будто в гнезде у щегла, когда в поисках птичьих яиц засунешь туда руку, — светлое пламя весело танцевало за решеткой переносной железной печи.

Из соседнего помещения слышались шаги, и сквозь полужакрытые веки я увидел незнакомую женщину, краснолицую, пышущую здоровьем. В комнате она не задержалась, только взяла со стола блюдо, вытерла донышко у чашки и вышла, причем на какое-то мгновение ее огромный зад заклонил от меня весь дверной проем, будто плотоядно поглотил пространство.

Невольно пришло на ум сравнение с большой лодочной кормой — в порыве мальчишеского энтузиазма я запечатлел бы на ней какое-нибудь очаровательное имя, искупающее слой жира и тяжеловесность.

В воздухе за окном разразилась перебранка высоких пронзительных звуков; немного приподняв голову, я увидел голубое небо, вспененное маленькими облачками, — словно кукольное корытце для игрушечной стирки, и в нем быстрое движение энергичных силуэтов.

— Чайки! — воскликнул я.

И тут же прибавил:

— Море!

Море окаймляло горизонт лентой цвета стали, переходящей в неясную дымку.

— Смотри-ка! — вновь воскликнул я, непонятно к кому обращаясь.

Только тут до меня дошло, что все это время за стеной глухо звучали голоса — теперь же они смолкли; хлопнула дверь и раздался голос, на сей раз мне знакомый:

— Боже праведный!.. Он очнулся!

Комнату захлестнул ураган юбок, сильные руки обняли меня, влажные поцелуи чмокали по моим щекам.

— Жан-Жак... Господин Жан-Жак... Жижи... О, я не должна была вас покидать!

Это была Элоди, рыдающая, трепещущая — так вибрирует в радостном звуке струна арфы.

— Я знала, милосердный Господь вернет мне его!

Но я молчал, ошеломленный.

У Элоди были густые темные волосы, которые она тщательно убирала, туго стянув гладкие пряди узлом на затылке, а к моей груди прильнуло нечто похожее на серебряную каску.

— Элоди, что с нами случилось?

Вероятно, она поняла, потому что около рта у нее прорезалась недовольная складка.

— Ничего, малыш; ничего, о чем стоило бы вспоминать. Послушай, нам везет: в округе по-

явился превосходный врач, зовут его Мандрикс. Он тебя посмотрит. И наверняка вылечит.

— Вылечит? Разве я болен, а?

Элоди смутилась и отвела взгляд.

— Тебе немного трудно... ходить.

Я хотел пошевелить ногами... Боже! Они словно налились свинцом и отказывались повиноваться.

Элоди, очевидно, заметила мое замешательство и энергично затрясла головой.

— Уверяю тебя, он вылечит... О, это очень хороший врач. Он много путешествовал, служил когда-то во флоте. И знал Николаса... твоего отца.

Чтобы вывести ее из замешательства, я прервал разговор, спросив, где мы находимся.

Тут же просветлев, она принялась многословно болтать, чего и вовсе никогда за ней не водилось.

Нас забросило на север, на морское побережье, в одинокий домик среди дюн: по вечерам маяк освещал корабли, плывущие мимо в далекие загадочные страны.

Толстуху звали Кати, она весила двести двадцать ливров¹ и занималась хозяйством, как другие занимаются любовью.

В одном лье отсюда маленький приморский городок — словно игрушечный, выстроенный из разноцветного камня. Мы там будем гулять... ну да, в повозке, пока я не смогу передвигаться самостоятельно, возможно, хватит и тросточки, потому

¹ Старинная французская мера массы, равная приблизительно 0,5 кг

что доктор Мандрикс и в самом деле очень хорош. Будем есть суп из мидий и булочки с угрями, просто чудо!

Один рыбак только что принес на кухню камбалу, целых шесть штук.

Устроим настоящий праздник — ведь Кати собирается в город с тележкой рыбника и привезет оттуда напитков и кучу разных вкусных вещей. Ведь предстоит праздновать и праздновать...

— Почему?

— Ну... так ведь исцеление... уж во всяком случае частичное выздоровление, не так ли?

Мне вдруг сделалось грустно, я устал; непривычная веселость Элоди, внезапная перемена в ее спокойном и строгом характере, убаюкивающая атмосфера светлой комнаты, дыхание моря, веющее отовсюду, заманчивые обещания, охапками разбросанные перед вновь обретенным маленьким мальчиком, — все это отдавало приторно-пресным вкусом лежалых сладостей.

Я еще не смел себе признаться: едва лишь вернулся к жизни, а мне уже не хватало острой приправы мрачных сумерек, мучительной тревоги, самого чувства ужаса.

Роскошное зимнее солнце золотило воздух и слепило глаза, привыкшие к мраку, к неверному отсвету ламп, ведь им постоянно угрожали нечистые духи.

Я охотно променял бы всю соль и йод бескрайних просторов, все эти свежие веяния жизни на

затхлый привкус смерти, застоявшийся в Мальпертюи.

Мальпертюи звал меня, подобно тому как неведомая сила тысячелетиями волнует и зовет мигрирующие живые существа, повелевая преодолевать неизмеримые пространства.

Я закрыл глаза, призывая искусственную ночь сомкнутых век, и начал было погружаться в бархатную пропасть сна, как вдруг почувствовал чью-то тяжелую руку на своем плече. Рука была мне знакома: крупная, красивая, словно точенная из старинной слоновой кости.

— Здравствуйте, друг мой, я — доктор Мандрикс!

Около кровати стоял человек высокого роста с серьезным выражением лица.

Я покачал головой:

— Вы говорите неправду.

Ничто не дрогнуло в его лице, только в глубине больших черных глаз вспыхнул и тут же погас огонь.

— Видите ли... я узнал вашу руку.

— Вы будете ходить, — медленно произнес доктор глубоким голосом, — это в моих силах сделать для вас!

В ногах моих возникло странное ощущение, точно бесчисленные укусы мельчайших насекомых.

— Встаньте!

Меня пронизала дрожь.

— Встаньте и идите!

Так могло повелевать лишь божество, в чьих силах вершить чудеса.

Доктор Мандрикс превратился в смутный силуэт, рука исчезла, оставив на моем плече словно каленый след; все потайные фибры души моей трепетали, будто приглушенное эхо откликалось на зов таинственного колокола, затерянного в безбрежной дали.

Потом наступил сон.

Я шел.

И не слишком удивлялся этому: Элоди со своими знакомыми, верно, просто ошиблась, посчитав, что меня приковал к постели приступ необъяснимого паралича.

Я шагал по мягкому, как войлок, песку.

Стоял один из тех прекрасных дней, напоенных весенней ясностью и негой, которые январь приберегает для взморья.

Из ложбины между дюнами поднимался дымок, вскоре показался и рыбацкий домишко. Скрипела на ветру размалеванная вывеска.

Неуклюжая надпись воспевала пиво и вина из подвалов сего приюта, равно как и достоинства кухни; а изображение толстяка канареечного цвета с раскосыми глазами и бритым черепом, увенчанном длинной тонкой косой, наглядно убеждало прохожего, что этот постоянный двор на отшибе называется «Хитроумный Китаец».

Я толкнул дверь и вошел в пустынную комнату, чем-то схожую с кают-компанией, — обитую смолистой сосной, с удобными кожаными банкетками вдоль стен.

В глубине за стойкой царили кувшины и бутылки, в которых оттенками орифламмы отсвечивал алкоголь.

Окликнув хозяев, я постучал по гулкому дереву стойки.

Никто не ответил.

Да по правде говоря, я и не ждал ответа.

Вдруг меня охватило тревожное чувство: я не был один.

Я повернулся на каблуках вокруг собственной оси, медленно разглядывая помещение, так, чтобы ничто не ускользнуло от внимания.

Таверна была пуста, и однако чье-то присутствие ощущалось столь явственно, что не вызывало у меня никаких сомнений.

На мгновение мне показалось, что на столе перед банкеткой в дальнем углу комнаты стоит стакан, и в воздух поднимается дымное облачко.

Нет, снова каприз расстроенного воображения — убранный стол поблескивал чистотой, а за дымок я принял игру света и тени.

Однако галлюцинация возобновилась, на этот раз слуховая. Послышался стук поставленного на стол стакана и потрескивание раскуриваемой трубки.

Снова и снова я рассматривал банкетки вдоль стены — наконец в противоположном, самом темном углу я уловил смутные очертания.

Вернее, четко различимы были только глаза — прекрасные темные глаза.

— Нэнси! — вскрикнул я.

Глаза затуманились и исчезли.

И тут же показались совсем близко, почти на уровне моих.

Бережно и осторожно я протянул руку и наткнулся на что-то гладкое и холодное.

Передо мной стояла ваза в форме урны из толстого полупрозрачного голубого стекла; я вздрогнул, будто прикоснулся ко льду.

— Нэнси! — вновь позвал я с пересохшим от волнения горлом.

Глаза на этот раз не исчезли: взгляд был устремлен на меня с выражением неопишуемого страдания — *глаза смотрели на меня из стеклянной урны!*

Внезапно тишину нарушил голос, умоляющий, жуткий.

— В море... заклинаю... брось меня в море!

И слезы отчаяния потекли из широко открытых глаз.

— Убирайся!

Повелительный голос прогремел откуда-то из-за стола, где я видел стакан и дымок.

Мужской, привыкший отдавать приказания голос, и все же в нем звучало больше печали, чем вражды.

Стакан вновь появился на столе, дымила трубка, но теперь я видел и курильщика.

Командир корабля Николас Грандсир!

— Отец!

— Убирайся!

Я видел его лицо, обращенное не ко мне, а к голубой урне, где из глаз Нэнси все струились и струились слезы отчаяния.

За моей спиной открылась дверь.

Образ отца тотчас же исчез, вместе со стаканом и дымом; последнее стенание донеслось из вазы, и кошмарное видение скрылось. Рука легла на мое плечо и медленно, с силой заставила повернуться. Доктор Мандрикс вывел меня из таверны.

Он шел рядом молча, и я повиновался его тяжелой прекрасной руке, запрещающей обернуться и посмотреть на таинственную таверну в дюнах.

— Я знаю, кто вы, — вдруг заговорил я.

— Возможно, — мягко ответил он.

— Вы Айзенготт!

Молча мы продолжали идти по кромке темного моря.

— Тебе следует вернуться в Мальпертью, — неожиданно произнес он.

— Отец... сестра! — воскликнул я в отчаянии. — Я хочу вернуться к ним!

— Тебе необходимо вернуться в Мальпертью! — повторил он.

И внезапная неодолимая сила завладела мной, унося прочь от этих мест.

Больше я не видел ни «Хитроумного Китайца», ни домика в дюнах, где ждала меня Элоди, ни самое Элоди.

И вновь оказался я в своем городе, ночью, вокруг — закрытые дома с погасшими окнами.

Мои шаги гулко отдавались в ночной тишине безлюдных улиц; куда они приведут меня, я не знал.

Во всяком случае я стремился прочь от Мальпертюи, и на мгновение мне почудилось, что направляюсь в наш дом на набережной Сигнальной Мачты.

Но все оказалось гораздо хуже.

Миновав мост, я спустился вдоль заросшей травой журчащей речки до пустынной эспланды Пре-оз-Уа.

В ночной глубине абсолютно темной улочки светилась одинокая лампа.

Я направился прямо на свет и трижды дернул захватанное кольцо звонка.

Дверь открылась, кот с огромными, как площадки, глазами метнулся во тьму.

С облегченным вздохом я опустился на белоснежные меха и протянул закороченные руки к сказочному розово-золотистому огню.

Так я обрел убежище на улице Сорвиголовы в гнусной лачуге мамы Груль.

И только тут, под сенью жалкого приюта, я принялся размышлять о смысле Мальпертюи.

Почему в прошедшие месяцы — прожитые как долгие годы — я покорился безымянному страху? Почему безропотно отдался на потеху жестоким таинственными силам?

Каковы были намерения покойного Кассава, моего двоюродного деда, предавшего нас этому кошмару и поступившего со всеми нами хуже, чем с чужими?

По чести говоря, с того момента как проявилась злонамеренная воля Мальпертьюи — а она не заставила долго ждать его обитателей, — я сделал лишь весьма слабые попытки что-либо понять, а окружавшие меня старались и того меньше.

Мой добрый учитель аббат Дуседам как-то сказал:

— Бесплезно ждать, чтобы сновидение само раскрыло свой глубинный смысл.

Это из книги его комментариев, с трудом получившей *imprimatur*¹ от церковных властей; что же касается заключительной фразы, то ее с раздражением вычеркнул цензор:

— У Бога и Дьвола не спрашивают: почему?

А сейчас... почему я скрылся здесь, в убежище позора, в ненавистном домишке мамыши Груль?

Не могу пожаловаться — за всю свою жизнь я не наслаждался столь безмятежным спокойст-

¹ Пусть печатается (*лат.*) — формула цензурного разрешения на публикацию книги.

вием, как здесь, никогда еще не испытывал подобного чувства полного душевного отдохновения.

Преследующие меня силы тьмы, возможно, забыли обо мне, как это не раз случалось и в самом Мальпертюи.

Я пребываю в чудесном состоянии почти абсолютной свободы — делаю что хочу и как хочу.

Дальний квартал, где я живу, отделен от основной части города рекой и каналом, через которые довольно далеко друг от друга перекинуты лишь два моста.

Ни единая душа не знает меня здесь: до переезда в Мальпертюи я вел замкнутый образ жизни с Элоди, Нэнси да еще аббатом Дуседамом — мой превосходный наставник называл это жизнью внутренней, по большей части обращенной к проблемам духа.

Красивые слова, но пустые — теперь я чувствую всю их суетность.

Когда я возвращаюсь в дом, мамаша Груль открывает дверь на звонки и, жадно урча, хищно хватáет протянутые ей крупные монеты.

Сиренево-голубая комната превосходно содержится; здесь я предаюсь долгим, безмятежным мечтаниям, порой меня тешит мысль дождаться здесь конца своего существования, хотя именно на этой сцене разыгралась одна из самых мрачных трагедий моей жизни.

На самом берегу канала я открыл вполне пристойную таверну, где необщительные моряки опус-

тошают огромные блюда съестного и огромные кружки пива; никто не пытается со мной познакомиться, и я отвечаю окружающим тем же счастливым безразличием.

Единственное исключение в этом приюте мира и забвения я делаю для молодой женщины, занимающей весьма скромное и не очень определенное положение в таверне: она моет посуду, убирает, подает на стол, а может быть, удовлетворяет и более низменные потребности клиентов. Ее зовут Бетс, у нее волосы цвета золотистых льняных оческов и немного расплывшаяся талия.

Ближе к вечеру, когда трое-четверо моряков, с удовольствием засиживающихся допоздна, уделяют все свое внимание сложной и безмолвной партии в карты, Бетс подсаживается за мой столик, удаленный от игроков, и не отказывается от подогретого вина с пряностями, которое я ей предлагаю.

Как-то само собой случилось, что мы стали очень откровенны друг с другом.

И однажды я рассказал ей все.

Была почти полночь, когда я закончил свой рассказ.

Последние посетители расплатились по счету и удалились, попрощавшись; хозяйка, личность незначительная и ко всему безучастная, покинула свой пост за стойкой и оставила нас одних; с улицы в ставни били шквальные порывы ветра.

Сложив руки на коленях, Бетс смотрела поверх меня на длинный язычок газового пламени, плененный в стеклянном рожке.

Она молчала, и ее молчание тяготило меня.

— Ты не веришь, — прошептал я. — По-твоему, я брежу и плету небылицы.

— Я бедная девушка, — отозвалась Бетс. — Евангелие и то с трудом читаю. С малолетства мне приходилось пасти гусей, помогать родителям добывать красную глину из вредоносной низинной почвы — они торговали кирпичом и черепицей. Меня воспитали в страхе Божьем и научили стеречься происков дьявола.

Я верю тебе, и сама, не понаслышке, знаю могущество дьявола и его приспешников.

В шестнадцать лет меня обещали в жены молодому человеку с добрым именем и обеспеченным будущим: его отец был рыбником на общинных прудах, и сын унаследовал бы его положение.

В ночь на Сретение, ты и сам об этом знаешь, нечистая сила особенно опасна для людей, и мой нареченный поддался искушениям Лукавого — получил от него шкуру волка-оборотня. Слишком поздно мы поняли, что немало запоздалых путников погубил он в этом мерзком обличье на проклятых дорожных распустьях.

Однажды мой отец обнаружил страшную шкуру в развилке ивового дерева. Тут же развел он из сухих поленьев костер побольше, чтобы поскорее сжечь чудовищную личину.

Вдруг издалека донесся ужасный вопль — к нам бежал мой жених, обезумевший от ярости и муки.

Он бросился в огонь, чтобы вытащить уже за-
нявшуюся шкуру, да кирпичники и землекопы
удержали его, а отец подтолкнул шкуру в огонь
пожарче, так что вскорости от нее осталась лишь
кучка пепла.

И тогда мой нареченный разразился жалобны-
ми стенаниями, признал свои грехи и скончался
в ужаснейших муках.

Я покинула родную деревню, не в силах оста-
ваться там, где пришлось пережить этот ужас.

Так разве могу я не поверить тебе?

Она совладала с волнением и продолжала:

— Кабы несчастный мой жених собрался с
мужеством, пал в ноги священнику и признался
в свершенных злодеяниях, он мог бы спастись
даже в мире сем, и душа его не терпела бы теперь
вековечную муку. Ах, заговори он тогда со мною
о своем горе, как ты, думаю, удалось бы помочь
ему.

— О, правильно ли я понял? — спросил я
тихо. — Ты бы и мне помогла?

Милая улыбка осветила ее лицо:

— Ну а как же иначе? И тебе помогла бы,
только не знаю, как. Все, о чем ты рассказал, та-
кое таинственное и темное, мрак окружил тебя и
не отпускает!.. Дай мне подумать этой ночью; срок
небольшой, и пока я буду размышлять, не выпу-

щу из рук четки, привезенные из Святой Земли: в кресте на четках сокрыт кусочек мощей, говорят, чудодейственных.

Она снова улыбнулась; в этот момент в ставень трижды постучали.

Ее рука легла на мою.

— Не выходи, это смерть стучит!

Мы оцепенели, испуганно и вопросительно глядя друг друга в глаза.

Ветер на улице вдруг утих, и в наступившей тишине раздался громкий голос:

— *Я роза Сарона!*

Невыразимым отчаянием звучала Песнь Песней — я узнал голос Матиаса Кроока.

Бетс закрыла глаза и вся дрожала.

Песня вдруг словно воспарила ввысь и затихла где-то высоко-высоко.

Бетс смотрела на меня полными слез глазами.

— Нет, — прошептала она, — нет, это не мертвый поет, это кое-что пострашней, только уж такое горе слышать, что у меня просто сердце разрывается.

Я встал и направился к выходу, повинуясь некой влекущей силе, но Бетс решительно удержала меня.

— Не уходи... Там, за дверями, притаилось ужасное. Не знаю что... но это ужасно... понимаешь? Ужасно.

Я услышал сухое постукивание — Бетс перебирала четки из темных блестящих зерен.

— Они из дерева с горы Елеонской!

Я склонился к девушке.

— Я останусь, Бетс.

Она потушила лампу и тихонько подтолкнула меня к темной лестнице.

Это была странная брачная ночь, добрая и нежная; я заснул на ее плече, рука в ее руке, в которой так и остались четки из зерен благословенного дерева.

Назавтра Бетс сказала:

— Надо попытаться найти Айзенготта.

Мне казалось, что в своей исповеди я не слишком-то распространялся о загадочной роли Айзенготта, поэтому спросил:

— Ты его случайно не знаешь?

— Ну а как же, кто ж его не знает? Он живет в двух шагах, там, где канал сворачивает в сторону, на углу площади Вязов и Стрижиной улицы, в маленьком чистеньком домике, и торгует всякими старыми безделушками, даже очень красивыми. Видишь этот светлый черепашовый гребень? Это он отдал мне вещицу за мелкую серебряную монетку. В округе его очень уважают — он всегда готов помочь и подать добрый совет.

Площадь Вязов?.. Стрижиная улица?.. И в самом деле, мне смутно припомнилось — когда-то я видел там антикварную лавку. Но... ведь задворки этого дома должны выходить к лачуге мамыши Груль? Что-то тут не так...

- Ладно, — согласился я, — схожу.
- Но встать и не подумал. Бетс улыбнулась.
- Конечно же, времени у тебя много...
- Бетс, а ты не сходишь со мной?
- Пойдем, почему бы и нет!

Дверь распахнулась, в таверну с шумом и гамом ввалилась компания моряков, с ними вместе сегодня пришли и плотогоны, сплавлявшие огромные еловые плоты из глубин Черного Леса до приморских равнин Фландрии и Голландии.

Они заработали хорошие деньги и намеревались основательно кутнуть.

— Вина для всех! Разносолы на стол, да побольше! — скомандовал один из парней с веселой располагающей физиономией.

Сейчас нечего было и думать уйти из таверны; Бетс пришлось подавать на стол, а я не умел отказаться от приглашения этих славных людей.

Мы выпили легкого красного вина, за ним, подстегивая аппетиты, на столе появились высокие бутылки рейнского. Кухня наполнилась шумом и дымом, загремели кастрюли, заскворчали капли жира в противнях под вертелами.

— Выпьем! — предложил толстый моряк. — Пока не догнал нас Голландец Михаэль!

Эти слова нагнали мрачное настроение на присутствующих.

— Не к добру поминать его имя! — бормотали некоторые.

Толстяк почесал в голове с виноватым видом.

— И впрямь, друзья, лучше не поминать его всуе ради святого имени Спасителя и... трижды проклятого сатаны!

— Только вспомнишь про него, он тут как тут! — запричитал кто-то.

Я хотел было выпить, но опустил руку и поставил стакан: на стол упала тень — темная фигура заслонила окно.

К стеклу прильнуло чье-то лицо — нас пытались разглядеть с улицы.

Мои сотрапезники не обратили на это никакого внимания, верно, и вообще ничего не заметили. Скорее всего, видение мелькнуло только для меня одного.

Впрочем, и ничего пугающего в нем не было; сердце сильнее забилося в моей груди.

Бледное лицо легкой тенью обрамлял тонкий шерстяной капюшон, прищуренные глаза улыбались мне и сквозь полуопущенные ресницы горели светлым изумрудом.

Эуриалия!...

Одним прыжком я оказался на улице.

У окна никого не было, на улице ни души, но, свернув на бегу за угол, я увидел омерзительную мамашу Груль, неверной походкой она спешила прочь, а на плече у нее, вцепившись, сидел кот Лупка, щуря на солнце свои глазищи.

Моряки и плотогоны ушли из таверны только в сумерки.

Бетс, освободившись от забот, набросила на плечи темную шерстяную накидку и сделала мне знак следовать за ней.

— Дом Айзенготта тут недалеко. В этот час он наверняка сидит в своей лавке, смотрит на улицу да покуривает трубку.

Мы шли вдоль зеленой воды канала, первые лампы загорались на стоящих у причала баржах.

Бетс немного грузновато опиралась на мою руку; я понимал, что девушка счастлива, доверяет мне, и ее присутствие великим спокойствием наполняло мое истерзанное сердце.

— О чем ты думаешь? — внезапно прервал я молчание.

— О тебе, конечно, — с обычной своей прямоотой отвечала Бетс. — И о моем несчастном женихе.

Моя родная деревня тянется вдоль больших, очень больших прудов, которые сообщаются с морем длинными протоками.

Воды у нас богаты рыбой, а вот земли пустынные, однако добрые Белые Монахи, благослови их Господь, основали в тех местах свою обитель.

Если бы только мой нареченный доверился мне... Обратись мы тогда к монахам, они изгнали бы дьявола из его души.

Хочешь, как-нибудь навестим их — они наверняка защитят тебя от таинственных опасностей.

Я ласково сжал ее руку.

— Хорошо, Бетс, я сделаю, как ты велишь.

— Знаешь, когда у них звонят, то колокол отчетливо зовет: *приди ко мне... приди ко мне...* А над дверями выведено золотыми буквами: *Радость и мир входящему сюда, идущему мимо — Бог с тобою.*

— Если я войду туда, как же ты?

— Я останусь в деревне, хоть и тяжело мне туда возвращаться; а глядя издали на монастырскую колокольню, я утешусь мыслью о том, что тебя там защитят и спасут.

Мы миновали несколько улочек, куда уже вползала ночь; двери и окна закрылись, готовясь к близкому сну.

— Вот и Стрижиная улица!

Улочка, тоже темная и пустынная, уводила от канала к темной платановой аллее для игры в мяч.

— Странно! — прошептала моя подруга.

— Что такое, Бетс?

Она не ответила и прибавила шаг.

— Где же лавочка Айзенготта?

Рука, опиравшаяся на мою, дрожала.

— Странно, — судорожно вздрогнув, ответила Бетс. — Вроде бы мы прошли Стрижиную улицу, но... О, что же это? Это ведь не Стрижиная улица! Хоть и знакомая. Пойдем дальше!

Мы дошли до сонной аллеи; на ясном небе выпали звезды.

— Мы ошиблись, — вдруг сказала она, — и что такое со мной! Вот же наша улица!

Но и это была не наша улица, в чем Бетс убедилась, когда мы в темноте прошли ее от начала до конца.

— Ничего не понимаю, — прошептала Бетс. — Ведь Стрижиную улицу я могу найти и с закрытыми глазами; мы просто должны найти ее... Должны!

Еще трижды Бетс казалось, что мы, наконец, нашли нужную улицу, и всякий раз она ошибалась.

— Ох, мы ходим, словно по заколдованному кругу, и совсем заплутались. Куда же мы попали? — жаловалась Бетс.

Мы ни разу не переходили через мост, тем не менее я был уверен, что нас завело совсем в другую часть города. Вдруг я сдавленно вскрикнул и застыл на месте.

— Смотри... там...

Мы стояли перед Мальпертью.

Черный и огромный, как гора, в ночи высился дом моего двоюродного деда Кассава.

Ставни опущены, словно веки мертвеца, черная пасть подъезда зияла зловещей бездной.

— Бетс, — взмолился я, — уйдем... Я боюсь входить!

Девушка не ответила, и я сомневаюсь, находилась ли она еще подле меня.

Башмаки мои, казалось, налились свинцом, я с трудом оторвал ногу от земли и двинулся — тяжелым шагом сомнамбулы.

Я шел... шел...

Все мое существо бунтовало и кричало в страхе — и все-таки я шел к крыльцу.

Поднялся по лестнице, медля на каждой ступени.

Дверь открылась, а может, она была заранее открыта?

Черной ночью вошел я в Мальпертью.

ТОТ, КТО ГАСИЛ ЛАМПЫ

В глазах богов он провинился тем, что
помог людям в их несчастьях...

ГОТОРН

Из глубины огромного холла голубая звезда наблюдала мое вступление в дом — я узнал лампу толстого стекла, зажженную у ног бога Терма.

Я направился к ней, как припозднившийся на проклятом болоте путник идет на предательский свет блуждающего огонька.

Минуя спиральную лестницу, я увидел в черном проеме сверкающие наверху искорки — по всем этажам на лестничных площадках горели лампы и свечи Лампернисса. Я закричал что было сил:

— Лампернисс! Лампернисс!

Станный и зловещий был ответ.

Оглушающий и вместе с тем какой-то сдавленный шум, будто хлопал на ветру поникший парус.

Самая верхняя искорка померкла.

Бессильно прислонясь к стене, не в силах разбить жестокие оковы и двинуться с места, я наблюдал медленную агонию света.

Светильники гасли один за другим, и каждое новое затмение сопровождалось тяжелым хищным звуком.

Тень приближалась, подкрадывалась ко мне, чернильно-смолистый мрак уже затопил все верхние этажи.

В нише второго этажа, похоже, горела сальная свеча; мне не было видно ее, но неверный желтый свет падал на ступеньки и перила.

Туда, на лестничную площадку, словно опустилось облако, еще чернее, чем наступающая за ним ночь; гибели свечи неожиданно сопутствовал не шум бесполезного паруса, а жуткий вопль и оглушительный скрежет железа по железу.

Свод мрака надвинулся на меня.

Оставались только два источника света: красивая лампа с округлым язычком пламени в углу большой лестничной площадки первого этажа и слабый отблеск где-то вдали — венецианский фонарь, яркий сам по себе, именно поэтому дающий мало света.

Солидная верхняя лампа, по-видимому, сопротивлялась — ее отсвет сначала дрогнул, почти пропал и разгорелся вновь.

Уже пронесшаяся было мимо лампы тень вернулась, сопровождаемая хлопающим звуком и

криком ярости, — и лампа уступила, побежденная.

Оставался фонарь.

Я различал его очень хорошо — он висел на шнуре почти над моей головой: хищник из мрака неизбежно явился бы моему взору, если готовил фонарю ту же судьбу, что и остальным светильникам. И я его увидел, если, конечно, можно сказать, что видишь тень, падающую на тень.

Нечто огромное, мимолетное, подобное стремительно несущемуся дымовому сгустку, в котором выделялись два светящихся красным пятна, набросилось на радужный свет, и он сгинул.

В это критическое мгновение я вновь обрел способность двигаться.

В дьяволовом логове оставался единственный источник света — голубая лампа бога Терма.

Я кинулся к ней и схватил, твердо решив защитить свет от любого исчадия ночи.

Внезапно моего слуха достигли жалобные стечения.

В жизни не слышал ничего более душераздирающего и безысходного — и в этом плаче, в этом нечеловеческом страдании прозвучал призыв ко мне.

— Маленький господин... Света, маленький господин!

Откуда-то со второго этажа, из-за непроницаемой стены мрака меня звал Лампернисс.

Я торопливо вывернул на пару дюймов фитиль в голубой лампе, и прекрасное маленькое зарево

родилось в моей сжатой руке, бросающей вызов грозной тьме.

— Лампернисс... я иду... держись!

Я помчался наверх через две ступеньки, осененный лазурным ореолом, жестом и словом противоборствуя неизвестному врагу.

— Только попробуй вырвать у меня лампу!

Но творение мрака не явилось, я беспрепятственно добрался до лестничной площадки, откуда доносились стоны Лампернисса.

Свет неровными скачками двигался впереди меня, вызывая к жизни причудливые тени, светло-голубыми мазками ложился на стены и резные панели.

— Лампернисс!

Я чуть не наткнулся на него; жуткое зрелище предстало моим глазам, потребовались все мое мужество и весь мой гнев, чтобы не выронить лампу.

Бедный Лампернисс лежал на липком от почерневшей крови полу, безобразно нагой, со страшной рваной раной на теле.

Я наклонился приподнять его, но слабым движением он отказался от помощи.

Руки его бессильно упали — звякнуло железо. Только тут я разглядел: он был прикован к полу тяжелыми цепями.

— Лампернисс, — взмолился я, — только скажи...

Он страшно захрипел.

— Обещайте...

— Да, да, все что скажешь...

Он приоткрыл подернутые пеленой глаза и улыбнулся.

— Нет... не то... света! О, пощади меня!

Тело его обмякло, глаза закрылись, только огромная страшная рана продолжала судорожно пульсировать.

Из ночной глубины что-то надвигалось на меня, и вдруг перед моими глазами возник чудовищный коготь.

В голубом свете лампы явился громадный орел: звезды бы содрогнулись, уstraшенные его величием, яростный взор обжигал, Мальпертью потряс его жуткий крик.

Лапа со стальными когтями вырвала из моих рук светильник и отбросила далеко в сторону. Тьма сомкнулась вокруг меня, как тюремные стены.

Чудовище, по-видимому, ринулось на свою жертву, ибо я услышал страшный звук раздираемой плоти.

— Обещайте!..

Слабый голос, принесенный легким дуновением, произнес это слово как будто прямо мне на ухо.

И тишина.

Немного погодя открылась дверь.

В черной глубине родился свет — свет свечи или высоко поднятого потайного фонаря.

Неуверенные шаги, осторожно ступающие по темной лестнице.

Свет разгорался, приближаясь с каждой ступенькой.

Я увидел свечу.

Вставленная в примитивный подсвечник из обожженной глины, она колебалась в такт державшей ее руке. Короткие и толстые, словно сосиски, пальцы другой руки прикрывали пламя.

Когда свет упал на меня, обладатель свечи остановился и что-то пробурчал.

Толстая лапища больше не заслоняла огонек — она протянулась и схватила меня за плечо.

— Ну-ка, пошли!

В голосе звучала угроза.

Свеча дернулась, и я наконец увидел лицо — лицо кузена Филарета.

Я пробормотал его имя, но он не ответил.

Угрюмо таращась на меня, он еще сильнее сжал мое плечо и с силой подтолкнул.

Меня овеяло нежным ледяным дыханием, и я ощутил себя почти невесомым.

Но грубая враждебная сила по-прежнему владела мной, казалось, меня неумолимой хваткой сдавил мощный борец, затем будто змея обвила руки и ноги, спускаясь к запястьям и щиколоткам.

И я словно погрузился в глубокую и очень холодную воду.

— Ты будешь все видеть и слышать, но даю слово, мучений ты избежишь.

Приятная легкость не исчезла, но я оцепенел в полной неподвижности, исключаящей малейшую возможность движения, — признаться, я и не пытался пошевелиться, боясь спугнуть сладостное ощущение покоя.

— Я простой пожилой человек и зла ни на кого не держу; хоть и мог бы обидеться на тебя; помнишь, как ты отказался добыть мне коростеля (вот славное было бы чучело!), и вообще — нет чтобы поймать одного из маленьких злых бесов с чердака, так ты еще и ловушку потерял, на которую столько времени и труда положено.

Я плашмя лежал на очень холодном столе, надо мной висела люстра с множеством рожков — в каждом по массивной свече витого воска, и все они горели ровным высоким пламенем, разливая мягкое золотистое сияние.

Голос кузена Филарета удалось признать сразу, но самого его я не видел: в поле зрения оказался лишь потолок с глубокой лепниной, где притаились бархатные тени, да еще самый дальний угол комнаты.

— Голову повернуть ты не можешь, а потому не видишь компанию, куда в скорости попадешь. Небось порадуешься встрече с ними; ладно уж, коли сам неподвижен, так и быть, покажу их тебе.

Послышалось пыхтение, будто кто-то из всех сил раздувал тлеющую головешку, затем несколько раз что-то мягко ударилось о потолок.

Пламя свечей затрепетало.

Три тощие фигуры прибились к потолочным балкам; премного довольный кузен Филарет расхохотался и хлопнул себя по ляжкам.

— Вот они, голубчики... Узнаешь, не правда ли? Жаль только, не в моих силах сейчас заставить их повыкаблучивать кое-что, а не просто плясать по потолку этакими надутыми пузырями — впрочем, они и есть пузыри.

В его голосе звучало сожаление.

— И впрямь жалость берет. Я-то не из их числа... Лампернисс так мне прямо и заявил при okazji. Ах, чтоб его... К сожалению, не имею права отправить его в вашу компанию — у него, видите ли, привилегии! Ну, а с тобой...

Он замолчал, и его молчание длилось вечность.

— Насчет тебя мне толком не сказано... честно говоря, и сейчас не знаю — я, видишь ли, Касаву был верный слуга, а доверенностью своей он меня не почтил; представляешь, уже несколько недель без дела сижу — ты-то понимаешь мои мучения. За тебя никто отчета не потребует, милый мой малыш, ведь поручили же мне толстого Чиика — а его-то случай не так прост, если верить перепуганным Грибуанам. Ладно, ладно... добрые времена вернулись к славному кузену Филарету, наконец-то поработаем — заживем вовсю и насладимся радостями бытия.

Я услышал серебристый перезвон инструментов и склянок.

— Гм, гм... — бурчал он, — надо бы поспешить, а то опять вмешается эта... тварь, она-таки хапнула у меня тетушку Сильвию!

Отличный был материал, да попробуй поработай со статуей, настоящей такой — твердокаменной!

Вновь звяканье склянок и стальных инструментов.

— А бедняга Самбюк, подумать только... Я-то любил его и хотел было законсервировать навечно. Какое там! Только пепел остался, вот ведь незадача; грубо сработано, по-моему!

— Ну, пора и за дело... Вроде как табаком потянуло, видно, опять где-то близко этот бездельник аббат шныряет. Не надейся — он не за тобой здесь шастает, я-то знаю, чего ему надо — только не дождется. Скоро уже и ночь на Сретение.

Тут я, наконец, увидел кузена Филарета.

Он облачился в халат из перекрашенной ткани и то размахивал длинным отточенным скальпелем, то пробовал его на ногте большого пальца.

— Скоро и ты к ним отправишься, — продолжал он, тыкая в сторону плясунов, толкущихся под потолком. — Вот только, увы, оставить тебе голос, как Матиасу Крооку, не удастся. Не я решаю... а вот он, видать, тоже в привилегированных ходил, хоть мне его и уступили... И вообще не мое дело решать всякие загадки, я человек простой.

Рука со скальпелем зависла над моим горлом и на мгновение замерла. Страху не было, напро-

тив, меня охватило блаженное предчувствие спокойствия, великой безграничной безмятежности.

Но поблескивающее лезвие не опустилось.

Внезапно оно судорожно дернулось раз и другой, будто руку, нацеленную на мое горло, вдруг поразил испуг или паника.

Затем рука неожиданно исчезла из моего поля зрения и появилась физиономия Филарета.

Он был изжелта-бледен, в выпученных глазах застыло выражение гнусного страха. Кривящийся, сведенный испугом рот вперемежку с икотой выбросил умоляющие слова:

— Нет, нет — не хочу! У них нет такого права...

Где-то слегка скрипнули петли открывающейся двери.

Филарет успел пролепетать:

— Я человек простой... Дядюшка Кассав сказал...

Челюсть у него щелкнула, словно с силой хлопнули крышку кастрюли, и черты лица удивительным образом начали меняться.

В один миг жизнь словно вытекла из глаз и в них отчетливо отразилось желтое пламя восковых свечей, глубокие морщины избороздили щеки, в них залегли тени, лоб заблестел, как полированный мрамор.

Он покачнулся и исчез с моих глаз.

Послышалось тяжелое падение и оглушительный грохот расколовшегося камня.

Рядом со мной раздался голос:

— Не смотри! Закрой глаза!

Нежные, словно шелк, пальцы легли на мое лицо и закрыли веки.

Снова заскрипела дверь: легкие удаляющиеся шаги.

Чары, приковавшие меня к столу чучельщика, рассеялись. Я приподнялся, дружеская рука помогла мне встать.

Я узнал эту руку...

— Айзенголт!

Он стоял рядом, в своем знакомом обличье — зеленый сюртук, ниспадающая на грудь борода — и пристально смотрел мне в глаза.

Но привычная суровость сменилась странным волнением: мне показалось даже, что в его глазах блеснули слезы.

— Ты спасен! — воскликнул он.

А я, в отчаянии перебивая себя, зашептал:

— Зачем меня вернули сюда, в этот проклятый дом? Ведь я вас узнал там, у моря, — это вы доктор Мандрикс, вы велели мне вернуться...

Он по-прежнему смотрел на меня бесконечно печальными огромными глазами, и с губ его сорвалось одно лишь непонятное слово:

— Мойра!

Я с мольбой протянул к нему руки.

— Кто вы, Айзенголт?.. Вы внушаете страх, а ведь вы не злой, как многие из живших здесь.

Он тяжело вздохнул, и на краткий миг волнение, даже отчаяние проскользнуло по бесстрастному, точно восковая маска, лицу.

— Я не могу тебе открыть... Еще не истек срок, мое несчастное дитя.

— Я хочу уехать, — разрыдался я.

Он тихонько кивнул.

— Ты уедешь... Ты покинешь Мальпертью, но, увы, Мальпертью будет преследовать тебя всю жизнь, такова воля...

Он замолк, но его прекрасные сильные руки дрожали.

— Чья же воля, Айзенготт?

Во второй раз я услышал это загадочное слово:

— Мойры!

И он склонил голову, словно согбенный неодолимой силой.

— Я хочу поскорее уйти! — нарушил я молчание.

— Хорошо, только дай мне руку, позволь вести тебя, и не открывай глаза, если хочешь избежать воистину страшной участи.

Я подчинился и мы переступили порог: по лестнице я спустился, держась за своего загадочного покровителя; под нашими шагами гулко отзывались каменные плиты.

Внезапно мы остановились, и я почувствовал, что сам Айзенготт вибрирует всем телом.

Издавека, откуда-то из глубины ночи, доносилось мрачное и грозное песнопение.

— Барбускины! — в ужасе воскликнул Айзенготт. — Они идут! Они все ближе! Они вышли из смерти!

Он трепетал, как хрупкое деревце на ветру.

— Неужели вы боитесь их? — спросил я, понизив голос.

Ответом мне был вздох.

— Нет, не их, — пояснил он, — а того, что они несут мне... небытия!

Свежий ветер пахнул мне в лицо, звуки гимна внезапно затихли.

— Мы выбрались на улицу! — обрадовался я.

— Да, только не открывай глаза!

Еще долго мы шли молча рядом, пока Айзенготт не разрешил осмотреться.

Я стоял у таверны Бетс: за шторой в окне слабо светился огарок свечи.

— Иди, дитя мое, мир вернулся к тебе, — сказал Айзенготт, выпуская мою руку.

Я удержал его:

— Там, на берегу моря, я видел отца и...

Слова застряли у меня в горле.

— И глаза Нэнси, — с трудом пробормотал я.

Он яростно потряс головой.

— Замолчи!.. Замолчи! Ты видел лишь призраки, отражения сокрытого. Если бы великие силы, правящие миром, так и оставили их призраками для тебя, дитя мое!

Он покинул меня столь быстро, что в сумерках я даже не заметил, куда он направился.

Я толкнул дверь в таверну: Бетс встретила меня с четками в руках, спокойно улыбаясь.

— Ты ждала меня?

— Разумеется, — сказала она просто, — я знала — ты скоро вернешься, и надо ждать; все это время я молилась.

Я бросился в ее объятия.

— Хочу уехать подальше отсюда, с тобой! — рыдал я.

Долгим поцелуем Бетс закрыла мне глаза.

— Конечно, милый мой, мы поедem ко мне в деревню. И отправимся к добрым Белым Отцам, — прибавила она со вздохом.

На глаза у нее навернулись слезы.

Приди ко мне... приди ко мне... — так зовет колокол; пока я молилась за тебя, этот зов слышался совсем рядом, а ведь моя деревня так далеко...

Здесь кончаются мемуары Жан-Жака Гранд-сира.

НОЧЬ СРЕТЕНИЯ

Самые опасные ловушки сатана, враг света, расставляет в ночь Сретения

ФЛАМАНДСКИЙ ФОЛЬКЛОР

Последующие страницы написаны Домом Миссероном, в монашестве — отцом Эвгерием, настоятелем монастыря Белых Отцов; имя его неизвестно в литературе. И в самом деле, его перу принадлежит несколько сборников рассказов о путешествиях и приключениях, ибо до того, как по благочестию своему распрощаться с миром, Дом Миссерон был великим путепроходцем перед Всевышним.

Воспоминания Жан-Жака Грандсира много лет продремали в архиве сего достойного человека, и должно воздать ему справедливость — не подверглись каким-либо превратностям.

Кстати, Дом Миссерон никогда не предполагал предать гласности Воспоминания, и лишь вмешательство беззастенчивого нахала — то есть мое вмешательство — привело к публикации.

Итак, история Мальпертюи, которая могла бы на сем и завершиться, продолжается и немного — увы, слишком немного — позволяет приподнять покровы мрака, ревностно ее оберегающие.

Мне вовсе не пришлось упрашивать доброго брата Морена в подробностях поведать о появлении незнакомца.

По окончании утренней службы, когда братья направлялись в трапезную, из тумана появился человек и усталым шагом пересек луг, раскинувшийся прямо перед скрытым южным входом в монастырь.

Брат Морен как раз собрался выпустить на луг трех наших рыжих коров, заметно ослабевших от долгого пребывания в стойле; увидев чужака, он поспешил навстречу.

— Я избавлю вас от необходимости делать большой крюк по лугу — там слишком сыро, да и дорожку за зиму разбили колесами, — обратился он к путнику. — По правде говоря, мне не следовало бы так поступать: сторонним людям надлежит являться к главному входу, где их встречает брат привратник, да уж больно вы утомились на вид.

Брат Морен — человек примерной святости, однако болтлив, и ничто так не радует его, как возможность почесать языком.

Незнакомец, одетый в подрясник, весь промок от тумана и прошедшего поутру дождя; головной убор, по всей видимости, сорвало ветром, ибо голова его была непокрыта, и волосы прилипли ко лбу и шее.

— В кухне горит добрый огонь и кофе совсем еще горячий, — продолжал брат Морен. — Вчера только испекли хлеб, так что вы отведаете свежего, а вкуснее и не сыщешь. Сыр у нас от своих овечек, очень даже недурен, только вот малость постноват в это время года.

Путник невнятно пробормотал слова благодарности.

— Вы не служитель ли церкви? — внезапно спросил брат Морен, поначалу не обративший особого внимания на одежду гостя.

— Меня зовут аббат Дуседам, — отвечал тот, — и я пришел повидать досточтимого отца Эвгерия; смею надеяться, мое имя не вовсе ему незнакомо.

— Только после того, как вы подкрепитесь, — возразил славный брат Морен. — А не то наш святой настоятель всенепременно рассердится на меня — мол, почему допустил вас к нему в покои в таком плачевном виде.

Аббат Дуседам проследовал к огню, где согласился выпить большую кружку кофе с молоком, но от краюхи хлеба с маслом и сытного ломтя овечьего сыра отказался.

— Мне не проглотить и кусочка, — признался он. — У меня распухло и болит горло, ломит

все тело. Всю ночь мне пришлось идти по ужасным дорогам, ветер так и свистел, хлестал дождь. Кабы зов вашего колокола не достиг моих ушей в тумане, я бы, верно, лег у дороги, чтобы умереть.

— Господи помилуй, — заволновался брат Морен. — Вы ведь не заболаете, а?.. Я-то обрадовался: вот, наконец, и к нам пришли... Гости у нас бывают очень редко.

— Я бы хотел как можно скорее переговорить с отцом Эвгерием, — прошептал аббат Дуседам.

— Уже бегу! — воскликнул превосходнейший брат Морен. — Нет, нет, оставайтесь у огня, наш святой настоятель будет рад сам прийти приветствовать вас!

И впрямь, я тут же оставил свою чашку подогретого молока и горячие тартинки — со стыдом признаюсь, что лакомился ими как истый чревоугодник, — и последовал за болтливым братом Мореном в кухню.

Аббат Дуседам сидел перед очагом у потрескивающего огня, и от его промокшей одежды исходило серое облако пара; голова свесилась на грудь, дышал он тяжело.

— Заснул, бедняга! — жалостливо воскликнул брат Морен.

Я положил руку гостю на лоб — он весь горел.

— Немедленно положить его в постель, с двумя грелками в ногах, и приготовить чашку кипящего молока с ромом, — распорядился я.

Все было незамедлительно исполнено.

Спустя два часа я навестил больного, отправив большую часть утренней работы, и к своему удивлению нашел его бодрствующим, даже готовым подняться с ложа.

— Невозможно вам покинуть постель, — строго выговорил я. — Вы сильно простудились и неблагоразумное поведение может дорого вам обойтись. Выпейте вот эту чашку, вам приготовят еще.

Он благодарно пожал мне руку.

— Брат послушник сказал вам мое имя? — спросил он.

Я утвердительно кивнул.

— Дорогой аббат Дуседам, не удивляйтесь, что я уже ожидал вас некоторое время.

Он озабоченно покачал головой.

— Воистину, отец Эвгерий, значит, *он* и в самом деле здесь.

Я вновь кивнул.

— Как вы говорите, мой дорогой Дуседам, *он* здесь, и я очень надеюсь защитить его от злых сил, его преследующих.

— Ах, отец Эвгерий! — вскричал аббат со слезами в голосе. — Да сбудутся слова ваши! Но даже для такого святого человека, как вы, задача эта ужасная, если вообще выполняемая.

Должно быть, он прочел на моем лице осуждение, с коим я воспринял такое сомнение, недостойное слугителя церкви, ибо тут же добавил:

— Простите... недостаток веры в бесконечное милосердие Господне — величайший грех.

Помолчав, Дуседам тихо спросил:

— И... как он?

— Ободритесь, — отвечал я, — жизнь его вне опасности, но дух, верно, едва удерживается на скользком краю пропасти. К нам его привела молодая женщина из здешних мест, некогда ушедшая из своей деревни в город.

Кажется, в дороге их постигли какие-то несчастья, весьма его напугавшие и удручившие.

Брат лекарь, коего вниманию я поручил несчастного, самоотверженно ухаживает за ним, и, по всей видимости, удовлетворен теперешним состоянием больного.

Монастырский устав запрещает женщинам находиться здесь, в противном случае я охотно позволил бы той славной и отважной девушке остаться у его изголовья.

— Несчастья... — прошептал аббат Дуседам, — все то же самое...

— Бог мой, дорогой Дуседам, будьте уверены, что я расспросил девушку — кстати, ее зовут Бетс, и я хорошо знаю ее почтенную семью. Немного она могла рассказать — только про какое-то кошмарное видение, внезапно возникшее из тумана: три отвратительных чудовища неоднократно пытались преградить им путь, но отступали, когда из тумана раздавался чей-то громкий и чистый голос.

Всякий раз ужасные фантомы спасались бегством с криком «Эуриалия! Эуриалия!» — и, по словам Бетс, сами казались очень напуганными.

Доблестная девушка все время молилась и справедливо полагает, что по этой причине посланцы Лукавого не смогли причинить вреда ни ей, ни ее спутнику.

Однако ж сей последний весь трясся в лихорадке, когда она привела его к нам, и разум его помрачился. Вам что-нибудь понятно во всем этом, дорогой аббат?

— Боюсь, что так, — ответил он печально.

Я продолжал:

— Бетс передала мне туго скрученные листы бумаги, пояснив, что они были написаны ее другом за три дня и три ночи. Ей самой не достало ни любопытства, ни времени на чтение, зато она была уверена, что мне удастся извлечь из написанного какие-нибудь сведения...

Тут я замолк в замешательстве.

— Я прочел... и как бы это сказать?.. «Когда Бог хочет наказать кого, то отнимает у него разум». Но к чему бы захотел он наказать несчастного юношу, против которого ополчились силы тьмы? Поистине, Дуседам, большую тяжесть удалось бы мне снять с души, будь я уверен, что страницы эти исписаны безумцем...

— Он вовсе не безумец! — твердо заявил Дуседам.

— Боюсь, что нет, — просто ответил я, — а тогда: да защитит его Господь!

— Доверьте мне эти записи, — попросил аббат.

— Разумеется, только при условии, что у вас достанет сил на чтение — не забывайте, дорогой друг, вы и сами нездоровы.

— Не так уж я болен, — возразил аббат. — К тому же, отец Эвгерий, я спешил сюда, ибо все во мне решительно требует: нельзя терять ни минуты!

— Возможно, вы правы, — согласился я после некоторого раздумья. — Бумаги вам передадут. Быть может, вам удастся прояснить хоть немного этот ужасный мрак!

Я вновь навестил аббата в полдень; он едва притронулся к легкому кушанью, принесенному братом поваром.

— Вы прочли? — спросил я, и сердце мое сжала тревога.

Аббат Дуседам поднял на меня расширенные страхом глаза.

— Прочел... Ах, отец Эвгерий, мой юный друг не лгал! Все это ужаснейшая правда.

— Господи прости! — вскрикнул я. — Бог не допустил бы подобного!

Аббат прижал ладонь к влажному от испарины лбу.

— Мне надобно собраться с силами, подумать, связать воедино разрозненные обрывки — и тогда,

отец Эвгерий, надеюсь, смогу внести хоть немного ясности во все это дело. Пока же...

Он явно колебался.

— У меня к вам просьба, я прошу об огромной услуге, какой бы невразумительной она вам ни показалась. Речь идет, увы, о личном одолжении... я вынужден ужаснейшими обстоятельствами...

— Говорите же, все, что в моей власти, будет сделано, да и вся монастырская братия готова помочь вам.

— По календарю у нас сегодня... — едва слышно произнес он.

— Последний день января, праздник святой Марселии, рожденной в Риме в 350 году и умершей в начале следующего столетия. Жизнь ее могла бы служить назидательным примером, но обстоятельства мало известны; очень немного найдется на сей счет и в агиографических трактатах. Поверьте, дорогой друг, я весьма об этом сожалею.

— Назавтра... — продолжил аббат Дуседам, глядя куда-то вдаль.

— День Очищения: будем готовиться достойно встретить послезавтрашний день Сретения.

— Сретение! — воскликнул больной. — Да! Да! Именно Сретение я имею в виду.

— В этот день принято давать девятидневные обеты — вы, разумеется, осведомлены, насколько они действенны. В деревне зажигают освященные свечи, пекут вафли, блины и печенье

«дарьоль», часть испеченного жертвуют в монастырь. Люди тушат зайцев, пойманных силками, немало неудачливых кроликов испускает последний вздох и попадает в кастрюлю, а уж о курах и утках и говорить нечего.

Праздник этот всегда исполняет меня радостью, а в ней, пожалуй, чуть-чуть ощутишь языческий привкус — ведь это праздник света, как вы полагаете?

— Свет! — воскликнул аббат Дуседам. — Ах, отец Эвгерий, свет совершенен и абсолютен только как атрибут Бога; в нашем же несчастном мире порождения тьмы льнут к свету подобно inferнальным кровососам.

Возбуждение и нервозность аббата я отнес на счет снедавшей его лихорадки.

— Вы как будто говорили о какой-то услуге, — переменял я тему разговора.

Никогда прежде не приходилось мне читать столь страстной мольбы в человеческих глазах.

— Не спрашивайте меня о причине, хотя бы пока, — простонал он. — Возможно, Господь смилостивится надо мной и избавит от мук, кои я провижу и коих неизбежности страшусь. Сретение... Отец Эвгерий, в ночь на Сретение меня надо замкнуть накрепко в помещении с такими решетками на окнах, чтобы исключить возможность побега.

— Что ж, — удивленно согласился я, — к вам никто не сможет проникнуть.

— Не того я боюсь, — вскричал он, — не меня надобно оградить от неких маловероятных пришельцев, меня надо защитить от себя самого! Нужна такая комната, откуда ни за что не выйти, да чтоб меня никто не выпустил! Ах, отец Эвгерий, тяжело обращаться к вам с подобной мольбой и не смей должным образом объясниться.

Я жестом призвал его к молчанию.

— Все будет сделано по вашему желанию, мой дорогой брат, а теперь займемся исключительно вашим здоровьем.

Улыбка облегчения скользнула по лицу Дуседама, и через некоторое время он мирно заснул.

На другой день я нашел его отдохнувшим, но слабым: говорил он с большим трудом. Брат лекарь обнаружил у него воспаление горла и прописал весьма действенные целительные травы. Кстати, сей скромный, но полезнейший служитель поведал мне, что протрация, в коей находился с момента своего прибытия молодой Грандсир, не проходит, напротив, состояние его усугубляют приступы буйного возбуждения: в течение оных больного явно преследуют болезнетворные видения; лучшие успокоительные средства не приносят видимого облегчения.

Весть эта сильно меня обеспокоила, тем более что все свое время я вынужден был уделить завтрашнему празднику.

Вскоре после полудня брат привратник объявил, что меня спрашивает посетитель.

Пришел простой человек, в грубой, но вполне удобной одежде, со свертком, завернутым в прочную холстину.

— Имя мое Пикенбот, — объявил он, — а по ремеслу я сапожник. Сюда добирался целых два дня и не скажу, чтоб путешествие было приятное.

— Ради Господа нашего — добро пожаловать, — отвечал я, — и безразлично, какая причина побудила вас проделать столь долгий и утомительный путь.

— Однако же все дело в этой причине, — нахмурил он широкие и густые брови, — по мне, так она вовсе необычна, да и вам, думаю, так покажется.

Своим почерневшим от смолы и ваксы пальцем он показал на завернутый в холстинку сверток.

— Это надобно передать аббату Дуседаму.

— Откуда вы знаете, что он здесь? — воскликнул я.

— Я простой человек, душа у меня открытая и слушаюсь я здравого смысла. Как вы считаете, может ли такой человек поверить сну и даже поинноваться наказу, полученному во сне?

Я задумался, ибо расценил вопрос как слишком серьезный, чтобы отнестись к нему с неподобающим легкомыслием.

— Порой Владыка небесный в своей безграничной мудрости пользовался сновидениями, дабы ниспослать своим творениям спасительные советы и даже предназначения.

— Так я и думал, — сапожник облегченно вздохнул, и лицо его немного прояснилось. — Только вот всякое ли сновидение от Господа?

Я пришел в полное смятение.

— Нет, к сожалению, нет; нельзя забывать: ведь Лукавый — падший архангел, и при этом весьма могуществен, дабы вводить смертных во искушение и толкать их на стезю греха...

Пикенбот принял таковое рассуждение, энергично кивая большой темноволосой головой.

— Именно так я и сообразил. Мне нечего скрывать от вас, вот и расскажу, зачем я сюда явился.

Был у меня друг Филарет, он занимался набивкой звериных чучел и содержал маленький музей природы. Несколько месяцев назад он съехал и перебрался в какой-то важный господский дом — дескать, из-за наследства. Три дня тому назад он вдруг явился мне во сне, а я, заметьте, вообще никогда снов не вижу. Так вот: смотрю я будто на него, и очень мне от его вида страшно стало. Стоял он передо мной неподвижный, совсем как каменный, глаза у него мертвые да холодные, не приведи Господь глядеть в них пристальнее, и только губами шевелил.

— Пикенбот, — сказал он мне, — исполни мое повеление под страхом страшных несчастий. Завтра на рассвете ты найдешь на пороге сверток, завернутый в материю, смотри не вздумай в него заглянуть. Немедля отправишься на

север, пока не придешь к монастырю Белых Отцов, где находится сейчас аббат Дуседам. Сверток для него.

Только Филарет это вымолвил, как пошатнулся и грохнулся оземь.

Представьте себе мой ужас: он разбился на кусочки, так что вся земля была усеяна каменными осколками. Верно, во сне самые удивительные вещи случаются, как вы думаете?

Назавтра утром я проснулся, нашел сверток, где было сказано, и понял — ослушаться полученного во сне приказания не могу.

Невзирая на мои настояния, Пикенбот отказался у нас отдохнуть и поспешил уйти, испросив моего благословения.

Не смея больше ждать, я прибегнул к молитве.

— Просвети меня, Владыко! — взывал я.

Услышал ли меня Всевышний? — Возможно.

Ибо когда я поднимался с колен после молитвы, попался мне на глаза сверток, оставленный на столе Пикенботом, и великий страх объял душу мою.

Взял я сверток и запер на тройной запор в ящике шкафа, где берегу кое-какие ценности.

Очень уж тяжким показался сверток, и смею заверить, те несколько секунд, пока я его держал, руки мне жгло, словно огнем.

И порешил я не отдавать сверток аббату Дуседаму, тем паче что на ум мне пришло его странное пожелание.

Спустился вечер, резкий ветер хлестал кроны деревьев, а ближе к ночи разразилась буря.

Верный обещанию, я распорядился на рассвете перенести аббата Дуседама в одно из помещений западной башни, где некогда хранилась казна.

Дубовая дверь была обита стальными гвоздями и снабжена тремя мощными наружными задвижками; единственное окно, высокое и узкое, забрано двойной решеткой из толстых прутьев, вмурованных в стену.

В ту минуту, когда послушники опустили аббата на сооруженное наспех ложе, последний закатный луч словно запалил пожар в мрачном убежище, и больной предстал передо мной в огне и крови.

Сие наблюдение еще более усилило мою тревогу, так что я решил провести большую часть ночи в молитве о спасении доверенных нам гостей.

Я в некотором роде особо почитаю святого Роберта, настоятеля Молемского, основателя монастыря в лесу Сито, и должен признаться, это благочестивое преклонение объясняется весьма недостойным тщеславием.

Так уж случилось, что Господь соизволил слепить меня по образу и подобию сего святого основателя, а я горжусь незаслуженным сходством; вряд ли оправдывает мою гордыню и то обстоятельство, что никогда не взывал я еще к тому, чьей бледной копией по наружности моей являюсь.

Впервые обратился я к святому, моля направить меня во мраке окружающих тайн.

Ближе к полуночи я вознамерился немного отдохнуть, как вдруг в дверь осторожно постучали.

Пришел брат Морен, ему вместе с другими верными служителями велел я сторожить у двери аббата Дуседама, на тот маловероятный случай, ежели против всех моих распоряжений по какой-либо причине дверь откроется.

Бедняга был до невозможности перепуган, бледен и трясся всем телом.

Я заставил его принять целебное средство — оно всегда у меня под рукой, — лишь несколько успокоившись, брат Морен сумел объяснить мне причину своего прихода.

— В комнате слышны шаги! — объявил он.

— Что ж! Верно, аббат Дуседам встал с постели, хотя, по правде говоря, он казался чересчур слабым, чтобы ходить.

— О, отец настоятель! — вскричал брат Морен, — больной, едва держащийся на ногах, так не может ходить, да и вообще там не обычный смертный. Это великан... или же зверь — это не шаги, а прыжки и удары, от них содрогаются стены и даже плиты пола.

Встревоженный, я молча последовал за братом Мореном: надеялся, что он, как всегда, преувеличивает, однако едва мы свернули за угол коридора, сделалось очевидно, что брат Морен на сей раз ничего не напутал.

Неистовые удары сотрясали окованную железом дверь, и хотя здесь бессилен был даже таран, казалось, вот-вот дверь сорвется с петель.

— Аббат Дуседам! — вскричал я. — Что случилось?

Ответ последовал столь ужасающий, что мы все бросились опрометью бежать прочь по коридору.

Сперва раздался тигриный рык, затем страшный голос начал изрыгать проклятия и богохульства, и зазвенело стекло, разбитое в зарешеченном окне.

Я призвал в помощь священное имя Господне, а также имя моего покровителя святого Роберта, и снова вернулся к двери.

— Дуседам! — кричал я. — Во имя Господа нашего Иисуса Христа, я приказываю вам образумиться!

В ночи разнесся дьявольский хохот, сопровождаемый яростным скрежетом когтей по толстому дверному дереву.

В монастыре начался переполох, открывались кельи, испуганные голоса спрашивали, что случилось.

Настойчивый звон колокола у главного входа внезапно возвестил о чьем-то приходе, послышался голос брата привратника, ведущего переговоры через окошечко с ночным посетителем.

Вскоре брат привратник появился с фонарем в руке.

— Отец настоятель, — запинаясь, молвил он, — там дочь кирпичника, Бетс, вы ее знаете.

Она умоляет впустить ее... уверяет, что из окна западной башни пытается вырваться дьявол, весь объятый пламенем.

Я быстро распорядился:

— Что бы ни случилось, охраняйте дверь! Стойте твердо, воздев распятия, читайте молитвы, изгоняющие дьявола! А вам, брат привратник, позволяю впустить эту девушку — сейчас я к ней выйду.

Она ждала меня в комнате, где я перед тем молился: пот струился по ее мертвенно бледному лицу, хотя на дворе завывал ледяной ветер.

— Отец мой, я знаю, это...

Вдруг она замолчала и расширенными от испуга глазами уставилась на шкаф.

Неменьший ужас охватил и меня: из шкафа раздавались мощные удары.

Я колебался, открывать ли шкаф, когда внезапно задвижка отлетела, и завернутый в ткань сверток покатился на середину комнаты.

Вернее сказать, не покатился — сверток одним прыжком оказался на середине комнаты. врезался в массивный стул, стоявший у стола, и тот разлетелся на части.

Я обратился к святым и грозным словам экзорцизма, ибо этот бесформенный предмет явно жил некоей жуткой жизнью.

На наших глазах материя смялась и лопнула, в дыре обозначились ужасные очертания какого-то существа, старающегося высвободиться из пут.

И тут Бетс бросилась к нему с криком:
— В огонь! В огонь!

В очаге был разведен огонь, и пламя приплясывало на больших буковых поленьях, заготовленных мною с вечера.

А Бетс в это время боролась со странным, кошмарным чудовищем без плоти — отвратительной волчьей шкурой, которая извивалась и корежилась, словно ее сводили ужасающие судороги.

— В огонь! — твердила Бетс, проявляя неожиданную силу.

Первые языки пламени впились в адскую личину, и Бетс тут же навалила на нее все приготовленные рядом с камином сухие дрова.

В тот же миг невообразимый шум объял весь монастырь: чудовищный хор жалоб, рева, нечеловеческой муки, проклятий и мольбы о помощи.

К тому же закричали собравшиеся отовсюду перепуганные монахи.

— Он горит, горит! — вскрикивала Бетс, глубже засовывая волчью шкуру в пылающие поленья и вовсе не чувствуя укусов пламени.

Наконец шкура замерла, как бы опала, и через мгновение превратилась в кучу тошнотворно дымящейся золы.

Оглушительное стенание потрясло монастырь — по коридорам пронесся плач существа, испытывающего нечеловеческие муки.

Бетс смотрела на меня полными слез глазами.

— Я вспомнила своего несчастного жениха. Идем же к тому, кто никогда не станет более волком-оборотнем и чьи часы теперь сочтены.

Не отвечая, я бросился бежать к комнате в башне, откуда донеслась душераздирающая жалоба.

— Открывайте, — приказал я брату Морену, — теперь здесь лишь несчастная страждущая душа.

Весь дрожа, он подчинился.

Из рук брата привратника я выхватил фонарь и направил свет на убогое ложе, где в несказанных мучениях корчился аббат Дуседам.

Страшно было видеть его: местами кожа вздулась волдырями, а все тело являло собой сплошную кровавую рану.

В глазах через неслыханное страдание светилось странное ликование.

— Спасите душу мою, — с трудом произнес он.

Как уже упоминалось, наш брат лекарь — человек весьма расторопный, у него под рукой тотчас же оказались бальзамы и смягчающие компрессы.

— Отец мой, — заговорил вдруг аббат Дуседам неожиданно спокойным и твердым голосом, — Господь не даст мне покинуть этот мир, не позволив сказать то, что должно быть сказано.

И да станет, наконец, день Сретения днем света!

Кисть руки, совершенно обугленная, отвалилась от тела, но аббат Дуседам опочил с улыбкой благодати на почернелых устах.

глава десятая

АББАТ ДУСЕДАМ РАССКАЗЫВАЕТ...

Из веры людей родились боги.

ВОЛЬТЕР

Достаточно было женщине или поэту по-
мечтать, как на свет появлялся бог.

СТЕРН

Когда его шалаш уже твердо стоял на
земле, когда он уже умел охотиться и
ловить рыбу, заострять стрелы и зата-
чивать гарпуны, он срезал ветвь с дере-
ва и сотворил из нее бога.

ЦАБЕЛЬТАУ (Золотые века)

Голова аббата являла собой гротескный белый
шар из корпии и повязок, где темными пятнами вы-
делялись глаза и рот. Глаза блестели, но были глу-
боки, как море, — я видел такую глубину у тех,
кому предстояло волнующее прощание с жизнью.

Говорил он без особого труда, пребывая в ясном состоянии духа; утверждал, что почти не страдает и видит в этом доказательство бесконечного милосердия Господня.

— Отче, — начал он, как только я занял место у изголовья, — я потомок нарушившего обет святотатца. Вы понимаете теперь, в чем причина сегодняшней ночной драмы?

— Брат мой, — ответил я, весьма смущенный этой новой проблемой, о коей так мало может нам поведать церковная премудрость, — боюсь, вы впадаете в суеверие.

— ... а таковое есть не что иное, как внебрачное дитя любой религии мира, — подхватил Дуседам с легкой иронией. — Я готов привести весьма авторитетные источники, признающие, что дети проклятых священников до шестого колена в ночь на Сретение принимают обличье чудовищного волка. Некоторые утверждают, что сие проклятие теряет силу раньше, но я не могу тратить оставшиеся мне часы на теоретические прения по этому вопросу.

Мой дед Дуседам был рукоположен в духовный сан, но оказался недостойным служителем Господа — да смилостивится Небо над ним и над мной. Это ужасное откровение пришло ко мне уже в зрелые годы, в далеких краях, где я старался спасти несчастные души язычников во славу Искупителя. Единственным из людей, кто знал об этом темном пятне в моем семейном прошлом и о

невероятной, фантастической беде, грозившей мне самому, был капитан Николас Грандсир; и он сделал все возможное, чтобы помочь и спасти меня.

Да, называя меня славным Тату, он напоминал о ежегодной грозной опасности и по доброте душевной полагал, что тем предостерегает меня от сатанинских козней.

Это он заставил меня покинуть землю антиподов в надежде, что демон не станет преследовать меня за пределами тех далеких широт.

Он отчасти доверил мне заботу о своих оставленных на родине детях, полагая, что общение с чистыми юными душами поможет и моей душе сбросить груз сатанинского проклятия.

Увы, слишком скоро пришлось мне осознать: не так-то легко избежать Колеса Судьбы, особенно когда вращает его Искуситель для забавы своей и выгоды.

Весьма быстро меня разыскал Кассав и, зная мою тайну, заполучил меня в полное свое распоряжение, а его кузен Филарет, гнусный натуралист, в первую же встречу намекнул, что прибег для меня *роскошную волчью шкуру*.

Я намеревался не прерывать последние откровения аббата, однако не удержался от вопроса:

— Кто же был или есть сей загадочный Кассав?

— Отец Эвгерий, я сейчас перейду к этому страшному персонажу, а пока что уделю несколько минут для самооправдания. Первородный грех предпо-

ределил наказание детей за грехи отцов, но и позволил надеяться на искупление греха.

Конечно, Господь допускает исключения из грозного закона возмездия за святотатство и все-таки позволяет время от времени появление волков-оборотней среди людей. И я не могу не восславить мудрость Его.

Больше я не стану говорить о себе и своих прегрешениях до самого последнего причастия, когда испрошу у вас искупления.

Теперь же надобно хоть немного посодействовать выполнению тяжелой задачи, поставленной передо мной, — сорвать личину Мальпертюи.

Увы, отче! Трижды увы! — бесплодны оказались все мои усилия и более чем скудны результаты, о коих могу вам поведать. Боюсь, услышав все, что я готов рассказать, вы почувствуете себя в еще более глубоких потемках.

Кто есть, кто был Кассав? Квентин Моретус Кассав?

— Не вздрагивайте, отче, не думайте, что болезнь говорит моими устами: впервые я вышел на его след в анналах странной секты иллюминатов — общества розенкрейцеров, зародившегося около 1630 года в Германии, чьи тайны так и не удалось никогда раскрыть.

Но ведь тогда, возразите вы, этот загадочный и злополучный человек прожил более двухсот лет?

Так вот, вы, без сомнения, осведомлены — ученые и исследователи с тревогой и отвращением констатировали: розенкрейцеры открыли эликсир долголетия.

Разве некоторые из них, например Розенкранц, не превзошли на несколько lustров столетний рубеж? А еще более настораживает следующее: их исчезновение достоверно зафиксировано, но нет не единого свидетельства их смерти!

Квентин Моретус Кассав обладал колоссальными познаниями, будучи доктором оккультных и алхимических наук; я обнаружил трактат по демонологии и некромантии вкупе с кратким и ужасающим в своей ясности исследованием каббалы, целиком написанный им, — настолько чудовищными показались мне эти откровения, что я без сожаления предал их огню.

Он также был замечательным эллинистом, и одно время я считал возможным, что, очистив дух свой, он сможет предаться любимому поиску вечной красоты, этого нетленного сокровища античной Греции.

О, как мне предстояло разочароваться! Какие чудовищные помыслы таились за золотым светоносным покровом!

Кассав сформулировал закон, выводы из коего должны были послужить его страшным целям: люди сотворили богов — или, по крайней мере, способствовали совершенствованию и могуществу богов. Люди пали ниц перед безмерным творени-

ем собственных рук своих и разума, склонились перед волей богов, подчинились их желаниям и приказаниям; но в то же время обрекли их на смерть.

Боги гибнут... Где-то в безднах пространства плывут огромные мертвые тела... Где-то в пространстве медленно, в течение веков и тысячелетий замирают агонии...

Кассав мало путешествовал, но дух его странствовал, не признавая границ, и Кассав довольствовался этим.

Похоже, время мало что для него значило, если принять во внимание то, что было сказано о его фантастическом долголетии.

В один прекрасный день он отдал приказ.

Снаряженный по его повелению корабль отправился в Аттическое море.

На борту оказался и мой дед Дуседам, человек извращенный, но знающий; командовал кораблем капитан Ансельм, отец Николаса Грандсира.

Полученные инструкции отличались весьма странным характером:

Во что бы то ни стало требовалось разыскать умирающих богов античной Греции!

Я не случайно сказал — *умирающих*, ведь никто из языческих богов не мертв, в них еще тлеет искра жизни.

Постарайтесь же выслушать без содрогания одну из посылок того, что я называю законом Кассавы.

Не люди рождены по прихоти или по воле богов, напротив, боги обязаны своим существованием человеческой вере. Умри вера, погибнут и боги. Но вера не гаснет, как обычная свеча, она вновь возгорается, обжигает, распространяется и агонизирует. Этой верой и живут боги, в ней черпают силу и могущество, если не самую форму своего существования. Так вот, боги Аттики не исчезли еще из сердец и душ человеческих: легенды, книги, искусство поддерживают тлеющие уголья, на протяжении веков подернутые лишь слоем пепла.

— Не ищите омерзительных мертвецов, — повелел Кассав, — но подберите раненых. Мне они пригодятся!

Вы читали мемуары несчастного Жан-Жака. Что вы об этом думаете?

Я воздел дрожащие руки горе.

— Боже мой, верить ли, что они нашли?..

— Верьте! — с силой отозвался аббат Дуседам, — но только...

Тут речь его была прервана обмороком; едва очнувшись, аббат вновь потерял сознание — такой затяжной приступ слабости вызывал серьезные опасения.

Брат лекарь испросил у меня дозволения применить энергическое средство, которое способно было привести больного в чувство, правда, тем самым сокращало его жизнь на несколько часов.

После вполне понятных колебаний я взял на себя ответственность.

Аббат Дуседам очнулся и почти сразу продлил свою повесть.

Однако первоначальная ясность и точность уже не восстановились, так что продолжение его рассказа явило собой чередуемый длинными паузами затрудненный монолог, нить которого не раз прерывалась.

Верно, большую часть его речей можно отнести на счет лихорадки, а потому последующие записи я лично расцениваю только как документальное свидетельство.

— ... они парили в воздухе; иные, уже мертвые, реяли облачными клочьями. Дед мой Дуседам выразился образно и весьма кощунственно по отношению к божествам, пусть и языческим; божественная мертвечина, по его словам, распадалась и рассеивалась по всей розе ветров.

Кое в ком едва пульсировала жизнь; согласно Кассаву, эту жизнь поддерживали в них темные верования, укоренившиеся в опустелых человеческих сердцах.

В некоторых жизненная сила едва тлела, и божества деградировали в личинку, зародыш; а кое-кому, хоть и в жалком состоянии, но удалось избежать распада.

Из-за того, что в душе человека страх более живуч, чем вера, силы темные выжили в большем числе.

За тщедушной порослью кустов съежилась богиня, нагая, боязливая — последняя Горгона,

вопреки всем превратностям сохранившая могущество и трагически величавую красоту... На прибрежной гальке пугливые дочери Тартара пытались поддержать костер из сухих водорослей...

— Ха-ха! Представляете? Вулкан приволакивает ногу, Фурии заламывают руки с давно нестриженными ногтями, иссохшая Юнона собирает чахлые ростки себе на прокорм, а единственный из Титанов, избегнувший Юпитерова гнева, — всего лишь покорный Вулкану немощный калека...

Их ярость и отчаяние оказались бессильны перед магическим оружием людей нового времени, явившихся их поработить.

Кассав, великий мэтр тайных наук, снабдил Дуседама некоторыми грозными формулами-заклинаниями, способными сотрясти звезды на своде небесном. И Дуседам без малейшего колебания воспользовался ими.

Да, этот мошенник наложил руку даже на последние вспышки божественной жизни. Не спрашивайте, что он сделал... Его гусиное перо не осмелилось доверить бумаге подобные откровения.

Наступила долгая пауза, затем умирающий более часа находился в явном горячечном бреде. Даже когда он успокоился, мне с трудом удалось проследить за его лихорадочной и отрывистой речью.

— Их насильно увезли с тысячелетней родины... Засаживали пленниками в тошнотворный корабельный трюм... Как, в каком обличье — кто теперь скажет?..

Обо всем этом Дуседам умолчал. Розенкрейцеры, и в особенности ужасный господин Кассав, владели множеством поистине нечеловеческих тайн!

Кассав принял пленников, как принимают обыкновенный доставленный товар... ха-ха!

Боги, или то, что от них оставалось, были проданы, точно мясные туши, за ливры и экю... ха-ха!

И сдается мне, Кассав еще считал себя в накладе!

Ведь все лучшее кануло в небытие и ему пришлось удовольствоваться разлагающимися останками! Ха! Кое-кого я уже упоминал: Вулкан, ближе к Аттике Гефест — небесный уродец, к тому же связался с некоей дешевенькой богинькой сомнительного происхождения. Эвмениды состарились в злобствующем бессилии. Жалкая развалина — бывший Титан; за неимением Циклопов Вулкан взял его в подчинение. Юный олимпийский паж на ролях второстепенного любовника — сам Кассав не осмелился угадать в нем лучезарного Аполлона.

Возможно и другое... возможно...

Ха-ха! Кассав, этот мошенник, диктующий свою волю богам... Он осознал-таки свое бессилие,

когда после злонамеренного похищения захотел дать им телесное воплощение и жизнь!

Тщетно искал он решения в самых грозных гримуарах; пришлось искать помощи у родственника — существа, воплотившего самое гнусное скудоумие. То ли в насмешку, то ли с какой-то темной и загадочной целью Кассав сделал своего кузена если не доверенным лицом, то во всяком случае наследником, разумеется, бесконечно малой части своего inferнального знания. Безмозглый прислужник Кассава всецело отдавался одной странной и болезненной страсти — таксидермии! Славный Филарет! Он-то и изготовил для богов оболочки — человеческие личины. Он засунул богов античной Фессалии в этикие мешки, где они едва ли сделались людьми!

Слушайте... одна из них... была красива, даже столетия пощадили ее — последнюю Горгону. Двум тупоумным служителям, своим родственникам, Кассав доверил ее в качестве родной дочери... Диделоо, глупому экспедитору в мэрии, и его жене, бывшей шлюхе из портового квартала. Ха-ха! Это последнюю-то Горгону, и посейчас прекрасную и даже могущественную Эуриалию!

Ближе к вечеру аббат Дуседам успокоился, и наш добрый брат лекарь дал ему целебный отвар, в полной уверенности, что с его помощью больной без страданий отойдет в мир иной.

Я отправился немного отдохнуть, но едва пробило десять часов, брат Морен, дежуривший у постели умирающего, в великой спешке явился ко мне с известием, что аббат проснулся и, кажется, пребывает в совершенно ясном состоянии духа.

— Отец Эвгерий, — обратился ко мне аббат, — пришел мой час. Видно, я не все успел вам рассказать. Мои мгновения сочтены, не утешайте, я чувствую это.

Кто есть, кто был Квентин Моретус Кассав? Я и сам задаюсь этим вопросом.

Был ли он демонической инкарнацией? Не думаю, хотя, пожалуй, в его счетах с Лукавым фигурировал в качестве феода проклятый дом — Мальпертюи, где он предавался своим ужасным опытам. С какой целью он заключил после смерти в сем доме известные вам креатуры?

Не знаю. Однако посмею высказать рискованную догадку: он доверил завершить эксперимент самой судьбе.

Теперь мне представляется, что обитатели Мальпертюи подчинялись непредсказуемым силам своей божественной и человеческой сущности. Какая сущность в них главенствовала? Можно ли знать наверняка? Под навязанными гротескными личинами они испытывали тяжкий гнет. Озаряло ли их просветление? В этом я смею быть уверенным; однако, по-моему, и в эти часы пробуждения они не умели воспользоваться своей божественной властью. Даже и тогда оставались они

жалкими созданиями. А в долгие периоды забвения и вовсе не вспоминали, что они боги. Странное человеческое и даже растительное существование, лишь временами неясное беспокойство, смутное ощущение своего истинного естества...

Тут я вновь прервал Дуседама...

— Вы говорили и о других божествах, не называя имен.

Казалось, Дуседам ожидал моего вопроса и хотел ответить, однако новый обморочный приступ прервал его повествование.

Придя же в себя, он продолжил:

— Торговля красками... символично... свет и цвет... Лампернисс... о да! Вспомните последнее слово в его жизни!

— Я помню: *Обещайте!*

— И еще он добавил: *Не то!..* Ах, я вижу Лампернисса, рыдающего, когда его лишали света ламп; вижу его, цепями прикованного к почернелому от крови полу, вижу терзающего его орла — Прометей!

Я вскрикнул от ужаса.

— Они захватили Прометея в бессрочной агонии и увезли, дабы сотворить Лампернисса! — шептал аббат. — Какая насмешка! Прометею Кассав выделил лавку с красками и ламповым маслом!.. Прометей находился в Мальпертюи на особом положении, возможно, по причине вечной пытки, уготованной ему самим роком... Лампернисс, вероятно, единственный из пленников

дьявольского Кассава, кто всегда хоть отчасти сознавал свою божественную сущность... Он один всегда помнил!.. Все остальные подолгу пребывали в оцепенении и забытии. Сам Прометеев орел, орел возмездия, забывал надолго. Потому жалкому Ламперниссу и удавалось вести с ним смехотворную борьбу светом и цветом — сражение, а трагический исход его был изначально запечатлен на неумолимом Колесе Судьбы...

Аббат на мгновение умолк.

— Орел... — продолжил он, — порой мне казалось, что он следует за Эуриалией, как бы служит ей. Кто знает? О, сколь многое мне казалось! Я не всегда понимал, увы... Но кто упрекнет меня за это? В конце концов, разве так важно понимать. Меня отягощала двойная миссия — защитить Жан-Жака и Нэнси и, что гораздо страшнее, — искупить безмерную вину человека одной со мной крови.

Сильнейшая судорога вдруг свела тело аббата Дуседама, и глаза его раскрылись неправдоподобно широко.

— Маленькие твари с чердака... знаете, такие мелкие божества, пенаты — весьма многочисленные, порой добрые, порой злые... На корабле у капитана Ансельма вполне хватало места...

Айзенготт... дамы Кормелон... Ага, про них вы, верно, уже догадались... А я, что ж, я визнавал все больше и больше... И в конце концов заставил насторожиться приспешников Кассава —

Филарета и Самбюка, которым он отказал несколько крох от своего огромного мрачного знания... Я проник в Мальперттуи тайно, даже без ведома несчастного Жан-Жака Грандсира... Филарета и Самбюка снедала тревога, когда они чуяли запах моего табака... Их пугало, что в конце концов я открою Великую Тайну и обрету оружие, дабы спасти Жан-Жака и отомстить им... Отмщение... — другие силы взялись за это... Я не до конца выполнил свою задачу... В своей безграничной мудрости Господь решил, дабы предназначенное свершилось, да славится Имя Его!.. Но отчасти мне было дано познать истину... Грибуан, изрыгающий огонь, — несомненно Вулкан; кто его супруга?.. Можно ль поверить, что дочь моря опустилась до старухи Грибуан?.. Чиик — не Титан ли этот гротескный выродок, избежавший гнева Юпитера только затем, чтоб стать грузом Ансельма Грандсира?.. Вспомните, как говорил о нем Лампернисс... Кто такой Матиас Кроок? Помните, сам Кассав не решил этой загадки, сомневаюсь, можно ль признать в нем Аполлона... Мамаша Груль? А почему бы не сама Юнона в последней стадии распада?.. Диделоо! Его жена! Филарет! Самбюк! Я говорил вам — эти были людьми, слугами Кассава, в некотором роде исполнителями его последней воли... А Элоди?.. Кто сможет определить роль этой скромной, благочестивой и набожной женщины в эпицентре inferнальных бурь?.. Итак, остается лишь... Она...

Аббат Дуседам приподнялся на ложе и страстным жестом воздел свои искалеченные руки.

— Он привез ее могущественной, во всей устрашающей красе! Господи, защити детей твоих от нее!

Я осторожно заставил его лечь.

— Вы говорите об Эуриалии? — спросил я, весь дрожа.

Но буйный аббат Дуседам уже не мог ответить — свет в его глазах угасал.

— Довольно! — вскричал я. — Какое мне дело до всех этих тайн, до ваших тщетных усилий их разгадать! Подумайте о душе вашей!

Я соборовал его святым елеем и произнес слова отпущения, коими врата небесные открываются для тех, кто идет к Нему, веруя в Его справедливость и доброту.

Когда я поднялся с колен, прочитав последние молитвы, аббат Дуседам уже не принадлежал миру сему.

глава одиннадцатая

МАРТОВСКИЕ ИДЫ

Любой закон на свете вызывает к Эвменидам.

ПТИ-СЕНТ (Портфель)

... сколько богов перешло на сторону дьявола!

УИКСТЕД (Гримуар)

Голос! О, этот голос, звучащий громче тысячи труб!

ЭДГАР ПО (Колодец и маятник)

Брат Морен, понемногу браконьерствовавший в молодости, да боюсь, и теперь еще ставящий порой силок, а то и два, сообщил мне, что зимовавшие в хвойнике дрозды растревожились, а у сына прорезался какой-то странный голос.

На болотах раздавались сильные крики камышовок, их неровный полет то и дело рассекал тростниковые заросли; в закатные часы рябь бороздила водную гладь от побегки кроншнепов, а в воздухе раздавались их стенания; в наступившей

ночи возносились первые жалобы серых журавлей.

Озабоченный брат Морен заметил, что к тому же и козодой, посвященный в тайну сумерек, вернулся в наши края на три недели раньше обычного.

— Дурное предзнаменование, — твердил брат Морен.

Пришлось пригрозить ему покаянным обетом за суеверия.

Но вправе ли я осуждать его?

Сам воздух, коим мы дышали, был словно насыщен вредоносными флюидами смутного страха и тревоги. Добрые отцы монахи постоянно чего-то опасались, их беспокойство сквозило даже в отпущении богослужений.

Да я и сам пребывал в озабоченности, ибо самочувствие Жан-Жака Грандсира не менялось к лучшему.

Казалось, разум юноши помрачился под бременем столь тяжких испытаний, выпавших на его долю; память не возвращалась к нему. Стоило ли сожалеть об этом? Едва ли.

Он узнавал Бетс — я по-прежнему нарушал святой устав нашего монастыря, разрешая ей длительные посещения больного; радовался он и мне — я частенько сиживал у изголовья несчастного, хотя он называл меня то дорогим аббатом Дуседамом, то бедным Ламперниссом.

Однажды в середине марта, в один прекрасный, почти весенний денек, звеневший первыми шумными диалогами синекрылых чирков, к Жан-Жаку отчасти вернулась ясность ума.

Никакого страха он не выказал и вообще не упомянул о роковом доме, оказавшем такое влияние на судьбу его.

— Если доведется когда-нибудь встретиться с доктором Мандриком, разузнаю у него о моей сестре Нэнси, — ведь я видел тогда ее плачущие глаза, — признался он мне однажды.

Я постарался разуверить его — это-де был всего лишь дурной сон, но в ответ он печально покачал головой.

— Мандрикс — он ведь Айзенготт... нет, он не подлец.

Юноша положил свою исхудалую руку на мою:

— Я жду его... Мне кажется, он придет завтра...

Немного погодя он попросил принести книги: разглядывать старые волумы из нашей библиотеки, великолепно иллюстрированные талантливыми братьями монахами, сделалось у него любимым занятием.

К вечеру этого весеннего дня погода резко изменилась, разыгралась буря, тяжелые тучи изрыгали дождь и град.

Двое послушников, вернувшись из деревни, донесли, что ближняя речка и соседние ручьи

угрожают разливом, и я решил послать братьев для наблюдения за уровнем воды.

Сам я тоже отказался от ночного отдыха и укрылся в библиотеке: окна здесь как раз выходили на пруд, и мне сразу удалось бы заметить прибывание воды, случись это бедствие и в самом деле.

Библиотека представляла собой длинную залу, по стенам сплошь уставленную книгами, — в сем мирном уголке весьма приятно проводить время при ярком свете дня; скудное же освещение с наступлением темноты превращало библиотеку в довольно мрачное помещение.

Начиная свое бдение, я с трудом противился сну: умиротворяющие слова вполголоса произносимой молитвы, словно свинцом, отягощали веки; дабы продлить часы бодрствования, обратился к одной из любимых книг своих — «Пальма небесная, или Беседы души с Господом нашим Иисусом Христом» была превосходно издана; в этой книге я особенно чтит удивительную всеобщую молитву.

— «Господь Бог мой, даруй мне осторожность в делах, отвагу в опасностях, терпение в испытаниях, смирение в удачах. Да не премину быть усердным в молениях, твердым в исполнении долга и уверенным в замыслах моих. Вразуми меня, Господи...» — с радостью возносил я молитву, трижды повторив: — «Вразуми меня, Господи!»

Призыв этот, казалось мне, весьма соответствовал моменту; и вдруг словно эхо откликнулось на мой голос.

Кто-то повторил:

— Вразуми меня...

Но подменил имя Всевышнего, призываемое мной, чуждым именем.

Голос в тишине молил:

— Вразуми меня, Мойра!

Испуганный и возмущенный, я обернулся: не раз уже приходилось, к искреннему прискорбию моему, искоренять еретические наклонности даже у весьма благочестивых людей.

Поначалу мне показалось, что кто-то из братьев в прилежных познаниях прокрался в библиотеку вслед за мной с тем же намерением — прогнать сон и бодрствовать ввиду надвигавшейся опасности.

— Кто здесь? — спросил я, ибо ничего не видел в темноте, сгустившейся вокруг моей лампы. — И что вы сказали?

Голос повторил бесконечно печально, так что сердце мое сжалось:

— Мойра, вразуми меня!

— Что сие означает?... — вскричал я, уже всерьез встревоженный.

Я отодвинулся назад вместе с моим стулом, направив свет лампы на ближние полки, заставленные псалтирями.

Возле полок с книгами виднелся высокий недвижимый силуэт.

Луч света сначала озарил сложенные руки — крупные, прекрасной формы, и длинную серебристую бороду. Затем осветилось благородное и печальное лицо.

— Кто вы? Вы не здешний... Как вы проникли сюда, с какой целью? — на одном дыхании проговорил я.

— Я ждал; что ж до моего имени, можете звать меня Айзенготт.

— Боже мой! — только и произнес я в растерянности.

И осенил себя крестным знамением. Ночной гость вздрогнул.

— Ничего, — сказал он тихо, — ваше знамение не страшно мне, я людям не желаю зла.

— Да будет так, — несколько успокоенный, я неожиданно испытал к незнакомцу доверие, — помолимся вместе!

Он вновь содрогнулся, но тихим шагом подошел ближе, и я смог разглядеть его лучше.

Навечно останется загадкой, почему при этом все мое существо захлестнула волна безмерной скорби.

— Несчастный, — воскликнул я, — неужели вам отказано в божественном утешении молитвой, доверьтесь мне: кто вы? Могу ли я вам помочь?

Он пристально смотрел на меня, и глаза его мерцали, подобно звездам.

— Да избавит вас Тот, Кого вы призываете, от этого знания, ибо вы навсегда лишитесь покоя!

В этот миг яростный шквал обрушился на монастырские стены: неистово скрежетали обезумевшие флюгеры, ставни сорвались с крючков, злобно били в окна, ревели дождевые потоки. В ту же секунду небо озарила гигантская вспышка молнии; за окнами бушевала сплошная водная стихия — торжествовали взбунтовавшиеся первоэлементы.

Незнакомец воздел к небу мощные длани в грозном жесте приказания или заклятия.

— Вот она, буря... — возгласил он. — На ее чудовищных крыльях мчатся силы несказанного ужаса. Они близятся, еще мгновение, и они будут здесь! Служитель Галиенянина и его торжествующего креста, моли своего господина о помощи!

Красивая, крупной лепки рука опустилась мне на плечо, и я почувствовал, сколь тяжка эта длань, будто отлитая из металла.

И ослепительнее, чем бороздящие небо молнии, вспыхнуло откровение.

— Айзенготт! Это он — Зевс! Бог богов!

Я ждал проявления мощи, быть может, устрашающего возврата былого величия и всемогущества.

Но взгляд его выражал лишь безмерную печаль: сердце мое едва не разорвалось, и слезы невольно выступили на глазах.

— Поспешим, — мягко, но твердо сказал он. — Необходимо помочь Жан-Жаку Грандсиру.

В этом голосе звучала не просьба, в нем рокотало приказание — я не противился, хотя тревога и нежелание подчиняться усилились. Я молча последовал за ним по коридорам, где метались разбуженные монахи, бормоча спасительные молитвы или испуганные причитания.

Здание монастыря содрогалось в самом своем основании, в потоках огня небесного вкупе с грозными громовыми раскатами слились твердь небесная и твердь земная; сорвало одно окно, и в зияющую брешь хлынула черная волна.

Дважды неистовые порывы ветра валили меня с ног, пока мы добрались до комнаты больного.

Юноша приподнялся на своем ложе, взгляд его, исполненный ужаса, был устремлен в бушующее небо.

Айзенготт бросился к нему:

— Не смотрите! Опустите глаза!

Жан-Жак, казалось, не слышал.

Айзенготт схватил с кровати покрывало и набросил больному на голову.

— Сделайте же что-нибудь, нельзя смотреть... пусть он не видит!.. — взмолился старец.

В коридоре слышались паническая беготня и голос перепуганного брата Морена:

— Дьяволы! Дьяволы!

Железная длань Айзенготта снова тяжело легла на мое плечо.

— По моему приказу опустите глаза, не смотрите на небо, иначе лишитесь зрения. Пока

же смотрите, и, возможно, вам будет дано понять.

Его речь была столь мощной и величавой, что я, отринув робкое нежелание повиноваться, обратил взор в небо, куда указывала повелевающая десница Айзенготта.

А там вели битву молнии, и в поднебесье пламенел свет ярче дневного, подобный раскаленному зареву жаровни.

— Смотрите! — повелел Айзенготт.

И я увидел.

Три устрашающих силуэта, три кошмарных видения, коим нет имени в языке человеческого, порождение сокровенного адского лона, рассекая пространство, неслись на крыльях, огромных, словно парусная оснастка корабля. Дважды удалось различить их лица, и дважды у меня вырвался вопль ужаса. Эти искаженные бешенством мертво-белые личины были сведены корчей демонической ярости — а вокруг них кошмарным ореолом извивались бесноватые змеи.

Айзенготт пронзительно рассмеялся.

— Узнаете ли вы их, отец Эвгерий? Эвмениды! И этих чудовищ привез Ансельм Грандсир великому Кассаву! Эвмениды! Тисифона, Мегера... Алекто¹. Дамы Кормелон, если вас так боль-

¹ Впервые здесь дается истинное имя Эвмениды: Алекто. В мемуарах Ж. Ж. Грандсира упоминается только имя Алекта — смягченное и более женственное. (Примечание автора.)

ше устраивает! Они жаждут завладеть Жан-Жаком...

В когтях крылатых монстров появились гигантские пылающие факелы. Чудовища уже мчались в опасной близости, так что слышно было яростное шипение змей.

Вдруг Айзенготт отпрянул назад.

— Предстоит борьба! — услышал я его шепот.

Из глубин неба родились очертания существа, чей неспешный полет устрасал еще более, нежели невероятная стремительность трех названных инферналий.

Видение было словно соткано из молочно-белых вспышек — в нем вдруг явился лик. Но какой?.. Подобной устрашающей красоты не скрывала более тайна мироздания.

Бесшумно и величественно видение парило над беснующимися дочерьми Тартара.

Поначалу те как бы замедлили свой полет, но мгновение — и они в едином порыве ринулись навстречу. В этот момент перед ними раскрылся лик бледного огня.

— Не смотреть! — прогремел Айзенготт.

И своей белоснежной рукой резко закрыл мне глаза.

Раздался тройной вопль, безумный крик боли... оглушительный грохот неслыханного человеческого ухом падения.

— Все кончено! — услышал я шепот рядом.

Я открыл глаза: небо опустело, лишь на севере к горизонту стремглав падала большая звезда.

И вдруг откуда-то, словно издалека, донеслось слабое рыдание:

— Эуриалия!

Айзенготт отчаянно вскрикнул.

— Проклятие!.. Он видел!

Я повернулся к больному.

На ложе никого не было: Жан-Жак стоял посреди комнаты — лицо, словно высеченное из холодного мрамора, было поднято к тихому небесному своду.

Я бросился к нему, но тут же в страхе отдернул руки — я коснулся мраморной статуи, безжизненной и бездушной.

Ледяными каплями пали в молчание слова Айзенготта:

— Так умирают те, кто поднял взгляд на Горгону!

Вокруг меня все завертелось, и обезумев, вырываясь от удерживающих меня, я бросился бежать по коридорам с надрывным воплем:

— Горгона! Горгона! Не смотрите на нее!

глава двенадцатая

АЙЗЕНГОТТ РАССКАЗЫВАЕТ...

Исполненный сострадания, Иегова сказал Юпитеру:

— Я посылаю тебе не смерть, но успокоение.

— Но почему же ты не уничтожишь меня?

— Я не сделаю этого — ибо разве ты не старший брат мой?

Готорн

Боги подчинялись закону Судьбы, которому они не имели сил противиться...

Мифология

Я, — а читатель мрачной истории Мальпертью не удостоит меня иного имени, нежели «вор из библиотеки Белых Отцов», и я смиренно принимаю это ругательное наименование, — я приближаюсь к завершению моего рассказа.

Лишь отдельные блики света — увы, слишком редкие, — удалось нанести неуверенной, трепещущей кистью на темные стены Мальпертюи и еще более темные судьбы его обитателей.

Передо мною лежит целая стопа пожелтелых листов, вовсе не использованных в повествовании, — продолжение рукописи Дома Миссерона.

В этих страницах слишком мало достойного упоминания, к тому же они почти не связаны с Жан-Жаком Грандсиром и Мальпертюи.

Читателю будет довольно и того, что я вкратце сообщу: святой настоятель серьезно заболел вскоре после описанных в предыдущей главе событий, рассудок его отчасти помрачился, и более месяца пребывал он в своего рода прострации, заполненной жуткими сновидениями. Через некоторое время, благодаря неусыпным заботам преданных монастырских братьев, сознание вроде бы вернулось к нему, и настоятель возобновил редактирование своей рукописи (лежащей сейчас передо мной): по-видимому, рукопись сия стала в некотором роде коньком, а проще говоря, манией почтенного аббата, ибо тут в странном беспорядке трактуются самые несочетаемые предметы.

Практически вовсе никакого интереса не представляет воспроизведение бессвязных фрагментов о «братьях, прозванных Барбускина-

ми», — опус заметно отдает умственным переутомлением, чтобы не сказать больше.

Дом Миссерон называет Барбускинов *грозными призрачными мстителями на службе у Господа нашего Иисуса, кои сражаются с инфернальными духами, плененными на земле ужасным доктором магии, каковым являлся Квентин Моретус Кассав, в его проклятом жилище Мальпертюи.*

К этому опусу следует относиться с тем большей осторожностью, что сюда вкраплены абсолютно вымышленные агиографические жития святого Аншера и славного основателя Шартрё святого Бруно, а также абсурдные страницы естественной истории, где речь идет о миграции вовсе несуществующих птиц, о таинственных цветах, произрастающих под лунным светом и приманивающих вампиров и волков-оборотней.

Однако среди всякого рода дребедени стоит выделить следующие тревожные строки.

Айзенготт сказал мне:

— Никогда не был я пленником Кассава и его сикофантов. В ужасное изгнание я последовал добровольно за своими несчастными собратьями.

— Так значит, — спросил я, содрогаясь, — вам все еще дарована власть, о грозное божество?

— Возможно... лишь та власть, что из сострадания дарует мне всемогущий Бог, коему служите вы, Дом Миссерон!

— Что же тогда помешало вам спасти Жан-Жака?

— Неумолимый закон Судьбы — он превыше желаний и надежд человеческих, превыше воли богов и даже моей. Записанное на Колесе Сущего должно сбыться...

— И вы не смогли...

— Да, не смог!.. Я совершил все возможное для Жан-Жака... Его трагическая судьба была предначертана — две богини, плененные формулами Кассавы, полюбили его: Эуриалия, последняя Горгона, и Алектэ, третья Эвменида!.. Две эти страсти породили роковую драму ревности, какие знал Олимп в героические времена... Когда впервые, в рождественскую ночь, Эуриалия подняла на Жан-Жака свой ужасающий взор, дабы, обратив юношу в камень, навеки завладеть им, в глазах у нее стояли слезы... Огонь ее взора смягчился, и зловещие чары не действовали в полную силу... Поэтому мне и удалось тогда излечить Жан-Жака... Развязку драмы вы наблюдали сами и видели схватку Горгоны с Эвменидами!..

— Значит, несчастный Жан-Жак пал жертвой их борьбы?

— Он не повиновался!.. Эуриалия той ночью устремилась защитить его от Эвменид... Он, и только он сам виноват в случившемся: посметь взглянуть на Горгону!.. А ведь Эуриалия страстно любила его и оберегала до конца... Вспомните, какой жребий уготовила она Филарету, когда этот под-

ручный Кассава вознамерился поднять руку на Жан-Жака... Не будь Эуриалии, Эвмениды давно уже покарали бы его за преступления...

— Преступления?

— Да, преступления. Вызвать любовь богини, не будучи богом... Помните, что случилось с Диделоо, возомнившим добиться любви у дочери Тартара... Порой боги терпят оскорбления от смертных, вооруженных похищенным могуществом, но час возмездия неизбежен... Вот какую власть нам оставил ваш всемогущий Бог... Диделоо!.. Филарет!.. Сильвия, обыкновенная женщина, навязавшая последней Горгоне свой материнский деспотизм!.. Самбюк!.. Все погибли! Все! Даже Жан-Жак... А ведь он не был простым смертным; отблеск Олимпа озарял его чело!..

Уточнить, где и при каких обстоятельствах состоялся вышеприведенный странный разговор между Айзенготтом и церковником, не представляется возможным. Несколько далее настоятель сообщает следующее.

Несмотря на явное недовольство монастырской братии, я распорядился предать окаменевшее тело несчастного юноши освященной земле, хоть и несколько в стороне от места погребения наших святых монахов. На его могиле растут странные цветы — они рассыпаются прахом от прикосновения, и какие-то растения с отвратительным,

тошнотворным запахом — мне сдается, эти растения похожи на анагир, проклятую вредоносную траву.

Порой я издали видел прекрасную девушку, неподвижно сидевшую у могилы.

Хотелось бы поговорить с ней, только всякий раз, стоило мне направиться в ту сторону, она исчезала, словно легкий туман. И все же мне удалось заметить, что глаза у нее завязаны черной тканью, блестящие, подобно рыжей меди, волосы собраны в довольно странную прическу.

А однажды из-за бересклетового кустарника, посаженного монахами вокруг могилы, вышел юноша со скорбным лицом, на лбу у него кровоточила рана. Я заговорил с ним и спросил, не могу ли чем помочь.

Одним прыжком он скрылся за кустами бересклета, и до меня донесся нежный, бесконечно печальный голос, пропевший на языческий лад исполненные величайшей глубины библейские слова:

— *Я роза Сарона!*

Добрые братья монахи уверяют, будто с недавних пор в нашей болотистой пойме завелись крупные хищные рыбы, пожирающие карпов, угрей и даже щук, на протяжении многих лет разнообразивших наш стол.

Брат Морен убежден, что сии страшные хищники вовсе не рыбы, а змеи, он видел их собственными глазами. Однако полагаться на слова

этого чудесного человека не приходится — у него доброе сердце, но суждения весьма необидительны.

Несколько далее, в нудном рассуждении о знаменитых Барбускинах, Дом Миссерон сообщает:

Этот высокий и крепкий человек с бородой и волосами, лишь слегка тронутыми сединой, появился столь неожиданно — я не заметил, откуда он пришел, — что даже немного испугал меня. До сих пор в ушах моих звучит душераздирающий голос, повествующий... О! Сколь мучительно ни напрягаю я память — не помню, о чем он рассказывал. Но клянусь своим спасением — речь его была ужасна, как исповедь навеки проклятого. Помню лишь несколько слов:

— Мой отец, Ансельм Грандсир, спас богиню от злонамеренных поползновений мерзкого Дуседама¹. Я родился от их недолгой любви на острове мертвых богов и с тех пор жил только одной мыслью — отмстить за поругание и спасти похищенных и увезенных в гнусное рабство богов.

И мои дети, Жан-Жак и Нэнси, были божествами, понимаете ли вы это, слугитель победоносного Бога креста?

А будучи божествами, они на себе испытали все последствия закона Кассава. Но неумолимый розенкрейцер втайне гордился ими... Ведь в их

¹ Здесь явно речь идет о Дуседаме Старшем. (Примечание автора.)

жилах текла и его кровь. А к этому Кассав не был равнодушен. Он провидел любовь Эуриалии и союз грозной богини с моим сыном, его внучатым племянником, представлялся апофеозом самовластному Кассаву. Возможно, он предчувствовал нечто грандиозное в будущем, однако наверняка тайны завтрашнего дня знает только Мойра, и она указывает судьбу самим богам. Мои дети были божествами и потому были любимы богами! Но их, равно как и простых смертных, настигло возмездие; Нэнси, чьи глаза роняли слезы в стеклянной урне, любила бога света... Жан-Жак пробудил любовь двух грозных богинь...

О! Какие бездны разверзлись в душе моей, когда я выслушал это признание! Я видел бесконечные пропасти, где парили гигантские птицы, вдруг неописуемо огромная фигура словно заслонила собой все пространство; незнакомец в этот миг воскликнул:

— Мойра! Ты, пред кем склоняет голову сам бог богов... Судьба! Судьба!

Что было потом — не помню, если вообще эти душераздирающие слова и мои видения имели продолжение или последствия. Возношу хвалу Небу за то, что мне довелось это забыть, ибо и события сии, и слова были нечестивы и смертельно опасны для души, живущей во Господе нашем Иисусе Христе.

Я же, со своей стороны, добавлю лишь следующее: мне захотелось побольше разузнать про Дома Миссерона, невинного отца Эвгерия, которому выпал жребий — страшная привилегия — присутствовать при последнем акте последней драмы Олимпа. Дабы собрать сведения на сей счет, я осмелился вернуться под благовидным предлогом в обитель Белых Отцов.

Плоды моих усилий оказались весьма скудны. Вот все, что мне удалось узнать: к концу своего земного пути отец Эвгерий впал в безумие и был удален из дорогого его сердцу монастыря.

Он сооружал из бумажек и щепочек странные маленькие домики, называл их Мальпертью, а после предавал очистительному пламени аутодафе, себя же почитал исполнителем воли Мойры и богов...

Моя задача выполнена.

Последний листок прочитан и положен на место в такой последовательности, какую я счел наиболее подходящей, дабы помочь рассеять мрак вокруг загадочной и мрачной истории.

Долго в задумчивости я размышлял о том, что всю таинственную драму породила карающая любовь: одна из Эвменид и одна из Горгон в борьбе за сердце бедного двадцатилетнего юноши,

который, сдается мне, и не подозревал, что он сам — дитя богов.

А какая участь постигла оставшихся в живых? Состарились ли они, подобно смертным, и подчинились неумолимому закону могилы, или причастились бессмертия, вернее, долголетия богов?

Я написал, что мое дело сделано. Но так ли это?

Некая таинственная и властная сила владеет мной — велит найти город и дом...

Скоро я отправлюсь в путь.

Однако при одной мысли об этой экспедиции мне становится не по себе, ни одно похождение в моей полной приключений жизни так не страшило меня; в последний раз я перечитал страницы зловещей истории и внес кое-какие завершающие штрихи, сопрягающие все фрагменты в единое целое. И в самом деле, рукопись надобно оставить в полном порядке на случай, если...

Годы покрыли желтизной страницы манускриптов, время, должно быть, наложило свою печать и на камни города.

А боги — что с ними, живы ли они?

Эпиграмма

БОГ ТРЕПЕЩЕТ

О тех богах, которые глухи, хоть и имеют уши...

Ж. ДЕ ЛАФОНТЕН

Вы поведаете мне последнюю тайну
Укебрехта; поможете мне выйти отсель,
избавите от зловония мерзостной геенны!

ГЕРМАН ЭССВЕЙН

Я разыскал этот город!

Прибыл вечером, пользуясь весьма современными средствами передвижения.

Было уже поздно, городские здания дремали в лунном свете.

И однако общая атмосфера была странно знакома: сквозь мелкую изморось едва светились блек-

лые огни, прохожие попадались редко; несколько новых застроек дисгармонировало с древним городским ансамблем, угрюмо преданным прошлому.

В домах закрывались последние двери, а ставни, уже плотно прикрытые, охраняли крепкий провинциальный сон обитателей.

Я все же нашел кабачок с освещенными розовым окнами и приоткрытой входной калиткой; уютно пахло жарким.

Из помещения доносились смех, обрывки песен и притягательный звон посуды.

Поверив в добродушие по ту сторону двери, я вошел.

Развеселая компания пировала вовсю и радужно встретила незнакомца.

В мою честь из кухни вернули некоторые блюда, а меня заставили отпробовать выдержанного вина прославленных сортов.

Время от времени служанка навевалась в угол зала и ставила на маленький подсобный столик то миску с остатками еды, то недопитое вино на дне бутылки — за столиком сидели двое стариков и жадно поглощали скудные подачи.

Мои ночные сотрапезники, изрядно предававшиеся возлияниям, совсем отупели, так что разговор замедлялся и возобновлялся рывками, на-

поминая спуск отвеса с большой высоты; от нечего делать я обратил внимание на парочку старых чревоугодников в углу.

Старик, наверное, был когда-то настоящим исполином, а теперь плечи его ссутулились, спина отвратительно сгорбилась, что же касается женщины, то ее безобразие просто корбило взгляд.

Она только что разостлала на столе неописуемо грязный носовой платок и складывала в него объедки.

— Не делай этого... — брюзжал старик.

Его спутница сердито затрясла головой.

— Лупке-то надо поесть... Ты ведь никогда о нем не позаботишься... Да и о чем ты вообще думаешь, старый негодяй!

— Заткнись! — пригрозил старик.

— Спокойно, красавчик, — ощерилась старая мегера, — хватит уж кого-то из себя корчить!

Я окликнул служанку и спросил, что за курьезную парочку она прикармливает.

Славная девушка сострадательно пожала плечами:

— Это старый бродячий часовщик, перебирается с ярмарки на ярмарку, неплохо смыслит в своем деле — недавно вот починил здесь настенные часы, да и карманные чинит, ежели у

кого надобность; люди и дают им на несколько дней крышу над головой да кусок хлеба.

Тем временем старуха продолжала:

— Хе-хе... Ты небось о той жеманной красотке с черными глазами мечтаешь? Ха! Я выдавила у нее глаза и сунула их в дешевую склянку за шесть су.

— Да заткнись ты! — тоскливо повторил старик.

— Ага! — вдруг завопила злобная фурия. — В давние времена... ага... она бы коровой обернулась! Ио! Помнишь... Ио!

Прозвенела пощечина, резкая и хлесткая, следом раздался яростный крик боли.

Но тут рассвирепела и служанка.

— Нет, подумать только, ежели каждый нищий вздумает тут ссориться и драться! А ну вон отсюда, чтоб вас больше здесь не видели!

Старик покорно поднялся, увлекая за собой трясущуюся от страха спутницу.

Уже с улицы донеслась ее последняя реплика:

— А там еще баранина с репой осталась!

Через три дня я разыскал и Мальпертю.

Мне помогли старые суровые гравюры, о которых упоминал Жан-Жак Грандсир.

Черный и зловещий, высился Мальпертю, закрытые двери и окна так и точили злобу.

Замок оказался несложный и не заставил долго себя упрасивать.

Большой вестибюль, желтая гостиная и другие помещения соответствовали описанию. На своем месте стоял и бог Терм — поначалу без всякого дурного умысла я решил осмотреть его повнимательней.

Тысяча чертей!.. Даже умершие боги не перестают вводить бедных смертных во искушение!

Поистине редкостная вещица — а уж я-то знаю в них толк, — происхождением не уступающая калекке с Милоса.

На мне был просторный хавлок¹, верой и правдой послуживший мне на моем многотрудном жизненном пути. И теперь он как раз сгодился, чтобы уютно завернуть покинутое божество, символ деревенской порядочности великого прошлого.

Неожиданная удача вполне удовлетворила мою любознательность; я уже решил было проявить великодушие и, ограничившись роскошной находкой, оставить Мальпертюи с его тайнами в покое, как вдруг уловил звук осторожных шагов.

¹ Плащ, накидка — назван по имени Хавлока, Хейвлока — англ. генерала (1795—1837), — сражался с мятежными сипаями; или его сына (1830—1900) — погиб на афганской границе.

Карьера потребовала от меня тщательно изучать все оттенки шагов, какие только приходится слышать в тишине уснувшего дома, — подобно тому, как сыщики ломают голову над всеми свойствами пепла из трубки или от сигары.

Шаги человека настороженного, готового к неожиданностям, всегда отличаются от поступи человека, ничего не подозревающего.

Сейчас, однако, я не сумел классифицировать шаги, плавно приближающиеся в сером войлоке сумерек.

Мое ремесло... Ну что ж! Я вынужден упомянуть о нем — так вот, ремесло поневоле заставило меня до некоторой степени сделаться никтополом.

Мне нипочем самая темная ночь; тем более сумерки, царившие в Мальпертюи, отнюдь не лишили меня способности защищаться или спасаться бегством.

И я, ставши тенью среди теней, направил свои стопы к входной двери.

Шаги спускались по лестнице, в них слышалась непринужденность величественной поступи.

Вдруг я застыл на месте в полной растерянности.

Звук шагов доносился слева, однако лестница совсем неожиданно открылась справа от меня.

Но тут же я понял, в чем дело: внушительные массивные перила лестницы отражались в огромном зеркале, вделанном в стену по правую руку от меня.

И в этом зеркале явился ужас.

По перилам скользнул коготь, отсвечивающий сталью, за ним другой, затем раскрылись два гигантских серебристых крыла.

Я увидел существо бесконечно прекрасное, но устрашающее неземной красотой; существо склонилось в мою сторону и застыло.

Внезапно загорелись глаза, зеленые, словно чудовищное фосфоресцирующее пламя.

Нечеловеческая боль пронзила тело, конечности мои оледенели... налились свинцом.

Хотя я все еще передвигался, скользил вдоль стены, глаза мои были прикованы к двум страшным лунам, светящимся в зеркале.

Наконец медленно, очень медленно смертельные чары начали ослабевать, в пылающих глазах угасла завораживающая ярость, и я увидел в них слезы, подобные крупным каплям лунного света.

Я добрался до двери и бежал из этого склепа.

За статую бога Терма мне удалось выручить состояние... да, целое состояние.

Четверти премии хватило, чтобы выкупить пергаменты, инкунабулы и псалтири, похищенные у досточтимых Белых Отцов.

Завтра я отошлю им все их добро и попрошу молиться... не только за меня.

А воспоминание останется со мной до конца.
Воспоминаний меня никто не лишит.

РАССКАЗЫ

Перевод с французского
Евгения Головина

Майенская псалтирь

Обреченные редко заботятся о красоте слога: подводя итог своей жизни, они стремятся говорить сжато и точно.

Умирающий Баллистер лежал в рубке рыболовного судна «Норд-Капер» из Гремсби.

Жизнь уходила пурпурными своими путями и мы напрасно старались их перекрыть. Лихорадки у Баллистера не было, голос звучал ровно. Видели ли он бинты и таз с мутно-красной водой? Вряд ли: отрешенные глаза следили за картинами далекими и зловещими.

Рейнс, радист, записывал его слова.

Этот Рейнс посвящал все свободное время сочинению сказок и эссе для эфемерных литературных журналов и брошюр благотворительных обществ. Если вы когда-нибудь раскрывали серию «Патерностер Роу», вы наверняка натыкались на чепуху Арчибальда Рейнса.

Поэтому не удивляйтесь несколько стилизованной записи монолога смертельно раненного моряка. Это вина Рейнса — литератора никудышного, как вы понимаете. Одно я могу утверждать точно: все факты, изложенные Баллистером, были заслушаны четырьмя членами экипажа «Норд-Капера»: капитаном Бенджаменом Кормоном, его помощником Джоном Коперлендом, механиком Эфраимом Розом — вашим покорным слугой — и вышеупомянутым Арчибальдом Рейнсом.

Баллистер рассказывал:

— Я встретил школьного учителя в таверне «Лихие ребята». Там мы заключили сделку, там я получил инструкции.

Надо сказать, настоящие моряки не часто швартуются в «Лихих ребятах» — больше лодочки и разные бродяги. Обшарпанный фасад этой таверны отражается в воде ливерпульского арьердока, где постоянно торчит парочка баржей или одномачтовых суденышек.

Я внимательно рассматривал отлично вычерченный план маленькой шхуны. Потом сказал:

— Это почти яхта. Скорость, должно быть, приличная. Корма широкая, хорошо: при попутном ветре это обеспечит ловкий маневр.

— Есть еще вспомогательный мотор, — добавил школьный учитель.

Я поморщился, так как беспредельно любил море и признавал только парусную навигацию. Потом снова принялся рассматривать план.

— Так. Верфи Галетт и Галетт, Глазго, спуск на воду 1909 года. Что ж, оснастка продумана толково. Шести человек хватит за глаза. Эти шестьдесят тонн будут держаться на воде не хуже пакетбота.

Школьный учитель довольно улыбнулся и заказал выпивку.

— Только зачем вы убрали название «Ара»? Звучит приятно, да и птица красивая.

— Видите ли, — засмеялся он, — это вопрос деликатный. Долг благодарности, если хотите.

— Значит, шхуна теперь называется «Майенская псалтирь». Любопытно... Оригинально во всяком случае.

Алкоголь развязал учителю язык.

— Дело не в этом. Год назад умер мой двоюродный дед и оставил мне в наследство чемодан, битком набитый старыми книгами.

Я только присвистнул.

— Погодите! Я их перебирал без особой радости, как вдруг одна книга привлекла мое внимание. Это была инкунабула.

— Как вы сказали?

— Инкунабула, — повторил он и снисходительно пояснил. — Так называют книгу, изданную в первую эпоху книгопечатания. Я едва мог поверить глазам: на ней стояла сигнатура Фуста и Шеффера! Имена вам ничего не скажут, но представьте: это были компаньоны Гутенберга — изобретателя книгопечатания, а в руках я держал

изданный в конце пятнадцатого века редчайший роскошный экземпляр знаменитой «Майенской псалтири».

Я попытался изобразить внимание на своей физиономии.

— Заметьте, Баллистер, — продолжал учитель, слегка прищурившись, — эта книжонка стоит целое состояние.

— Ну да! — я мгновенно насторожился.

— Солидную пачку фунтов стерлингов. Хватило на покупку «Ары» и с лихвой осталось для найма экипажа из шести человек, чтобы совершить задуманное мной плавание. Вот почему я решил заново окрестить наше суденышко и дать ему столь редкое имя, непонятное морякам. Но вы-то теперь понимаете?

Еще бы не понять. Я только пробормотал пару слов насчет величия его души и рассудительно добавил:

— И все-таки логичней было бы окрестить шхуну именем бесценного дядюшки: потому как...

Он вдруг злобно расхохотался, чего я никак не ожидал от образованного человека. Затем деловито сдвинул брови:

— Вы поедете в Глазго. Вы проведете шхуну проливом Норт-Минч до мыса Рат.

— Опасно, я вам скажу.

— Я выбрал именно вас, Баллистер, так как вы знаете эти рифы.

Нельзя больше польстить моряку, нежели сказать, что он знает пролив Минч — гибельную бушующую горловину. Сердце мое возликовало.

— Что правда, то правда. Я-таки поободрал шкуру между Чикеном и Тимпан Хидом.

— К югу от мыса Рат вы найдете хорошо защищенную бухточку, известную лишь контрабандистам. Ее называют Биг-тоэ. На картах ее искать бесполезно.

Я воззрился на него с откровенным восхищением.

— Черт возьми! Такое знание вам может дорого обойтись. Вы будете вознаграждены вниманием таможенников да и парочкой ножевых ударов. На берегу попадают застенчивые ребята.

Он небрежно махнул рукой.

— Я буду вас ждать в Биг-тоэ.

— А затем?

Он указал точно на запад.

— Н-да...а, — протянул я, — вот это дыра. Кругом ничего, кроме горбатых рифов. И ни дымка на горизонте, сколько ни пяль глаза.

— Вот и хорошо. Просто великолепно.

Я понимающе подмигнул.

— Ну что ж. Это ваше частное дело. А я не люблю вмешиваться в частные дела, особенно если денежки вперед.

— Полагаю, вы заблуждаетесь насчет моих дел, Баллистер. Они имеют отношение, как бы вам объяснить... отношение к науке, но я хотел бы дер-

жать их в тайне от назойливых ученых, которым ничего не стоит присвоить чужое открытие. Ну и хватит об этом. Заплачу сколько потребуется, даже больше.

Мы занялись выпивкой. Молча. Я, признаться, был удивлен, что в такой заплесневелой хибаре для пресноводных недоносков, как эти «Лихие ребята», подают приличные напитки. Потом мы принялись беседовать насчет экипажа, но как-то не попад.

— Я в морском деле ничего не смыслю, — заявил мой партнер, — так что на меня не рассчитывайте. Я школьный учитель и привык работать головой.

— Уважаю ученость. Не хочу хвастаться, но и сам в этом деле не промах. Школьный учитель. Отличная профессия.

— Да, я преподаю в Йоркшире.

Я от души засмеялся.

— Прямо Сквирс, владелец школы в Йоркшире. Помните «Николаса Никльби»? Нет, нет, вы нисколько не похожи на этого мерзкого типа. Постойте, дайте-ка сообразить!

Я внимательно оглядел упрямое костистое лицо, густую шевелюру, запавшие глаза угрюмой обезьяны, строгий опрятный костюм.

— Так и есть! Хедстон из «Нашего общего друга».

— Бросьте, — проворчал он. — Я пришел сюда не за тем, чтобы слушать разные гадости на

свой счет. Храните литературные воспоминания про себя, друг Баллистер, мне нужен моряк, а не книгочей. С книгами я как-нибудь и сам разберусь.

— Пардон, — возразил я обиженно, поскольку в моей среде меня уважали за начитанность. — Пардон, не вы один получили образование. У меня в кармане диплом капитана каботажного плавания.

— Потрясающе, — фыркнул он.

— Не будь этой дурацкой истории с пропажей канатов и ящиков с мылом, где я, поверьте, не при чем, я бы здесь не рядился командовать корытом в шестьдесят тонн.

Он примирительно улыбнулся.

— Я вовсе не хотел вас задеть. Капитан каботажного плавания — это кое-что.

— Математика, география, гидрография, начала небесной механики. Прямо как у Диккенса: *порядком балласта в этом ...Баллистере!*

На этот раз он искренне засмеялся.

— Я вас недооценил, Баллистер. Хотите еще виски?

— Это мое слабое место.

Я улыбнулся в свою очередь. На столе появилась новая бутылка и дурная минута разошлась, словно дымок из трубки. Я продолжил деловой разговор.

— Теперь насчет экипажа. Во-первых, Турнепс. Фамилия смешная, но ее с честью носит славный малый и отличный моряк. Правда, не так давно он вернулся ... ну, в общем, на ступальную

мельницу он угодил не по своей воле. Если вам почему-либо...

— Ни в коей мере.

— Тогда все в порядке. Он за деньгами не гонится, а рому выпить всегда не прочь. На качество ему плевать, было бы побольше. Хочу также порекомендовать голландца Стевена. Записной молчун, но ему разорвать причальный канат так же просто, как вам откусить кончик сигары.

— И, конечно, что-нибудь вроде ступальной мельницы?

— У них в стране такого не водится, но эквивалент не исключен.

— Ладно. Как его?

— Стевен.

— Сколько?

— Да не слишком много. Налегает на сухари с беконом и еще обожает вишневый джем. И потому как провизию надо все равно запастись...

— Ладно. Хоть полтонны джема.

— Будет вашим рабом. Так. Я бы предложил Уолкера, да не больно он красив.

— А вы юморист, Баллистер.

— Как сказать. У него откушен нос, отрезано ухо и с подбородком не все в норме. Завсегдатаю музея мадам Тюссо, может, и понравится, а так... А все итальянские матросы, будь они прокляты.

— Хорошо. И кто у вас еще на примете, любезный Баллистер?

— Двое парней что надо. Джелвин и брат Тук.

— Мало Диккенса, еще и Вальтер Скотт!

— Не хотелось говорить, но раз уж вы начали... Брат Тук. Знаю молодца только по этой кличке. Он немного повар, эдакий морской мастер Якоб.

— Превосходно, Баллистер. Вот уж не думал встретить в вашей среде столь интеллигентного человека.

— Джелвин и брат Тук неразлучны. Позовешь одного, откликнется другой, наймешь одного, нанймай другого. Вот такие дела.

Я нагнулся и доверительно зашептал:

— Люди не совсем обыкновенные. Говорят, Джелвин из королевской семьи, а брат Тук вроде преданного слуги в несчастье.

— Значит, вознаграждение должно соответствовать рангу?

— Пожалуй. Когда-то этот самый принц был заправским автомобилистом. Ему бы и заняться вашим вспомогательным мотором, ведь никто другой...

И тут случился маленький эпизод, собственно к делу не относящийся, хотя я о нем часто вспоминал впоследствии. В бар вошел, а вернее влетел, загнанный шквальным порывом ветра, какой-то бедолага. Это был сухопарый малый, длинный, как жердь, взъерошенный и промокший не хуже бродячей собаки. Он спросил стакан джина и с наслаждением поднес к губам. Вдруг раздался звон стекла. Я поднял глаза: парень уставился на

моего компаньона с несказанным ужасом, потом прыгнул к двери и нырнул в промозглую тьму, позабыв на стойке полукрону. Похоже, школьный учитель не заметил инцидента, по крайности не подал вида, но я, помнится, все спрашивал себя, какая дикая мысль заставила этого голодранца, этого последнего из последних бросить свои деньги, выронить стакан джина и рвануть из натопленного бара на ледяную улицу?



Погожим днем ранней весны пролив Норт-Минч раскрылся перед нами на удивление гостеприимно. Шалые подводные течения кое-где давали о себе знать, но их легко было заметить по зеленым спинам, бугристым, как туловища издыхающих рептилий.

Один из внезапных юго-восточных бризов, дующих только в этом углу, принес нам за двести миль запах первой ирландской сирени и, действуя вместе с мотором, протолкнул нас к Биг-тоэ. Но здесь настрой и мотив изменились.

Водовороты перекрещивались и свистели наподобие паровых сирен. Лавировать меж бурунов было нелегким делом. Какой-то плавучий островок, заброшенный с просторов Атлантики, яркий, словно майская лужайка, вынырнул из-под бушприта и, ударившись о прибрежную скалу, рассыпался мрачным каскадом гниения и тлена. Сколько раз мы опасались, что ураган, словно единым

взмахом гигантской бритвы, срежет мачты «Майенской псалтири». По счастью, этот великолепный парусник держался с элегантностью истинного джентльмена. Пользуясь часовым затишьем, мы завели мотор и таки сумели проскочить в заливчик Биг-тоэ, а через несколько минут разъяренный прилив ринулся по нашему следу, грохнув в корму вспененным изумрудной пылью валом.

— Мы здесь не в очень-то приветливых водах, — сообщил я своему экипажу. — Если на нас наткнутся береговые молодчики, объяснений не миновать, а у них в обычае начинать переговоры ружейными выстрелами. Так что приготовимся ко всему.

И спустя некоторое время молодчики действительно появились, правда, на свою беду, хотя беда эта показалась нам сколь тревожной, столь и загадочной.



Восемь дней мы простояли на якоре в бухточке, спокойной, словно утиная заводь. Жили мы отменно, качество провизии и напитков было достойно великосветской яхты. На расстоянии примерно семи взмахов весел таился крохотный пляж красного песка, где пробивался ледяной пресноводный ручеек.

Турнепс ловил на удочку палтуса, Стевен уходил за прибрежные скалы в дикие и пустынные ланды: зачастую, будто щелканье кнута, слыша-

лись выстрелы его ружья. Он возвращался с куропаткой либо с тетеревом, иногда приносил зайца и почти всегда — пятнистых кроликов, восхитительных на вкус.

Школьный учитель не появлялся, что, честно говоря, нас мало заботило: уплачено было за шесть недель вперед новенькими бумажками по фунту или десять шиллингов, и Турнепс клялся исчезнуть отсюда лишь с последней каплей рома.

Однажды утром положение изменилось.

Стивен наполнял бочонок пресной водой, когда в ушах пропела острая свистящая нота и в нескольких дюймах от его физиономии разлетелся кусок скалы. Стивен торопиться не любил: он вошел в бухточку, задрал голову, проследил за синей струйкой дыма, тянущейся от расселины у вершины и, презрев резкие коварные всплески, спокойно добрался до шхуны вплавь. Потом вошел в рубку и заявил:

— Похоже, стреляют.

Несколько отрывистых ударов по обводу правого борта подтвердили его слова.

Я снял карабин, выскочил на палубу и тут же пригнул голову — пуля взвизгнула, как струна под туго натянутым смычком; от второй разлетелось несколько щепок и звякнула бронзовая скоба у гика. Я поднял дуло на уровень расселины, указанной Стивеном, где висели клочья дыма от добротного черного пороха, как вдруг стрельба прекратилась, слышались проклятья и крики ужаса.

Потом глухо и гулко отозвался красный песок пляжа — я даже вздрогнул от брезгливого страха: на берегу распластался человек, упавший с обрыва высотой футов в триста. Искалеченное тело почти целиком ушло в песок. Судя по грубой кожаной куртке, он был из шайки мародеров, обычно подстерегающих кораблекрушения у мыса Рат. Я все смотрел на него, пока Стевен не тронул меня за плечо:

— Еще один на подходе.

В небе на мгновение застыла и ринулась вниз нелепая, скрюченная фигура: так большая морская птица, застигнутая свинцом и внезапно побежденная собственным весом, теряет величавую плавность и падает, крутясь и кувыркаясь.

И еще раз берег отозвался глухо и гулко. Человек корчился несколько секунд. Его рот пузырился кровью, лицо запрокинулось к солнцу. Стевен медленно протянул руку к скалистой круче и сказал чуть дрогнувшим голосом:

— Третий.

Пронзительный вой резанул нервы. Над самой вершиной показались плечи и спина: кто-то наудачу махал руками и ногами, отбиваясь от невидимого противника, потом пружинисто взлетел, словно выброшенный из катапульты. Тело уже покоилось рядом с другими, а крик отчаянья еще кружил над нами, ввинчиваясь в оцепенелую тишину.

Мы стояли не шевелясь.

— Так дело не пойдет! — взорвался Джелвин. — Хотя эти гады и решили нас кокнуть, я за них отомщу. Мистер Баллистер, дайте карабин. Брат Тук, где ты?

Бритая голова вынырнула из отверстия люка.

— Брат Тук стоит охотничьего пса, — пояснил Джелвин, — вернее, десяти охотничьих псов. Он чует дичь издалека. Это феномен.

— Ну, старина, что скажешь насчет дичи?

Брат Тук высвободил круглый массивный торс и прямо-таки подкатился к планширу. Он внимательно посмотрел на трупы и поморщился от недоумения, изумления, страха.

— Да что с тобой? — Джелвин принужденно засмеялся. — Можно подумать, ты никогда не видел мертвецов. Ты похож на девицу, которую ущипнули в церкви.

— При чем тут церковь, — прохрипел брат Тук. Тут такое творится. Стреляйте, монсеньор! Стреляйте в дыру наверху!

Разъяренный Джелвин повернулся к нему.

— Опять это дурацкое прозвище! Сколько раз тебе говорить!...

Брат Тук покачал головой.

— Поздно. Слишком поздно.

— Что поздно? — спросил я.

— Это исчезло из расселины.

— Что исчезло?

Брат Тук взглянул на меня исподлобья.

— Не знаю. Теперь этого нет.

Я перестал его спрашивать. С вершины скалы послышался свист. В расселине метнулась тень.

Джелвин вскинул карабин, но я перехватил дуло.

— Стойте!

Из расселины шла зигзагом тропинка, незамеченная нами поначалу. На берег спускался школьный учитель.



Мы предоставили школьному учителю прекрасную каюту на корме, а я роскошно устроился в салоне, перетащив туда две кушетки. Учитель затворился в каюте и зарылся носом в книги: на палубу он являлся раз или два в день, непременно приносил секстант и предавался тщательным наблюдениям и вычислениям.

Шхуна шла на северо-запад.

— Вон тот мыс, похоже, на севере Исландии, — заметил я Джелвину.

Он внимательно посмотрел на карту.

— Не думаю. Скорее, это Гренландия.

— Ну и черт с ним. Нам-то какая печаль.

Он столь же беззаботно пожал плечами.

Мы покинули Биг-тоэ в ясную погоду — далекие горы Росс нежили свои бурые вершины в безоблачном небе. Встречные корабли попадались редко; днем наш курс пересек парусник, на палубе которого торчало с десятков безобразных ублюд-

ков — их приплюснутые носы выдавали уроженцев Гебрид; вечером сзади по бакборту на всех парусах промчался красивый двухмачтовик.

На следующий день море заволновалось: с наветренной стороны показался датский пароход — его так заволокло дымом, что мы не смогли прочесть названия. Это было последнее судно, замеченное нами. Правда, на рассвете третьего дня на юге закурчавились два дымка — сторожевого британского авизо, по мнению Уолкера. И больше ничего.

К вечеру того же дня совсем низко, почти касаясь верхушек мачт, пролетел поморник. С тех пор мы не видели никаких признаков жизни.

Школьный учитель пригласил меня в каюту.

Сам он не выпил ни капли. Куда девался приятный собутыльник из «Лихих ребят»? Но, как вежливый и хорошо воспитанный человек, он то и дело подливал мне виски и пока я пил, сосредоточенно разглядывал свою книгу.

Вообще я сохранил мало воспоминаний об этих монотонных днях. Однако люди казались озабоченными, особенно после неприятного инцидента, случившегося однажды вечером.

Мы все разом и в одно и то же время почувствовали тошноту, настолько острую, что Турнепс заорал об отравлении. Я приказал ему замолчать. Недомогание, кстати сказать, быстро исчезло, вскорости мы забыли о нем, так как из-за легкого шторма пришлось бросить паруса.

Начался восьмой день вояжа.



Нет, люди определенно помрачнели и затаились. Конечно, в плаванье мало кто расположен к пустой болтовне, но здесь было что-то другое: их связывало общее чувство беспокойства, страха, подавленности. Напряжение ползло, блуждало, сгущалось тяжелым молчанием. Наконец Джелвин взял слово:

— Мистер Баллистер, мы бы хотели поговорить не с капитаном, а с напарником по лебедке, которым вы были для каждого из нас.

— Вот так вступление, — засмеялся я.

— Это чтобы, значит, по честности, — вставил Уолкер, и пародия на улыбку еще более исказила его жуткое лицо.

— Ну!

— Неладное творится вокруг, — продолжал Джелвин, — и самое худшее, что никто из нас ничего не может понять.

Я хмуро огляделся и неожиданно протянул ему руку.

— Ваша правда, Джелвин, я это чувствую, как и вы.

Все стеснились возле меня, обнаружив союзника в капитане.

— Посмотрите на море, мистер Баллистер.

— Вижу, как и вы, — пробормотал я и опустил голову.

Что тут добавить! Уже два дня море на себя не похоже.

За двадцать лет навигации я не видел ничего подобного ни под какими широтами. Его пересекают полосы немыслимых цветов, там и сям закручиваются воронки, при полном затишье вздымается огромная одинокая волна: из невесть откуда рожденного буруна доносится хриплый хохот, заставляющий людей вздрагивать и оборачиваться.

— Ни одной птицы на горизонте, — вздохнул брат Тук.

Верно.

— Вчера вечером, — продолжал он, — крысы, что гнездились в отсеке для съестных припасов, выскочили на палубу, сцепились и единым комом покатались в воду. Такого я никогда не видел.

— Никогда, — подтвердили остальные.

— Я в этих местах сколько раз бывал, — выступил Уолкер, — и в это самое время. Здесь должно быть черным-черно от перелетной синьги, да и тюленей не счесть. А посмотрите-ка?

— Вы вчера вечером на небо глядели, мистер Баллистер? — спросил Джелвин.

— Нет, — сконфузился я.

Вчера вечером я так нагрузился в компании молчаливого учителя, что не смог подняться на палубу. Даже сейчас мигрень ломила мне череп.

Турнепс в сердцах плюнул.

— Куда этот дьявол затащил нас?

— Дьявол — верное слово, — прибавил флегматик Стевен.

Каждый что-то прибавил без всякого проку и толку. Я принял неожиданное решение.

— Послушайте, Джелвин. Я, понятно, здесь капитан, это так, но не стыжусь признаться перед всеми, что вы самый толковый человек на борту и моряк, каких мало.

Джелвин иронически улыбнулся.

— И что же?

— Полагаю, вам известно побольше нашего.

— Нет, — ответил он откровенно. — Вот брат Тук — другое дело. Как я уже говорил, он чувствует некоторые вещи, хотя и не может их объяснить. Он, если можно так выразиться, слышит запах опасности. Говори, брат Тук.

— Легко сказать, говори. Что-то стягивается вокруг нас, что-то... хуже смерти.

Мы в ужасе переглянулись.

— Школьный учитель, — брат Тук понизил голос, — к этому причастен.

Я не удержался и схватил Джелвина за руку.

— Джелвин, у меня не хватит духу! Пойдите к нему вы. Сейчас.

— Хорошо.

Он спустился. Мы услышали стук в каюту школьного учителя. Еще стук. Потом дверь скрипнула.

Через минуту Джелвин поднялся. Он был бледен и растерян.

— Его там нет... Обыщите шхуну. Здесь далеко не спрячешься.

Мы обшарили судно, потом вернулись на палубу и воззрились друг на друга с тоскливым недоумением. Школьный учитель исчез.



Когда спустилась ночь, Желвин сделал мне знак подняться на палубу и указал на топсель-грот-мачты.

От изумления у меня голова пошла кругом.

Море — пенистое и рокошующее — обьяло невиданное небо. Наши глаза тщетно рыскали в поисках знакомых созвездий. Новые конфигурации новых звезд слабо мерцали в серебристых изломах ужасающей черной бездны.

— Господи Иисусе! Где мы?

Тяжелые облака заволакивали небо.

— Так, пожалуй, лучше, — холодно сказал Желвин. — Не стоит им видеть всего этого. Где мы? Откуда мне знать. Дадим машине задний ход. А впрочем, какой смысл, мистер Баллистер?

Я стиснул ладонями голову.

— Уже два дня компас бездействует.

— Знаю.

— Но где мы, где?

Желвин позволил себе усмехнуться.

— Успокойтесь, мистер Баллистер. Вы капитан, не забывайте. Куда нас занесло? Понятия не имею. Могу лишь выдвинуть гипотезу — этим

ученым словом часто оправдывают фантазии самые невероятные.

— Говорите. Предпочитаю услышать любую дьявольщину, только не распроклятое «понятия не имею».

— Похоже, мы заплыли в другую перспективу бытия. Вы сейчас поймете, что я хочу сказать, так как смыслите в математике. Наш обычный трехмерный мир потерян для нас, а этот я могу определить как мир энного измерения. Неубедительно, отвлеченно, скажете вы. А что еще придумашь? Если бы, к примеру, с помощью какой-либо магии или неведомой науки нас перенесло на Марс, Юпитер или даже Альдебаран, это не помешало бы нам увидеть знакомые созвездия в некоторых регионах неба.

— Но солнце... — прервал я.

— Подобие, совпадение в бесконечности, эквивалентная звезда, возможно. Впрочем, все это предположения, банальности, пустые слова. И поскольку в этом чужом мире мы сможем так же хорошо умереть, как и в нашем, не вижу оснований терять хладнокровие.

Тут я обозлился окончательно.

— Умереть! Черта с два! Я буду драться за свою шкуру.

— С кем? — спросил он насмешливо.

Потом прибавил:

— Брат Тук говорил, что нас окружают вещи похуже смерти. И знаете, его мнением не следует пренебрегать в минуту опасности.

Я вернулся к его теории:

— Итак, энное измерение...

— Ради Бога, — поморщился он, — не придавайте особого значения моей гипотезе. Я только хотел сказать следующее: ничто не доказывает, что творение замкнуто в наших трех вульгарных измерениях. Так же, как мы не замечаем существ идеально плоских, живущих в поверхности, или, допустим, линейных, так же точно нас не замечают обитатели четвертого измерения. У меня сейчас нет настроения, мистер Баллистер, читать вам лекцию по гипергеометрии, но совершенно ясно, что мы способны иметь некоторое представление о пространствах, отличных от нашего. Возьмите сновидения, где нечто единое непонятным образом сочетает настоящее с прошлым и, возможно, будущим. Или структура атома... Нет ничего абсурдного в гипотезе существования инородных пространств, где жизнь образует головокружительные и таинственные формации.

Он устало провел ладонью по волосам.

— С какой целью этот субъект затащил нас сюда — в страну неведомых звезд? Каким образом он исчез, и главное — почему?

Тут я хлопнул кулаком по лбу. Мне припомнилось поведение брата Тука в Биг-тоэ и выражение мучительного страха на лице того бедолаги из «Лихих ребят». Я рассказал все это Джелвину, но он только покачал головой.

— Не будем переоценивать паранормальных возможностей моего друга. Увидев школьного учителя, брат Тук мне сказал: «Этот человек производит впечатление непроницаемой преграды, за которой свершаются события чудовищные и сверхъестественные». Я его не расспрашивал — это бесполезно: его интуиция может создать более или менее адекватный образ, но анализировать он не умеет. Что же касается предчувствия... узнав название шхуны, он забеспокоился, говоря, что много дурного за этим кроется. Между прочим, в астрологии именам придается первостепенное значение, а ведь по сути своей астрология — наука о мире четвертого измерения. Не удивляйтесь. Даже такие ученые, как Нордманн и Льюис, подозревают, что арканы этого тысячелетнего знания имеют некоторое сходство с теорией радиоактивности и новой гипотезой неевклидовых пространств...

Казалось, Джелвин излагает все это нарочно, считая, что если попытаться объяснить неведомое, то можно будет рассеять ужас, неумолимо подступающий с черной линии горизонта.

Самолюбие капитана пробудилось во мне.

— Джелвин, каким курсом следует шхуна?

— Идем правым галсом. По-моему, ветер вполне ровный.

— Может быть, лечь в дрейф?

— Зачем? Возьмем на всякий случай несколько рифов, хотя ничто не предвещает шторма.

— Для начала пусть Уолкер встанет за штурвал. Пусть внимательно смотрит за бурунами. Если мы получим пробоину ниже ватерлинии, все будет кончено.

— Что ж! — усмехнулся Джелвин, — это, пожалуй, не худшее решение для всех нас.

Он хорошо сказал. Предвиденная опасность утверждает авторитет капитана, но жестокая неизвестность уравнивает всех на корабле.

В этот вечер все собрались в салоне, который я приспособил под каюту. Джелвин пожертвовал из своих запасов две оплетенные бутылки великолепного рома, и мы сварили крепчайший пунш.

Турнепс быстро развеселился и принялся рассказывать нескончаемую историю о двух котках и одной молодой даме на вилле в Ипвиче, где он, Турнепс, играл завидную и залихватскую роль.

Стивен соорудил трехэтажный сэндвич из морских сухарей и копченой грудинки. Стало тепло и успокоительно — густой табачный дым заволок свет керосиновой лампы, укрепленной на кардане. Под влиянием пунша из моих мозгов постепенно улетучились научные сказки, которыми Джелвин потчевал меня накануне.

Уолкер перелил в термос свою порцию горячего пунша, захватил фонарь и, пожелав нам приятной вечеринки, пошел на вахту. Часы пробили девять. Началась умеренная качка.

— У нас совсем мало парусов, — успокоил меня Джелвин.

Турнепс монотонно рокотал, но как слушал Стивен — загадка: ведь его челюсти столь же монотонно перемалывали сухарь за сухарем. Я между тем прикончил стакан, протянул Туку за добавкой, да так и застыл, пораженный изменившимся выражением его лица. Он схватил Джелвина за руку — казалось, они напряженно прислушивались.

— Что это... — начал я.

В ту же секунду сверху послышалось ужасающее проклятие. Над нашими головами раздался топот босых ног. Кто-то бежал к бушприту и кричал.

Мы похолодели. Никто из нас никогда не слышал такого крика. Словно раскат хохота оборвался на хрипе, а потом перескочил в пронзительное завывание с тирольской модуляцией.

Мы бросились на палубу, спотыкаясь и толкаясь в темноте.

Все было спокойно, мерно поскрипывал рангоут, около штурвала зажженный фонарь освещал пузатый термос.

Но у штурвала — никого.

— Уолкер! Уолкер! Уолкер! — надрывались мы.

Издалека, от затянутого ночным туманом горизонта снова донеслась тирольская модуляция.

Беспредельная молчаливая ночь поглотила нашего бедного Уолкера.

И вслед за этой ночью восстала заря — зловещая и фиолетовая, как вечер тропической саванны.

Измученные бессонницей люди пристально вглядывались в рифленую зыбь. А бушприт упорно клевал пенистые валы. Никого.

В нашем марселе зияла большая дыра. Стевен пошел открывать парусный отсек. Брат Тук вытащил иглу, замотал ладонь кожаным ремнем и приготовился к починке. Инстинктивно, механически, угрюмо. Я время от времени поворачивал штурвал и бурчал под нос:

— К чему все это... ну к чему все это...

Турнепс ни с того ни с сего полез на грот-мачту. Я минуту-другую машинально следил за ним, потом отвел глаза. Вдруг мы услышали:

— Сюда! Влезайте скорей, здесь кто-то на мачте!...

Скрежет, удары, отголоски призрачной борьбы, крики агонии: тут мы разом припомнили грабителей из бухты Биг-тоэ: нелепо изогнутое, будто надвое переломленное тело, подброшенное ввысь, и далекий плеск в волнах.

— Будь ты проклят! — заорал Джелвин и кинулся к мачте. За ним брат Тук. Мы со Стевеном прыгнули к единственному нашему ялику; мощные руки голландца уже сдвинули его к воде и... мы оторопели от изумления и бешенства: нечто серое, неопределенное, мерцающее матовым блеском тягучего стекла заволокло ялик — цепи ра-

зорвались, шхуна резко накренилась на бакборт, огромная волна взмыла на палубу и ринулась в открытый парусный отсек.

Ялик — последнюю зыбкую надежду на спасение — поглотила бездна.

Джелвин и брат Тук спустились с мачты.

Они не заметили никого.

Первым делом Джелвин вытер руки тряпкой. Оказывается, ванты и окантовка парусов были забрызганы теплой кровью.

Срывающимся голосом я громко читал известные мне молитвы, чередуя святые слова с проклятиями океану и его тайне.



Поздно вечером мы с Джелвином поднялись на палубу, решив провести ночь у штурвала.

Гнетущее молчание. Помнится, иногда я начинал всхлипывать и Джелвин похлопывал меня по плечу. Потом я успокоился и закурил трубку.

Говорить было не о чем. Джелвин вроде задремал, а я упорно сверлил взглядом темноту.

Что-то привлекло мое внимание. Я наклонился над планширом и почти закричал:

— Джелвин, вы видели? Видели? Я схожу с ума!

— Нет, мистер Баллистер, все так и есть, — проговорил он вполголоса. — Только, ради Бога, никому ни слова. Они и без того не в себе.

Я с трудом выпрямился и подошел к релингу. Джелвин стал рядом.

Глубины моря были объаты багровым свечением: блуждающее озарение охватило шхуну, запятнав кровавыми мазками паруса и оснастку.

Мы словно бы стояли на сцене химерического театра, освещенные невидимой рампой из прозрачных бенгальских огней.

— Фосфоресценция? — предположил я.

— Смотрите внимательней.

Натуральный цвет морской воды сменился хрустальной прозрачностью, и взгляд, не встречая препятствий, уходил в беспредельные глубины. Там проступали мрачные массивы геометрического галлюциноза: донжоны, исполинские башни и соборы, ужасающе прямые улицы, образованные зданиями немыслимой конструкции...

Казалось, мы парили на фантастической высоте над городом, который восстал из грандиозного, безумного сна.

— Похоже, там что-то движется, — шепнул я своему компаньону.

— Да.

Это было аморфное скопление существ с контурами смутными, почти неразличимыми: они беспорядочно перемещались, занятые какой-то иступленной деятельностью.

— Назад, — вдруг закричал Джелвин и оттащил меня от борта.

Одно из этих существ с невероятной быстротой поднималось из бездны — секунда, и его гро-

мальная тень заслонила подводный город: словно чернильное облако разошлось вокруг нас.

Корпус шхуны содрогнулся — удар пришелся в киль. В малиново-багровом зареве три гигантских щупальца сжимали, били, рассекали перепуганное пространство. Над уровнем бакборта взгорбилась плотная тьма, из которой на нас недвижно смотрели два глаза цвета расплавленного янтаря.

Но это длилось секунду-другую. Внезапно Джелвин бросился к штурвалу.

— Волна с левого борта!

Он как раз вовремя рванул штурвал доотказа направо: топенанты затрещали, гик просвистел, словно секира, фалы лопнули, как натянутые струны, — грот-мачта резко наклонилась.

Бредовое видение исчезло, только располосованная морская гладь некоторое время шипела и пенилась. По правому борту на гребнях валов догорали малиновые отсветы.

— Уолкер, Турнепс... бедняги, — пробормотал Джелвин.

Пробило двенадцать склянок. Ночная вахта началась.



Утром ничего особенного не случилось.

Небо подернулось густой грязноватой пленкой оттенка охры. Стало довольно холодно.

К полудню в тумане замаячило круглое пятно, которое при большом желании можно было считать солнцем. Я решил определить позицию этого пятна, хотя Джелвин только скептически пожал плечами.

Море заметно волновалось, и ощутимая качка мешала произвести вычисление. Однако мне наконец удалось поймать в зеркальце секстанта предполагаемое солнце, правда, рядом с ним трепетал гибкий, длинный молочно-белый язычок...

Из перламутровой глубины зеркальца, стремительно заполняя поле зрения, на меня летело нечто непонятное: секстант выпал из рук, сам я получил жестокий удар по голове, потом послышались крики, шум борьбы, еще крики...



Я не окончательно лишился чувств, но подняться не было никакой возможности, в ушах словно бы дребезжали стекла и гудели колокола. Мне даже почудился басовый перезвон Биг-Бена и сразу представилась набережная Темзы.

Сквозь этот перезвон доносились скрежет, свист, скрипение далекое и беспокойное.

Я оперся на ладони, изо всех сил пытаюсь встать. Чьи-то руки помогли, подхватили и я на радостях заблажил и зачертыхался.

— Слава Богу, — воскликнул Джелвин. — Хоть этот еще жив.

Я с трудом раскрыл свинцово-тяжелые веки и увидел сначала желтое небо в косой штриховке та-келажы, потом Джелвина, который шатался, как пьяный.

— Что произошло, что еще стряслось, — за-орал я, заметив слезы у него на глазах.

Он молча повел меня в мою каюту.

Обе кушетки были сдвинуты — там раскину-лось огромное безжизненное тело Стивена.

При этом зрелище я сразу пришел в себя и сти-снул ладонями виски. Голова Стивена была изу-родована и дико распухла.

— Это конец, — прошептал Джелвин.

— Конец... конец, — повторял я, не вникая в смысл.

Джелвин принялся менять компрессы.

— Где брат Тук?

Джелвин бросил бинт и разрыдался.

— Его... как других... мы больше не увидим.

Прерывистым голосом он рассказал то немно-гое, что знал.

Это обрушилось гибельно и мгновенно, как и все кошмары, которые ныне составляют наше су-ществование.

Он был внизу — проверял смазку в моторе, — когда с палубы донеслись крики и стоны. Прибе-жав, он увидел, как Стивен ожесточенно борется, но с кем?... его окружала и сжимала гибкая, ша-ровидная, серебристая масса. Кожаный ремешок и парусные иглы валялись около грот-мачты, но

брат Тук исчез — только с фала бакборта стекала кровь.

Я лежал без сознания. Вот и все, что он знает.

— Когда Стевен очнется, может он побольше расскажет, — вяло предположил я.

— Очнется? — горько усмехнулся Джелвин. — У него перемолоты суставы и внутренние органы. Это в буквальном смысле мешок костей. Он еще может дышать, благодаря своей мощной конституции, но по сути он мертв, как все остальные.

Мы оставили шхуну блуждать по прихоти ветра и волн. При уменьшенной парусности она явно проигрывала в скорости. Джелвин помолчал, потом проговорил, как бы рассуждая вслух:

— Опасность нам грозит главным образом на палубе.

Вечером мы заперлись в моей каюте.

Стевен дышал хрипло и трудно: окрашенная кровью слюна обильно текла и приходилось все время ее вытирать. Я повернулся к Джелвину.

— Спать, пожалуй, нам не придется.

— Какое там!

Судно умеренно качало. Несмотря на духоту, мы задраили иллюминаторы.

К двум часам утра меня одолела непобедимая дремота. В тяжелом оцепении сверлящие, судорожные мысли расплзлись вялым кошмаром. И, тем не менее, я мгновенно пришел в себя.

Джелвин даже не прикорнул. На его лице застыла мучительная гримаса — он пристально смотрел в потолок. Наконец, прошептал:

— Ходят на палубе.

Я схватил карабин.

— К чему? Сидите спокойно... о, Господи!

Послышались быстрые шаги, потом беспорядочный топот, словно человек двадцать снова-ли туда-сюда. Джелвин покачал головой.

— Мы теперь вроде пассажиров. Работают за нас.

В неясном шуме слышался знакомый звук: заскрипели штуртросы — очевидно, кто-то пытался маневрировать при встречном ветре.

— Увеличивают парусность.

— Черт!

«Майенская псалтирь» получила резкую килевую качку и затем взяла скачок на триборт, что заслужило одобрение Джелвина.

— Выйти на правый галс при таком ветре! Это монстры, пьяные от крови и убийств, но в морском деле они понимают. Лучший английский яхтсмен на призовой яхте не осмелился бы резануть ветер под таким углом.

— И что это доказывает? — добавил он тоном врача-диагноста.

Я безнадежно махнул рукой.

— Это доказывает, что мы идем определенным курсом, что имеется место назначения.

Я с минуту поразмыслил и добавил в свою очередь:

— А вдруг это не демоны и не фантомы, а такие же существа, как и мы?

— Знаете, это сильно сказано...

— Я хочу сказать, существа материальные, располагающие лишь естественными возможностями.

— Насчет этого я никогда не сомневался.

К пяти часам утра был произведен новый маневр, и шхуна снова изменила курс. Джелвин открыл иллюминатор — от густых облаков просочилась грязная белесая заря.

Мы рискнули крадучись выбраться на палубу. Никого.

Судно лежало в дрейфе.



Прошло два спокойных дня.

Ночные маневры не повторялись, но Джелвин заметил, что нас несет быстрое течение и мы следуем направлением, которое когда-то называлось северо-западом.

Стивен дышал все слабее.

Джелвин приготовил ампулы и шприц. Время от времени он делал уколы нашему умирающему другу. Мы почти не разговаривали и почти ни о чем не думали. За себя я ручаюсь, поскольку глотал виски целыми пинтами.

При этом я лопотал только пьяную белиберду вместе с проклятиями по адресу школьного учителя. Среди обещаний оторвать голову, зако-

нопатить уши и прочего тому подобного Джелвин вдруг расслышал о книгах, которые учитель приволок на шхуну.

Он подскочил и принялся трясти меня за плечи. С пьяной важностью я твердил одно и то же:

— Капитан здесь кто? Не смей!...

— Какой вы к черту капитан! Повторите! Что вы сказали про книги?

— Да в его каюте... полный чемодан латинского старья... не понимаю этого аптекарского жаргона.

— Я его знаю, я! Почему вы раньше не сказали!

Я только растянул губы в пьяной ухмылке.

— Наплевать. Капитан здесь кто? Вы обязаны ценить, уважать...

— Пьяный идиот, — крикнул он и побежал в каюту школьного учителя.

Жалкий, бесчувственный, неподвижный Стевен остался моим компаньоном в последующие часы одинокого пьянства. Иногда я принимался голосить:

— Капитан здесь кто?... Пожалуюсь... в адмиралтейство. Обозвать пьяным идиотом!... Меня, первого после Бога на корабле!... Так, Стевен? Ты свидетель... низкого оскорбления. Я его по доске... в море...

Потом я заснул.



Джелвин поспешно глотал сухари с консервами, его щеки горели и глаза пылали.

— Мистер Баллистер, школьный учитель ничего не упоминал о хрустальном шаре или о каком-нибудь кристалле?

— Он меня не посвящал в свои занятия, — проворчал я, памятуя об оскорблении.

— Ах, если б эти книги попались мне раньше!

— Вы нашли что-нибудь?

— Проблеск... ниточка... Бессмыслица на первый взгляд. Непостижимо! Понимаете, непостижимо!

Он был ужасно взволнован. Я так и не смог вытянуть из него что-нибудь путное. Он снова закрылся в пресловутой каюте и я его больше не беспокоил.

Вечером он пришел заправить лампу керосином и не сказал ни слова.

Я лег спать и на следующее утро проснулся очень поздно. В каюте школьного учителя.

Джелвин исчез.

Все мои оклики остались без ответа.

В отчаянном беспокойстве я обшарил шхуну и, забыв о всякой осторожности, орал на палубе изо всех сил.

Потом побрел в свой салон и бросился на пол, рыдая и взывая к небесам.

Я остался с умирающим Стевеном на борту проклятого корабля.

Один, безнадежно один.



Около часу пополудни я потащился в какую школьного учителя. И мне сразу попался на глаза листок, приколотый к двери. Вот что я прочел:

Мистер Баллистер, я сейчас полезу на топсель грот-мачты. Мне нужно кое в чем удостовериться. Возможно, я не вернусь. В таком случае простите мне мою смерть, оставляющую вас совсем одного, так как Стевен безусловно обречен.

Не забудьте сделать следующее:

Сожгите все эти книги. Сложите их на корме подальше от грот-мачты и не приближайтесь к борту. Я уверен, что вам попытаются помешать.

Но сожгите их все до единой, даже рискуя спалить «Майенскую псалтирь». Может быть, вас это спасет. Может быть, всеблагое провиденье даст вам шанс. Да сжалится над всеми нами Господь.

Герцог де...¹, известный как Джелвин

Я вошел в салон, потрясенный этим удивительным прощанием, проклиная постыдное пьянство, из-за которого мой отважный друг, очевидно, не смог меня разбудить.

¹ Мы не хотим публиковать фамилию, дабы не повергать в траур одну и ныне царствующую семью. У Джелвина было много тяжких прегрешений, но он искупил их своей доблестной смертью.

Я не расслышал дыхания Стевена. Склонившись, долго смотрел на его лицо, искаженное последней судорогой.

Потом пошел в наше крохотное машинное отделение, забрал две канистры бензина и, повинувшись секундному предчувствию, запустил мотор на полную мощность.

Сложил книги на палубе недалеко от штурвала и полил бензином.

Взметнулось высокое, бледное с просинью пламя. В этот момент крик раздался за бортом. Звали меня.

Я обернулся и тотчас закричал сам от изумления и ужаса.

В кильватере «Майенской псалтири» примерно в двадцати саженях плыл школьный учитель.



Пламя трещало, страницы хрустели и обращались в пепел.

Страшный пловец выл, проклинал, умолял.

— Баллистер! Ты будешь богат, богаче всех на земле, вместе взятых. Кретин, ты умрешь медленной смертью в таких пытках, о которых и не ведают на твоей проклятой планете. Баллистер, я сделаю тебя королем фантастического мира. Послушай, ты, падаль, ад покажется тебе раем по сравнению с тем, что тебе уготовано!

Он загребал отчаянно, однако ничего не выигрывал в состязании с «Майенской псалтирью», шедшей на полной скорости.

Глухие удары потрясли корпус: шхуну резко покачнуло.

Огромная волна вздыбилась у бушприта предвестием чудовищного пробуждения океана.

— Баллистер! — вопил школьный учитель.

Он все-таки умудрялся не отставать. На странно неподвижном лице глаза горели нестерпимым блеском.

Я посмотрел на пылающие книги и вдруг заметил, как один из пергаментных переплетов сморщился, съежился и там что-то блеснуло хрустальной искрой.

И я вспомнил слова Джелвина, не утерпел и воскликнул:

— Кристалл!

В ларце, замаскированном под книгу, таился крупный, неправильно ограненный кристалл.

Школьный учитель услышал мой возглас. Он завыл, как безумный, его разъяренные руки взметнулись над водой.

— Это наука! Ты хочешь уничтожить грандиозную науку, будь ты проклят!

Отовсюду, с каждой точки горизонта неслись пронзительные вопли с тирольскими модуляциями.

Волна разбила фальшборт и обрушилась на палубу. Я прыгнул в самый центр книжного пламени и раздавил каблуком проклятый кристалл.

Свист, грохот, жестокий приступ тошноты...

Воды и небеса слились в сверкающем хаосе. Громовой раскат разорвал атмосферу. Падение, безоглядное падение в бездну...

И теперь я умираю, непонятным образом очутившись среди вас. Приснилось ли мне все это? Если бы! Но я снова здесь, на земле, умирающий, счастливый...



Потерпевшего крушение обнаружил Бригс — юнга с «Норд-Капера». Мальчишка стянул из камбуза яблоко и, примостившись у канатной бухты, только-только собрался вкусить от запретного плода, как вдруг заметил человека, с трудом плывущего в нескольких ярдах от борта.

Бригс принялся истошно орать, так как перепугался, что пловца затянет под винт. Этого человека вытащили. Он был без сознания и, казалось, спал: очевидно, он работал руками совершенно автоматически, что наблюдается иногда у классных спортсменов.

Никаких кораблей на горизонте, никаких обломков в обозримой дали. Юнга, правда, рассказал, что видел на траверсе силуэт корабля, «прозрачного, как стекло» — его собственные слова. Силуэт возник на мгновение, врезался в воду и пропал в глубине.

За это он получил пару подзатыльников от капитана Кормона, чтоб не приучался сызмальства к вранью.

Удалось влить немного виски в горло потерпевшего. Механик Роз уступил ему свою койку и тепло укутал. Уже через минуту он спал глубоким и тем не менее тревожным сном. Все с любопытством ждали его пробуждения, но вдруг произошло невероятное событие.

О нем поведает ваш покорный слуга Джон Копленд — помощник капитана, который вместе с матросом Джолксом пережил встречу с кошмарным порождением ночной бездны.



Согласно последней записи в журнале, «Норд-Капер» находился на двадцать втором градусе западной долготы и шестидесятом северной широты.

Я решил всю ночь провести за штурвалом, так как накануне мы заметили несколько айсбергов к северо-западу.

Джолкс прикрепил сигнальные фонари и остался рядом со мной выкурить трубку: он мучился зубной болью и не торопился спуститься в жаркую духоту кубрика. Я порадовался его соседству — нечего и говорить об ужасающей монотонности ночной вахты.

Кстати, надо сообщить несколько подробностей насчет «Норд-Капера»: это хорошее и крепкое судно, хотя и снабженное беспроводным телеграфом, вовсе не походило на современные траулеры. Построенный полвека назад, «Норд-Капер»

в сущности оставался парусником, несмотря на допотопную паровую машину.

Застекленной кабины, торчащей на палубе новомодного траулера в виде какого-то швейцарского шале, здесь не было и в помине.

Штурвал, как и полагается, находился в кормовой части, открытый ненастью и высокой волне.

Я сделал это отступление, чтобы вы поняли ситуацию: нам пришлось участвовать в драме, а не наблюдать за ее ходом из стеклянной будки. Без такой оговорки люди, знакомые с топографией парусного судна, удивились бы моей дотошности.

Лунный свет не пробивался сквозь плотную завесу облаков: иногда лишь, озаряя линию бурунов, рассеянно фосфоресцировали гребни волн.

Было часов десять — экипаж, надо думать, только-только уgomонился. Измотанный зубной болью Джолкс чертыхался и глухо стонал.

В мерцании нактоуза белела его скорбная физиономия, подпертая ладонью.

Вдруг я заметил, что болезненная гримаса сменилась удивлением, затем откровенным страхом: рот широко открылся, трубка выпала. Я не выдержал и расхохотался.

Вместо ответа он показал на сигнальный фонарь правого борта.

И моя трубка моментально присоединилась к трубке Джолкса.

Чуть пониже подвешенного к вантам сигнального фонаря заблестели мокрые, судорожно сжатые пальцы.

Потом пальцы разжались и кто-то прыгнул на палубу. Джолкс отшатнулся — свет нактоуза тотчас вырвал из мрака неописуемо странную фигуру. Это был долговязый тип, смахивающий на пастора. Вода лилась ручьями с его черного, наглухо застегнутого сюртука. Его глаза горели адской ненавистью.

Джолкс потянулся за ножом, но не успел вытащить. Чертов пастор кинулся на него и сшиб с ног. В тот же момент лампа нактоуза разлетелась на куски. Секундой позже отчаянно завопил юнга, дежуривший у койки выловленного нами бедняги: — Его режут! Убивают! Помогите!

После того как мне пришлось вмешаться в серьезную матросскую потасовку, я не расставался с оружием, особенно по ночам. Это был револьвер крупного калибра, заряженный бронебойными пулями.

Донеслись отдельные голоса, потом сбивчивый говор.

Внезапный ветер хорошенько хлестнул паруса и разорвал облака: тонкий лунный луч повис на реях и скользнул на палубу.

Шум усилился: фальцет юнги, капитанский бас, крики, ругань... И здесь мой слух распознал необычное: справа от меня кто-то проскочил бесшумно и вкрадчиво — в следующий момент я уви-

дел, как ночной визитер схватился за ванты и прыгнул в море. И когда его голова показалась на гребне волны, я хладнокровно прицелился и выстрелил.

Он закричал, нет, скорее, дико, протяжно взвыл.

Тело прибило к самому борту.

Подошел Джолкс. Он держался на ногах не очень твердо, но вполне крепко сжимал в руке лодочный крюк. Тело покачивалось неестественно легко и билось о борт. Крюк зацепил одежду. Джолкс напряг мышцы, но, к его удивлению, груз прямо-таки взлетел и шлепнулся на палубу.

Бен Кормон вышел из рубки, помахивая фонарем. Он крикнул:

— Пытались убить парня, которого мы спасли.

— Нападение, сэр. Бандит вышел из моря, — отвечал я.

— Ты спятил, Копленд!

— Ничуть. Поглядите сами, сэр. Я выстрелил и...

Мы наклонились над трупом пастора и заорали, как сумасшедшие.

Из сюртука торчали восковая голова и две искусственные руки. И больше ничего. Пуля продырявила парик и разбила нос.



Вам известна авантюра Баллистера. Он рассказывал о своем путешествии на исходе этой кошмар-

ной ночи. Его последние слова звучали спокойно, даже торжественно.

Мы ухаживали за ним, как могли. Его левое плечо было рассечено двумя ударами большого ножа или резака. И все же, несмотря на тяжесть раны, мы могли его спасти, если бы удалось остановить кровотечение, поскольку ни один важный орган не пострадал.

После столь долгого рассказа он впал в забытие и пришел в сознание лишь для того, чтобы спросить, откуда у него эти раны.

Бригс — единственный свидетель случившегося — ответил, что ночью кто-то ворвался в рубку и два раза ударил его. Потом упомянул о выстреле и представил «вещественные доказательства».

При этом зрелище Баллистер невероятным усилием поднял голову с подушки и закричал:

— Учитель! Школьный учитель!

У него началась лихорадка и он более не приходил в себя. Только шесть дней спустя в морском госпитале в Галловее он очнулся, чтобы поцеловать образ Спасителя и умереть.



Останки ночного пришельца или, вернее сказать, несуразный манекен показали достопочтенному Лемансу. Этот священник исколесил весь мир и многое мог поведать о диких странах и секретах океанских глубин.

Он долго и внимательно рассматривал... объект.

— Может, что-нибудь спрятано внутри? — спросил Арчи Рейнс. — Ведь там несомненно что-то было. И живое притом.

— Еще какое живое, — прорычал Джолкс, потирая красную, распухшую шею.

Достопочтенный Леманс обнюхал сюртук с тщательностью, которая бы сделала честь охотничьей собаке, и брезгливо отбросил.

— Так я и думал.

Мы сунули носы в свою очередь. Я поморщился.

— Пахнет формалином.

— Фосфором — прибавил Рейнс.

Кормон раздумывал с минуту. Его губы немного дрожали. Наконец он произнес:

— Это пахнет спрутом.

Леманс пристально посмотрел на него.

— В последний день творения Господь повелел Зверю выйти из пучин морских. Не будем искушать провидение глупыми вопросами.

— Но ... — начал Рейнс.

— *«Кто смеет самонадеянными словами подвергать сомнению божественный промысел?»*

Услышав слова писания, мы опустили головы. Это было выше нашего разумения.

Переулок святой Берегонны

Набережная Роттердама. Из трюмов большого парохода грузчики вытащили несколько тюков прессованных старых бумаг. Они валялись на мостовой, ветер трепал разноцветные лоскуты, пока один из тюков не лопнул, подобно винной бочке на пожаре. Докеры помахали лопатами, пытаясь собрать в кучу бумажную лавину, однако большая часть досталась еврейским мальчишкам, в очередной раз подбирающим гнилые плоды вечной портовой осени.

Там лежали великолепные гравюры Пирсона, разрезанные пополам по приказу таможни; зеленые и красные пачки акций и облигаций — сигнальные огни отшумевших банкротств; жалкие книги со страницами, плотно сжатыми, словно страдальческие губы... Моя трость блуждала в этом ворохе таблиц, отчетов, мыслей, лишенных

отныне даже намека на симметрию, строгость и глубину.

Среди старых журналов, в основном английских и немецких, мне попало и несколько французских: это были порыжелые от огня номера «Художественного альманаха».

Я некоторое время проглядывал очаровательные иллюстрации и наивные рассказы, как вдруг из толстого тома выпали две тетради, исписанные от руки. Одна по-немецки, другая по-французски. Авторы, вероятно, не были знакомы друг с другом, хотя французский текст, безусловно, освещал ядовитую атмосферу ужаса, исходившую от немецкой тетради. На обложке французской было написано: *Альфонс Архипетр*, затем слово *Lehrer*¹.

Я перевел немецкие страницы.

Немецкий манускрипт

Нижеизложенное предназначено Герману, когда он вернется из-за океана.

Если он не отыщет меня, если меня и бедных моих подруг поглотит окружающая нас чудовищная тайна, пусть узнает из этой маленькой тетрадки о наших страшных, томительных днях.

¹ *Lehrer* (нем.) — учитель.

Пусть это послужит доказательством моей нежной привязанности: нужно немало смелости, особенно женщине, чтобы вести дневник на пограничье безумия. Пусть он помолится за меня, если усомнится в спасении моей души...

После смерти тети Хедвиги я не захотела более оставаться в нашем жилище на Хольцдамме.

Сестры Рюкхарт мне предложили переехать на Дайхштрассе. Они занимали просторные апартаменты в большом доме советника Хюнебайна — старого холостяка, жившего затворником на первом этаже среди книг, картин и эстампов.

Симпатичные старые девы — Лотта, Элеонора и Мета — всячески старались усладить мою жизнь. Горничная Фрида, которую я взяла с собой, кажется, понравилась старой фрау Пильц — уникальной кухарке Рюкхартов: она, по слухам, отклонила предложение одного герцога, только бы не покидать своих хозяек.

В этот вечер...

Этим вечером, превратившим нашу приятную и спокойную жизнь в тягостный кошмар, мы не поехали на праздник в Темпельгоф из-за проливного дождя.

Фрау Пильц, всегда предпочитающая видеть нас дома, устроила роскошный ужин: она подала жареную форель и паштет из цесарки. Лотта приняла настоящие раскопки в подвале, чтобы отыскать бутылку знаменитой капской водки, стареющей там уже лет двадцать. Мы сидели за сто-

лом и любовались золотистым мерцанием алкоголя в рюмках богемского хрустала.

Элеонора заварила китайский чай «су-чонг», что привез нам в подарок один старый моряк из Бремена.

Сквозь порывы ветра и шум дождя слышались восемь ударов колокола церкви святого Петра.

Фрида, сидевшая у огня, клевала носом над иллюстрированной Библией: она не умела читать, но обожала рассматривать гравюры. В конце концов она спросила разрешения пойти спать. Мы вчетвером принялись разбирать цветные шелковые нитки для вышивки Меты. Снизу донесся легкий скрежет — советник закрыл свою комнату на двойной поворот ключа. Фрау Пильц поднялась к себе, пожелав нам по дороге доброй ночи через закрытую дверь и добавив, что из-за паршивой погоды вряд ли удастся к завтрашнему обеду добыть свежей рыбы. Из дырявого водостока соседнего дома пробилась дождевая струя и принялась долбить мостовую. Ураганный ветер ворвался на улицу, распылив ливень серебряной пеленой. Наверху что-то завизжало и грохнуло.

Лотта вздрогнула.

— Ставень на чердаке.

Она раздвинула гранатовый занавес и выглянула.

— Боже, черным-черно.

Часы где-то в доме пробили полчаса. Лотта подошла к столу.

— Не хочется спать. Во всяком случае, не хочется идти в постель. Мне чудится, темнота и дождь накинута на меня во сне.

— Дура, — возмутилась простодушная Элеонора. — Если не хочется спать, давайте по-мужски нальем водки и выпьем.

Ее слова растворились в тишине комнаты.

Элеонора вставила в канделябр три свечи, отлитых из редкого сиенского воска: они горели дивным розовым пламенем и дышали цветами и ладаном.

Во что бы то ни стало хотели мы придать праздничный тон этому вечеру, окруженному ливнем и темнотой, и почему-то ничего не получалось.

Энергичное лицо Элеоноры омрачилось внезапным дурным настроением; мне показалось, что Лотта страдала от духоты; Мета безмятежно склонилась над вышивкой. Однако в ней ощущалась настороженность, словно она пыталась уловить посторонний призыв в глубине молчания.

Дверь отворилась и вошла Фрида. Пошатываясь, добрела до камина и рухнула в кресло: ее ошалелые глаза останавливались по очереди на каждой из нас.

— Она спит на ходу, — предположила Элеонора.

Фрида энергично замотала головой. Порывалась заговорить. Я протянула свою рюмку

водки и она опрокинула ее залпом на манер кучеров и носильщиков.

В любое другое время мы были бы шокированы, но сейчас у Фриды был такой несчастный вид, и к тому же атмосфера последних минут была столь тягостной, что никто на это не обратил внимания.

— Там, — начала Фрида, — там...

Ее взгляд, смягчившийся на секунду, вновь похолодел.

Элеонора резко постучала по столу.

— Нет, не могу... — выдохнула Фрида.

Элеонора решительно подошла к ней.

— В чем дело? Что вы слышали или видели? Что случилось, в конце концов?

— Что случилось? — Фрида задумалась. — Не могу объяснить. Страшно... великий ужас в моей комнате.

— Ах, — воскликнули мы хором.

— Обычный кошмар, — сказала Мета. — Когда неожиданно просыпаешься, а голова накрыта одеялом...

Фрида снова задумалась.

— Нет, фрейлейн, я только задремала и вдруг... Как бы вам объяснить... невыносимо... страшно в моей комнате.

— Боже мой, — вступила я в разговор, — у тебя ничего не поймешь.

Фрида отчаянно затрясла головой.

— Куда угодно... Просижу всю ночь на ступеньке под дождем, только не вернусь в проклятую кровать.

— Это же надо быть такой идиоткой! Пойду сама посмотрю, — заявила Элеонора, набрасывая шаль на плечи.

На стене посреди университетских наградных листов висела старая рапира папы Рюкхарта. Элеонора помедлила перед ней, усмехнулась, взяла канделябр с розовыми свечами и двинулась к двери, окутанная ароматом душистого ладана.

— Ради Господа Бога, не оставляйте ее одну! — вскрикнула Фрида.

Мы неуверенно приблизились к лестнице. На площадке перед чердаком скользнул розовый отблеск.

Мы остановились в полутьме на первых ступенях. Услышали, как Элеонора толкнула дверь. Настала минута осторожного молчания. Пальцы Фриды сжали мой локоть. Она застонала.

— Не оставляйте ее одну...

В этот момент взорвался хохот, настолько чудовищный, что я предпочла бы умереть, нежели услышать подобное еще раз. Мета вскинула руку.

— Там! Какая-то фигура... там!

Между тем дом постепенно ожил. Советник и фрау Пильц показались в желтом ореоле зажженных свеч.

— Фрейлейн Элеонора, — захныкала Фрида. — Господи Иисусе, как мы ее отыщем?

Мои губы зашевелились сами собой:

— *Мы никогда ее не отыщем.*

Комната Фриды была пуста. Канделябр стоял на полу и свечи озарялись мягким розовым сиянием.

Мы перерыли весь дом и даже залезли на крышу: Элеонора исчезла.



На помощь полиции рассчитывать было бесполезно. В полицейский участок ворвалась обезумевшая толпа, разломала мебель, разбила стекла. Полицейских, как паяцев, трясли и перекидывали от одной группы к другой. В эту ночь бесследно пропали восемьдесят человек.

Выдвигалась масса предположений. От причин естественных, как водится, перешли к догадкам сверхъестественным.

Миновало несколько дней. Мы жили в слезах и трауре. Советник Хюнебайн распорядился закрыть плотной дубовой перегородкой лестницу на чердак.

Вчера куда-то запропастилась Мета: перепуганные, мы рыскали по комнатам и коридорам, опасаясь нового несчастья. Наконец, обнаружили ее у перегородки — глаза, обычно кроткие и нежные, горели ненавистью.

Она сжимала рапиру папы Рюкхарта и, похоже, рассердилась при нашем появлении. Мы стали расспрашивать о фигуре, которую она видела,

но Мета никак не реагировала. Она не только не ответила, но, казалось, вообще перестала замечать наше присутствие.

По городу блуждало множество самых невероятных историй. Говорили о секретной преступной организации; обвиняли полицию в халатности и вообще черт знает в чем; тайные агенты шныряли повсюду.

Никакие меры ни к чему не привели.

Совершались жуткие преступления: искалеченные, разодранные трупы находили по утрам на улицах.

Таинственные злоумышленники действовали с жестокостью, превосходящей всякое воображение.

Очень редко несчастные бывали ограблены, и это обстоятельство поражало муниципальные власти.

Но я не хочу распространяться о событиях в городе — найдется довольно очевидцев. Вполне достаточно описать жизнь нашего дома — здесь хватало ужаса и отчаяния.

Дни проходили, наступил апрель — более холодный и ветреный, чем худший зимний месяц. Мы неохотно покидали кресла у камина. Иногда советник Хюнебайн составлял нам компанию, дабы поддержать в нас «бодрость духа».

Это заключалось в следующем: он дрожал всем телом, вытягивал руки к огню, глотал солидные дозы пунша, дергался от каждого шороха и восклицал по несколько раз в час:

— Слышали? Слышали?..

Фрида раззяла свою Библию и на каждой двери, на каждой занавеси пришила или приклеила по странице, надеясь, без сомнения, изгнать злых духов.

Мы не мешали этому занятию, и так как несколько дней прошли спокойно, даже порадовались замечательно простой мысли. Ликующая Фрида собрала и выставила все святые образа, какие только нашлись в доме...

Увы! Нас ожидало жестокое разочарование. Однажды — день был такой серый, тучи висели так низко, — вечер наступил раньше обычного. Я вышла поставить лампу на широкую лестничную площадку: после роковой ночи мы решили иллюминировать весь дом — в вестибюле и на лестницах до рассвета горели светильники. И вдруг послышался шепот с верхнего этажа.

Я смело поднялась и увидела Фриду и фрау Пильц. Вид у них был довольно испуганный. Они сделали мне знак молчать и кивнули на новую перегородку.

Я приложила ухо и услышала уплывающий, нарастающий, сложный шум, как если бы разговаривали, резонировали гигантские раковины.

— Фрейлейн Элеонора, — позвала Фрида.

Ответ, пришедший тотчас же, чуть не сбросил нас с лестницы. Дикий протяжный вопль раздался снизу, из комнат советника. И немедленно мы

услышали его крики о помощи. Лотта и Мета выбежали на площадку.

— Надо идти, — храбро заявила я.

Мы не сделали и трех шагов, как новый крик резанул пространство над нашими головами:

— На помощь! На помощь!

Нас буквально окружили мольбы о помощи: господин Хюнебайн кричал внизу, фрау Пильц наверху — мы узнали ее голос.

— Помогите, — послышалось совсем слабо.

Мета схватила оставленную на площадке лампу. Поднимаясь по лестнице, мы встретили Фриду. Фрау Пильц исчезла.



Я хочу воздать должное Мете Рюкхарт.

— Здесь нам делать нечего, — сказала Мета, нарушив упорное молчание последних дней. — Идемте вниз.

Она взяла отцовскую рапиру. Это отнюдь не выглядело комично: в ней чувствовалась мужская решимость.

Мы последовали за ней, покоренные ее внезапной силой.

Рабочий кабинет советника был освещен, как бальный зал. Бедняга не оставил темноте ни единого шанса. На камине, словно две полные луны, сияли большие фарфоровые лампы. Хрустальная люстра в стиле Людовика XV свешивалась с потолка: огни в призмах играли и рассыпались гор-

стями драгоценных камней. В каждом углу стояли зажженные свечи в медных или керамических подсвечниках. Два ряда высоких свечей на столе, казалось, обозначали невидимый катафалк.

Ослепленные, мы напрасно искали советника.

— Посмотрите туда, — прошептала Фрида. — Он прячется за оконной занавесью.

Лотта резко откинула драпировку. Господин Хюнебайн был там. Он стоял у открытого окна и, нагнувшись, что-то разглядывал на улице.

Лотта тронула его за плечи, потом отпрянула в ужасе:

— Не смотрите! Ради Бога, не смотрите! У него нет... головы!

Фрида вскрикнула, зашаталась и наверняка упала бы в обморок, если бы не спокойный голос Меты :

— Внимание, опасность.

Мы стали рядом с ней, ободренные ее смелостью и присутствием духа.

Вдруг что-то сгустилось, замерцало у потолка. Черная тень метнулась в угол комнаты, где свечи разом погасли. Мета скосила глаза на камин.

— Скорей! Светильники! Поздно!

В ту же секунду фарфоровые лампы на камине треснули, выплюнули две струи дымного пламени и погасли.

Мета замерла. В ее глазах леденела ярость, о возможности которой я даже не подозревала.

Внезапный порыв ветра задул свечи на столе и только люстра продолжала рассеивать искристое сияние. Мета не сводила с нее глаз. Вдруг она взмахнула рапирой и рассекла пустоту.

— Только бы не погас свет! Я вижу это... Ах!

Рапира пошла вперед, назад, задержалась так, словно кто-то невидимый пытался ее вырвать.

В этот вечер мы спаслись благодаря Фриде.

Она истошно завопила, схватила увесистый медный подсвечник и, подскочив к Мете, принялась лупить наудачу во все стороны. Рапира свободно опустилась, нечто легкое и быстрое задело потолок, дверь распахнулась, раздался глухой, отчаянный вой.

— Один, — сказала Мета.



Могут спросить: зачем же мы продолжали оставаться в доме, где объявились кровожадные незримые сущности?

Сотня домов, если не больше, подверглась подобному кошмару. Перестали вести счет исчезновениям и убийствам. Публичные возмущения потухли. Город застыл в угрюмом ожидании смерти. Самоубийства насчитывались уже десятками — люди предпочитали покончить с собой, нежели стать жертвами палачей-фантомов. К тому же Мета, особым чутьем угадывая невидимое присутствие, жаждала мести.

Она упорно отмалчивалась, лишь просила тщательно запирать на ночь двери и ставни. С наступлением сумерек мы вчетвером собирались в гостиной, которая теперь служила и столовой, и спальней, а выходили только по утрам. Я все допытывала Фриду по поводу ее вооруженной эскапады, но сколько-нибудь толкового ответа не получила.

— Не пойму ничего. Видела вроде какую-то фигуру. — Здесь она беспомощно пожимала плечами. — Не могу, не умею сказать точно. Тот самый ужас, что прятался в моей комнате.

И больше ничего. Но нам суждено было целиком пропитаться этим ужасом.

Однажды в середине апреля Лотта и Фрида слишком задержались на кухне: Мета, открыв дверь гостиной, крикнула, чтоб они быстрее возвращались.

Вечерние сумерки уже опустились на лестничные площадки и вестибюль.

— Сейчас, — слышался дуэт. — Сейчас идем.

Мета вошла и притворила дверь. Она была мертвенно бледна. Никаких шагов вниз. Молчание давило дверь, как тяжелая черная вода.

Мета повернула ключ. Я изумленно воззрилась на нее.

— Что вы делаете? А Лотта, а Фрида?

— Бесполезно.

Она даже не посмотрела на меня, не пожелала отвести от рапиры неподвижного и страшного взгляда.

Лотта и Фрида исчезли в свою очередь, растворились в тайне.



Господи, что же это?

Кто-то есть в доме, кто-то — раненный и страдающий — хочет, чтобы ему помогли. Догадывается ли Мета? Она вообще перестала разговаривать, только забаррикадировала окна и дверь на такой манер, словно более опасалась побега, нежели вторжения. Потянулись жуткие, одинокие дни. Мета представлялась мне бледным угрожающим спектром, а не человеком.

Однажды я неожиданно столкнулась с ней в коридоре: в одной руке она держала рапиру, в другой — сильный фонарь с рефлектором, которым высвечивала темные углы.

При другой встрече она посоветовала мне вернуться в гостиную и, поскольку я повиновалась весьма неторопливо, крикнула мне в спину, что не потерпит вмешательства в свои дела.

Угадала ли Мета мой секрет?

Куда девалась скучная старая дева, что буквально несколько дней назад привычно склонялась над вышивкой? Сейчас ее лицо пылало напряжением ненависти, отблески коей падали и на меня. Так как у меня появился секрет.

Что меня побудило к действию? Любопытство, жалость, извращенность, не дай Бог?

Нет! От всего сердца уверяю Господа: только жалость. Только милосердие...

Однажды я сошла в прачечную набрать воды из колонки и вдруг услышала тихое постанывание:

— Моа... моа...

Я подумала о пропавших близких, осмотрелась и увидела приоткрытую дверь в кладовку: там, в пыли и паутине, несчастный Хюнебайн держал старые книги.

— Моа... моа...

Оттуда. Я подошла ближе — тишина. Сделала несколько шагов, и вдруг что-то дотронулось до моей юбки. Я слегка отшатнулась, и тотчас застенало, зажалобилось близ меня:

— Моа... моа... — и тихо поскребли мой кувшин.

Я поставила кувшин. Вода заволновалась, заплескалась, словно жадно лакала собака. Уровень чуть-чуть опустился.

— Моа... моа...

В жалобе послышался человеческий плач, даже детское всхлипывание — невидимый монстр страдал...

Шаги в коридоре. Я приложила палец к губам и стоны умолкли. Бесшумно прикрыла дверь в кладовку. Мета вошла в прачечную.

— Вы тут стонали?

— Поскользнулась...

Я стала сообщницей фантомов.



Принесла молоко, вино, яблоки. Никаких признаков жизни. Когда вернулась, молоко было выпито до последней капли, но вино и плоды остались нетронутыми. И словно легкий ветерок окружил меня и замер в моих волосах.

Я снова принесла свежего молока. Стонов не слышалось, только призрачная ласка длилась дольше.

Мета, похоже, поглядывает на меня с подозрением и часто задерживается у кладовки.

Я объяснила знаками моему загадочному протее, что собираюсь найти убежище понадежней. Боже, какой странной показалась собственная жестикуляция в пустоте. Он понял и прошелестел за мной по коридорам... как вдруг мне пришлось спрятаться в нишу.

Светлый круг задрожал на каменных плитах — Мета спускалась по винтовой лестнице. Она ступала крадучись, пытаясь закрыть луч своего фонаря. Блеснуло лезвие рапиры. И тогда я почувствовала: это задрожало от страха, всколыхнулось близ моей руки и я расслышала жалобное: моа... моа...

Шаги Меты затихли в далеком резонансе. Я ободряюще махнула рукой и осторожно пошла дальше. Наконец, остановилась у большого стен-

ного шкафа, в который, как я помнила, никогда и никто не заглядывал.

Когда воздушный ток тронул ресницы и губы, я ощутила нечто вроде стыда...

Наступил май.

Белые фиалки расцвели в крохотном садике, когда-то забрызганном кровью бедного Хюнебайна.

Но дивное весеннее небо не оживило города. Птичьему пенью вторили только скрежет засовов да позвякивание дверных петель.

Меня окружила беспокойная симпатия фантома. Он хотел моего внимания, и я научилась распознавать подобное бризу присутствие по неизъяснимой и внезапной нежности. Когда я давала ему понять, что боюсь Меты, он исчезал.

Но как вынести настороженный, подозрительный взгляд Меты?



Четвертое мая: дикий, мрачный конец.

Мы засветили лампы в гостиной и закрыли ставни, когда я вдруг угадала его присутствие. Я поморщилась, повела головой и тут же встретила в зеркале угрожающие глаза Меты.

— Гадина! — закричала она и захлопнула дверь.

Он остался в гостиной с нами.

— Я чувствовала, — прошипела Мета, — видела, как ты шляешься с кувшинами молока, дьявольское отродье. Ты поддержала его силы, когда он издыхал здесь от раны, что я нанесла, когда умер Хюнебайн. Его можно убить — твоего фантома. Сейчас он умрет, и, думаю, умереть для него столь же горько, если не горше, чем для нас. А потом, низкая тварь, придет твоя очередь. Слышишь?

Она выдохнула, прошипела, просвистела эти слова и сбросила кусок ткани со своего фонаря. Луч рефлектора выявил изгиб, светлую дымку, намек на силуэт, и тотчас рапира пронзила это.

— Моа!.. Моа!.. — раздалась томительная жалоба. Послышалось мое имя — нежно и странно акцентированное. Я бросилась вперед и опрокинула фонарь, который сразу погас.

— Мета, погоди! Пожалей!

Мета буквально прорычала:

— Трижды предательница.

Рапира прочертилась острым углом перед глазами: удар пришелся над левой грудью, и я опустилась на колени.

Тонкая, ноющая интонация, рыдание, плач: кто-то в свою очередь умолял Мету. Снова взвилось лезвие. Я силилась вспомнить слова молитвы покаяния, дабы вручить душу Господу...

Лицо Меты исказилось, рапира выпала...

У потолка возникла серебристая полоска, свернулась лентой, коснулась обоев. Засвиристело, затрещало пламя.

— Мы горим! — закричала Мета. — Горим! Будьте прокляты!

И в эту секунду дверь отворилась. Высоко, у притолоки тусклой зеленью блеснули глаза... Старая женщина огромного роста, сгорбившись, вошла в комнату.

Огонь укусил мою левую руку. Я вздрогнула и отступила на несколько шагов. Мета стояла неподвижно, и я поняла, что с ней все кончено.

Комната была охвачена пламенем. Тусклые зеленые глаза без зрачков остановились на мне.



Пишу в чужом маленьком домике. Я, по всей видимости, одна, только все наполнено напряженным присутствием. Иногда кто-то произносит мое имя с нежным и странным акцентом...

На этой фразе обрывается немецкий манускрипт.

Французский манускрипт

В конце концов мне сказали, где найти самого знающего кучера в городе. Он сидел в продывленной кнайпе и пил крепкое октябрьское пиво.

Я предложил ему выпить, насыпал шафранного табаку и подарил голландский гульден. Он возликовал и заорал на всю кнайпу:

— Принц! Воистину принц! Кто не согласен, отведает моего кнута.

Я кивнул на дрожки, широкие, как маленькая приемная.

— А теперь подвезите меня в тупик святой Берегонны.

Он посмотрел на меня, прищурился и захохотал.

— А вы малый хоть куда! Шутник!

— Но почему?

— Послушайте. Я знаю наперечет все улицы города. Что там улицы! Всякий булыжник на мостовой. Нету здесь никакой улицы святой Бере... Как вы сказали?

— Берегонны. Это, кажется, на Моленштрассе.

— По-моему, — заявил он решительно, — проще отыскать Везувий в Санкт-Петербурге.

Действительно, кто мог знать городские окраины, улочки и проулки лучше этого горластого любителя пива?

Студент, сочиняющий любовное письмо за соседним столиком, повернулся к нам и рассудительно заметил:

— И вообще нет святой с таким именем.

Жена хозяина заведения негодуяще прибавила:

Святые — это вам не еврейские сосиски, раз и готово...

Я успокоил компанию с помощью вина и пива.

Мое сердце ликовало после разговора с представителем власти. Этот полицейский с головой упитанного английского дога, который с утра до ночи полировал мостовую Моленштрассе, не мог не знать своего ремесла.

— Нет, — произнес он, медленно выплывая из своих мыслей и воспоминаний, — такого тупика нет ни здесь, ни во всем городе.

За его плечом, между винокурней Клингбома и лавкой торговца семенами, раскрылся желтый зев тупика святой Берегонны.

Я быстро отвернулся, чтобы не возбудить подозрений неуместным своим восторгом. Тупик святой Берегонны. Его не существует ни для кучера, ни для студента, ни для полицейского: он существует только для меня.



Как я мог сделать это экстравагантное открытие?

Но... методом научного наблюдения, как любят выражаться в нашей преподавательской среде.

Даже мой коллега Зейферт — естественник, — который постоянно мучил учеников какими-то газами в трубках и жидкостями в колбах... даже он не нашел бы, к чему придраться.

Прогуливаясь по Моленштрассе, я как-то обратил внимание на следующее: чтобы от винокурни Клингбома попасть к семенной лавке, необходимо преодолеть дистанцию в три широких шага,

что занимало у меня секунду-другую. И вместе с тем я заметил: прохожие попадают сразу от Клингбома к лавке, не отбрасывая тени на мостовую тупика святой Бергонны.

Я рассмотрел кадастровый план города, ловко выпросил прохожих и выяснил, что лишь общая стена отделяет винокурню Клингбома от лавки торговца семенами.

И пришел к выводу: решительно для всех, за моим исключением, эта улочка существует вне времени и пространства.

Не могу без улыбки писать последнюю фразу, так как мой коллега Митшлаф озаглавил свой курс философии *«Вне времени и пространства»*.

Ах! Если бы сей жирный педант обладал крупницей моего знания! Но его жалкие гипотезы, наивные заученные схемы могут вдохновить лишь куриные мозги профанов.

Много лет назад я узнал о существовании сокрытой улочки, но никогда не решался туда войти. Полагаю, призадумались бы и люди посмелее меня.

Какие законы управляют неведомым пространством? Поглощенный его тайной, сумею ли я вернуться в привычный мир?

Подолгу размышляя над проблемой, я приходил к неутешительным выводам: вероятнее всего, загадочная область враждебна человеческому существу — любопытство сдавалось на милость страха.

И однако то небольшое, доступное мимолетному взгляду, было так понятно, так банально.

Правда, поле зрения резко ограничивалось в десяти шагах крутым поворотом. Открывались только две высокие, небрежно оштукатуренные стены. На одной надпись углем: «*Sankt-Beregonnegasse*»¹.

Разбитая, истертая мостовая, доходящая до поворота. В разломе мостовой на куске рыхлой земли — калиновые ветки.

Этот худосочный куст жил согласно обычным временам года: иногда пробивалась молодая зелень, иногда белели снежные хлопья в развилках.

Разумеется, можно было сделать много интересных наблюдений над особенностями проявления инородного космоса, но для этого необходимо часами торчать на Моленштрассе. Клингбом, который часто замечал меня под окнами, возымел дикое подозрение касательно своей жены и бросал мрачные, убийственные взгляды.

И, с другой стороны, я спрашиваю себя, почему именно мне выпала странная привилегия...

Спрашиваю себя, почему?..

И начинаю вспоминать свою бабушку по матери. Эта высокая темноволосая женщина говорила мало. Она подолгу смотрела на стену и, казалось, большие зеленые глаза следят за перипетиями какой-то другой жизни.

¹ Переулок святой Берегонны (нем.).

Ее прошлого никто толком не знал. Кажется, мой дед, который был моряком, вырвал ее из рук алжирских пиратов.

Иногда она гладила мои волосы узкой белой рукой и шептала:

— Может быть, он... почему бы и нет?

Она повторила это в вечер своей смерти. Когда последний огонек рассыпался в ее зрачках, прибавила:

— Я не смогла туда вернуться. Может, ему повезет?

За окном бушевала гроза. Когда бабушка отошла и зажгли свечи, большая птица разбила стекло и упала, окровавленная и угрожающая, на постель почившей.

Единственное странное событие в моей жизни. Но какое отношение это имеет к тупику святой Бергонны?

Авантюра началась с ветки калины.



Впрочем, искренен ли я в поиске перводвигателя, проще говоря, щелчка, что пробудил пространства и события?

И почему не рассказать про Аниту?

Несколько лет тому назад вышли из белесого тумана маленькие парусники, оснащенные на латинский манер: тартаны, саколевы и сперонары. Они швартовались у пристаней ганзейских городов.

Здоровым немецким гоготом встретили их появление. Хохотали на пирсах и в глубинах пивных погребков; досыта насмеявшись, хозяева заведений чуть ли не даром отпускали напитки, а голландские матросы с физиономиями, похожими на циферблаты, от восторга прокусывали чубуки своих длинных трубок. Однажды я услышал:

— Вот люгеры безумной мечты.

И почувствовал зудящую боль в сердце: как просто, оказывается, погибнуть под грузом германского юмора.

Говорили, что эти парусники приплыли с берегов Адриатики и Тирренского моря, где люди до сих пор грезили о земле обетованной, которая, подобно сказочному Туле, затеряна в страшных полярных льдах.

Не слишком обогнав ученостью своих далеких предков, они верили в легенды об изумрудных и диамантовых островах, в легенды, рожденные, без сомнения, в те минуты, когда их отцы встречали искрящиеся обломки айсбергов.

Из всех достижений науки они оценили только буссоль — вероятно, потому, что постоянное стремление синеватой стрелки к северу было для них последним доказательством тайны септентриона.

И однажды, когда фантазм, как новоявленный мессия, взлетел над постылыми волнами Средиземноморья, сети принесли рыбу, отравленную коралловым летозом; из Ломбардии не прислали ни

зерна, ни муки; и тогда самые отчаянные и самые наивные поставили паруса...

До Гибралтара все шло благополучно, но затем изящные, хрупкие кораблики попали во власть атлантических ураганов. Гасконский залив изрядно обглодал флотилию, а несколько уцелевших парусников остались на гранитных зубах верхней Бретани. Деревянные остовы были проданы за гроши немецким и датским оптовикам. Только один крылатый посланец погиб в своей легенде, раздавленный айсбергом на широте Лофотена.

Но север начертал над могилами этих корабликов гордые слова: «Люгеры безумной мечты». И, несмотря на гогот голландских матросов, в воображении своем я поднялся на борт тартаны...

Из-за Аниты, возможно.



Таргана. Еще ребенком Анита приплыла в хмурую северную гавань на руках своей матери. Суденышко продали. Мать и сестры умерли, отец отправился на каком-то бриге в Америку и пропал вместе с бригом. Анита осталась одна со своей мечтой о нордическом рае, веруя иступленно, почти с ненавистью.

И теперь она танцевала в Темпельгофе, в белом сиянии фонарей, танцевала, пела и подбрасывала над головой красные цветы: кровавые лепестки опускались ей на плечи или сгорали в пламени кинкетов.

Обходила публику, протягивая вместо деревянной площадки серебряно-розовую раковину. Иногда в этой раковине звенела золотая монета: Анита останавливалась и озаряла дарителя обольстительным взглядом.

Однажды я оказался в числе избранных. Бедный учитель французской грамматики в Гимназуме бросил золотой соверен за взгляд Аниты.

Заметки на полях

... продал своего Вольтера; иногда я читал ученикам фрагменты его переписки с прусским королем — это нравилось принципалу.

Задолжал за два месяца фрау Хольц — квартирной хозяйке — и долго выслушивал ламентации касательно ее бедности.

Эконом Гимназиума, у которого я попросил аванс в счет жалованья, пробормотал, кашляя и запинаясь, насколько это трудно в частности и против правил вообще... Коллега Зейферт сухо отказал в денежной просьбе.

Положил золотой соверен в раковину Аниты... и голова закружилась от ее взгляда.

Среди деревьев послышался смех — я обернулся и узнал двух служителей из Гимназиума, которые прятались в тени.

*Это была последняя золотая монета.
Последняя...*

*Когда я проходил по Моленштрассе мимо
винокурни Клингбома, на меня чуть не наехал
ганноверский дилижанс.*

*Перепуганный, я отскочил в переулок святой
Берегонны и случайно отломил ветку с калино-
вого куста.*

Теперь ветка на моем столе.

*Обещание нового, невероятного... магическое
кольцо...*



Прикинем то да се, как любит говорить скупердяй Зейферт. Мой отчаянный прыжок на мостовую таинственного переулка и благополучное возвращение на Моленштрассе доказывают, что туда попасть так же просто, как в любое обычное место.

Но ветка, говоря философски, есть объект метафизический. Этот кусочек дерева «лишний» в нашем мире. Если, допустим, отломить ветку с какого-нибудь куста в американском лесу и принести сюда, что случится? Ничего. Количество веток на земле не изменится.

Но положив на стол калиновую ветку из переулка святой Берегонны, я увеличиваю это число на единицу: такого успеха никогда не добьется вся тропическая вегетация, ибо я доставил ветку из пространства, реального только для меня.

И если я принесу оттуда, скажем... предмет, никто не сможет оспорить мое законное право. Ах!

Никогда собственность не будет столь абсолютна, так как предполагаемый... предмет не обязан своим происхождением ни природе, ни индустрии.

Я продолжал размышлять в том же духе, и на волнах моей аргументации лихо понеслись скопления фраз и плавающие островки этических постулатов. Разумеется, я вполне уверил себя, что воровство в переулке святой Берегонны не может считаться таковым на Моленштрассе.

Утомленный от этой галиматии, я счел тему исчерпанной. Достаточно обмануть бдительность загадочных обитателей переулка или вообще той сферы, в которую ведет переулок.

Полагаю, что конкистадоров, швыряющих золото Новой Индии в злчных местах Мадрида и Кадиса, мало беспокоила реакция далеких ограбленных племен.

Завтра же я отправляюсь в неведомое.



Клингбом заставил меня потерять время.

Он, конечно, дежурил в маленьком квадратном холле, откуда вели двери в лавку и контору.

Когда я проходил мимо, опустив голову и сжав зубы, мобилизованный для броска в авантюру, он схватил полу моего пальто.

— Ах, господин профессор, — залебезил он, — напрасно я вас подозревал. Это вовсе не вы! А я-то, дурак, слепец! Она удрала, господин профессор, нет, не с вами, успокойтесь, вы порядоч-

ный человек. Удрала с почтальоном, а ведь это просто, позвольте заметить, помесь кучера с писарем. Какой позор для торгового дома!

Он увлек меня в заднюю каморку и налил ароматной апельсиновой водки.

— И только представить, что я подозревал вас, господин профессор. Думал, вы поглядываете на окна моей жены, а вы-то прицеливались к жене торговца семенами.

Дабы скрыть замешательство, я высоко поднял стакан.

— Так, так, — подмигнул Клигблом, наливая другую порцию светлокорицевого напитка, — удачи вам, господин профессор. Этот мерзкий тип не нарадуется на мое горе.

Он снова подмигнул, прищурился, улыбнулся.

— Хочу вам сделать сюрприз. Дама ваших грез сейчас ухаживает за гортензиями в своем садике. Пойдемте.

Он увлек меня по винтовой лестнице к слуховому оконцу. Среди строений винокурни, над которыми плыли ядовитые испарения, теснились какие-то дворики, жалкие садики, разбегались грязные ручейки. Следовательно, в эту перспективу под немислимым углом врезался немислимый переулок. С моего наблюдательного пункта виднелись только трубы, дистилляторы и чуть далее — грядки, где склонялась и разгибалась худая женская фигура.

Последний глоток апельсиновой водки придал мне столько смелости, что, покинув Клингбома, я без колебаний свернул в переулок святой Берегонны.



Три маленькие желтые двери в белой стене... Черно-зеленый силуэт калиновых ветвей и три маленькие двери... Это выглядело бы трогательно на детском рисунке, изображающем, например, обитель фламандских бегиннок, но здесь производило впечатление странное и тягостное.

Мои шаги отдавались звонко и ясно.

Я постучал в первую дверь и услышал долгое эхо.

Улочка сворачивала метрах в тридцати.

Неизвестное приоткрывалось скупое, нехотя, осторожно. Может быть, на сегодня хватит с меня двух замазанных известкой стен и трех дверей? И всякая запертая дверь не таит ли искушения сама по себе?

Я ударил три раза с нарастающей силой. Эхо отозвалось гулко, рассыпалось в неопределенных звуках, отразилось в молчании коридоров — возможно, длинных и глубоких. Шорох легких шагов; нет — обман ожидающего, взбудораженного слуха.

Я осмотрел замочную скважину и подивился ее феноменальной... обыкновенности. Только накануне мне пришлось повозиться с дверью своей

квартиры, и в конце концов я справился с помощью согнутой проволоки.

Немного вспотел лоб, немного застыдились сердце. Вытащил из кармана эту пустяковую отмычку и сунул в замочную скважину.

Дверь отворилось совсем просто, совсем бесшумно.



И теперь я в своей комнате, среди своих книг: на столе — красная лента, случайно оброненная Анитой, в судорожно сжатой руке — три серебряных талера.

Три талера!

Как назвать человека, собственной рукой убивающего собственную фортуна?

Новая вселенная раскрылась только для меня одного. Чего ждал от меня этот мир, более загадочный, нежели галактики, сокрытые в необъятных космических глубинах?

Тайна обольщала, улыбалась, словно юная девушка. А я оказался... воришкой.

Глупость, идиотизм, безумие.

Я оказался...

Но три талера!

Авантюра обещала столько чудес, столько...

Три талера антиквар Гокель мне отсчитал с недовольной и брезгливой физиономией. Три талера за украшенное чеканкой блюдо. Но это улыбка Аниты.

Я бросил их в ящик. В дверь постучали: вошел Гокель.

Неужели это тот самый антиквар, который презрительно пододвинул металлическое блюдо к разному деревянному хламу, что валялся на конторке?

Он кланялся, потирал руки, беспрерывно менял «господина доктора» на «господина учителя», поскольку произносил мое имя с трудом.

— Увы, господин доктор, свершилась непростительная ошибка. Блюдо стоит много больше.

Он вытащил кожаный кошель с медными застежками: блеснула хищная ослепительная усмешка золота. Потом внимательно посмотрел на меня.

— Если достанете что-нибудь из того же источника... я хочу сказать, вещи подобного рода...

Понятная оговорка. Очевидно, антиквар не пренебрегал скупкой краденого. Я сделал вид, что задумался.

— Видите ли, один мой друг, весьма сведущий коллекционер, попал в трудное положение — необходимо заплатить срочные долги. Поэтому он решил кое-что продать из своей коллекции. Разумеется, ему неудобно заниматься этим самому. Он скромный кабинетный человек, и без того расстроенный тем, что пришлось потревожить собрание. Я вызвался ему помочь и, по возможности, уберечь от волнений, связанных с продажей вещей.

Гокель согласно и радостно кивал. Казалось, он был в восторге от моего великодушия.

— Это называется святым словом «дружба». Ах, господин доктор, я перечитаю сегодня вечером *De Amicitia*¹ Цицерона с двойной радостью. Знаете, мне хочется быть для вас таким же другом, каким вы стали для удрученного коллекционера. Я куплю все, что ваш друг пожелает предложить, и заплачу столько, чтобы хватило и на вашу долю.

Здесь меня одолело любопытство.

— Я не удосужился рассмотреть блюдо. Впервые, это меня не касается, и потом, я ведь не знаток. Византийская работа, не так ли?

Озадаченный Гокель почесал подбородок.

— Как вам сказать... Трудно определить достоверно. Византийская? Да, возможно... Необходимо детальное изучение. Но главное, — закончил он деловито, — эту вещь купят, и купят с удовольствием.

И через минуту добавил тоном, исключаяющим всякую гадательную болтовню:

— Это главное для нас с вами... ну и, конечно, для вашего друга.

Поздно вечером я провожал Аниту по голубым лунным улицам до Голландской набережной, до ее потонувшего в сирени домика.

Теперь надо рассказать, как мне досталось это блюдо, проданное столь странным способом. Блю-

¹ О дружбе (лат.).

до, благодаря которому мне довелось провожать самую божественную девушку в мире.



Дверь открылась в длинный коридор. Я прошел по каменным плитам, сообразуясь с неверным светом большого треснутого окна. Первое впечатление от обители фламандских бегиннок усилилось, когда я попал в просторную кухню со сводчатым потолком, где пахло мастикой и стояла простая, добротная мебель.

Это зрелище так успокоило меня, что я довольно громко воззвал:

— Эй! Есть кто-нибудь наверху?

Гулкий резонанс, никакого ответа, никакого присутствия.

Должен сознаться, меня ничуть не удивило молчание и безлюдье дома, словно я нечто подобное ожидал.

Более того: с тех пор как я заметил существование таинственной улочки, мысли о возможных обитателях мне и в голову не приходили.

И тем не менее я вел себя как ночной грабитель, хотя и не соблюдал ни малейших предосторожностей: без стеснения рвал на себя ящики, где хранился скудный запас салфеток и скатертей, свободно ходил по комнатам, не опасаясь шума собственных шагов.

И повсюду лишь самая необходимая утварь, самая простая мебель. Строгий, почти монастырский уклад. Радовала глаз лишь великолепная дубовая лестница, которая...

Нет, здесь все-таки был повод для удивления. Эта лестница никуда не вела.

Верхние ступени примыкали к стене столь естественно, что, казалось, за каменной преградой лестница продолжала свое восхождение.

Матовые стекла потолочных витражей рассеивали сияние цвета слоновой кости. Вдруг мне представился на стене безобразный, неопределенный, ломаный силуэт. Приглядевшись внимательно, я понял, что это лишь прихотливый прочерк трещин на штукатурке, аналогичный монстрам, которые иногда рождаются в облаках или на узорах занавесей. Впрочем, это недолго тревожило меня: повернув голову еще раз, я не увидел ничего, кроме хаотически разбегающихся линий.

Я вернулся в кухню и подошел к забранному решеткой окну: ничего. Темный квадратный дворик меж огромных замшелых стен.

Блюдо на серванте привлекло мое внимание. Может быть, за него хоть что-нибудь дадут? Со вздохом я засунул его под пальто.

Разочарование, досада, злоба. Такое чувство, словно разбил копилку ребенка или залез в старухин чулок.

Я пошел искать Гокеля, антиквара.



Три дома. Совершенно одинаковые. И в каждом доме — чистая кухня, тусклая мебель, бледный холодный сумрак, полное спокойствие и нелепая лестница, уходящая в нелепую стену. И в каждом — блюдо, украшенное чеканкой, подсвечники... идентичные.

Я их забирал и...

На следующий день находил на том же месте. Гокель покупал, расплачивался, улыбался.

Безумие. Монотонное безумие турникета, вращающегося дервиша.

Воровать постоянно, в том же доме, при тех же обстоятельствах те же самые предметы. Мстит ли таким способом неизвестность — простая и прозрачная? Не свершаю ли я первого круга осужденного на вечную пытку?

И не грядет ли вообще осуждение вечным, неизбывным повтором греха?

Однажды я не пошел, решил на время воздержаться от жалких своих экскурсий. Золото не переводилось — Анита нежила меня и ласкала.

В этот вечер Гокель сделал мне визит, спросил, нет ли чего на продажу, обещая заплатить дороже, и, узнав о моем решении, соорудил недовольную гримасу.

— Господин Гокель, — полюбопытствовал я, — вы, надо полагать, нашли постоянного покупателя?

Он медленно повернулся и посмотрел мне прямо в глаза.

— Да, господин доктор. Я ничего не говорил, поскольку и вы не откровенничали насчет вашего... друга.

Он прибавил серьезно и задумчиво:

— Приносите эти вещи каждый день. Скажите сразу, сколько золота вы хотите, и я выложу не торгуясь. Мы попутчики, господин доктор. Вероятно, когда-нибудь придет время расплаты, но сейчас поживем в свое удовольствие: у вас — красивая девушка, у меня — деньги.

Больше мы не беседовали на эту тему, но увы: Анита требовала еще и еще — золото антиквара никак не могло насытить ее нежных беспокойных пальцев.

Однажды атмосфера улочки изменилась, если можно так выразиться.

Послышались мотивы, мелодии.

Музыка далекая и чудесная — так, по крайней мере, казалось. Я собрал все свое мужество, намереваясь дойти до поворота, чтобы узнать...

И когда миновал третью дверь и предполагал вступить в запретную зону, сердце сжалось от унижительного, неодолимого страха, губы задрожали и ноги обмякли.

Я обернулся: пройденная дорога была видна, но казалось, что она заметно сузилась. Я рисковал слишком углубиться в переулок святой Бере-

гонны, навсегда, быть может, потерять связь с привычным миром. Однако я побежал вперед, неожиданно для себя, презрев себя, побежал, потом прыгнул и пригнулся, словно мальчишка, нырнувший за изгородь.

Медленно поднял глаза.

Разочарование хлестнуло, как пощечина. Улочка впереди снова сворачивала, но перед новым поворотом виднелась... белая стена, три маленьких двери и калиновый куст.

Я хотел было вернуться восвояси, но в этот момент повеяло певучим рокотом, нарастающим приливом звуков.

Я выпрямился, вернее сказать, застыл, вслушиваясь, стараясь анализировать.

Прилив? Да, пожалуй. Сложные, напряженные, нарастающие модуляции, отчужденная, гулкая безмерность... все это действительно напоминало шум далекого моря.

Откуда возникла первоначальная идея гармонических созвучий? Сейчас пространство пронизывали острые диссонансы, свистящий, хриплый вой, спазматические рыдания, бешеные стоны.

Случается, первые весточки отвратительного запаха бывают не лишены приятности. Вспоминаю, что как-то рано утром по выходе из дома мои ноздри защекотал запах жареного мяса. «Блаженны эпикурейцы, готовящие жаркое спозаранку», — подумал я. Но шагов через сотню в нос ударила тошнотворная вонь паленой шерсти. Ока-

зывается, загорелись материи в лавке суконщика. Так и здесь: меня, очевидно, обманула иллюзия гармонии, певучая интродукция душераздирающего хаоса.

«А если рискнуть пройти дальше, завернуть за угол?» — мелькнула искуссительная мысль. Я почти перестал ощущать ступор, боязливую инерцию, ноги постепенно обрели привычную деловитость и спокойно преодолели отрезок пути, чтобы глазам в третий раз явилась... прежняя картина.

Ожидание, возбуждение, любопытство — все это растворилось в горькой озлобленности.

Три одинаковых дома, еще три одинаковых дома.

Только открыв самую первую дверь, я приобщился к тайне. Более чем скромной.

Озлобленность подстегнула угасающую решимость: я зашагал быстрее, совершенно измученный стерильной галлюцинацией пейзажа.

Поворот, три маленькие желтые двери, калиновый куст, новый поворот, три маленькие двери в белой стене, рваный, угловатый, мертвый рисунок ветвей. Это напоминало неумолимую повторяемость цифровой комбинации. Я шел уже полчаса, голова кружилась, тело механически напряглось, движение и неподвижность потеряли различие.

И вдруг, завернув за очередной угол, я заметил нарушение кошмарной симметрии: возле трех

дверей и калинового куста возвышался деревянный портал какого-то жуткого мыльного цвета. И здесь мне стало страшно.

Шорохи, шепоты, стенания, угрожающие голоса.

Я повернулся и побежал к Моленштрассе. Повороты повторялись, словно куплеты тягучего, жалобного распева: три двери — калиновый куст, три двери — калиновый куст...

Наконец забрезжили первые фонари знакомого мира. Но зловещие шепоты и хриплый угрожающий говор преследовали меня до мостовой Моленштрассе. Там они растворились, рассыпались, разбились в вечернем гомоне людной улицы, хотя некоторые — самые настойчивые и пронзительные — проскрежетали в детской хоровой песне.



Ужас, бесконечный, безымянный ужас разъедает город.

Не стоило бы в коротких записках, касающихся меня одного, упоминать об этом, если б не твердая уверенность: таинственная улочка связана с еженощными кровавыми преступлениями в городе.

Более ста человек исчезли бесследно. Сто других были убиты и жестоко изувечены.

Прочертив на городском плане извилистую пунктирную линию, долженствующую изображать улочку святой Берегонны — загадочный след иного пространства в нашей земной жизни, — я

констатировал в смятении и панике, что все преступления совершаются поблизости от этого пункта.

Несчастный Клингбом исчез одним из первых. По словам приказчика, он буквально испарился в тот момент, когда вошел в рабочее помещение. Жену торговца семенами похитили, когда она возилась в своем чахлом садике, а ее мужа нашли в сушильне с проломленным черепом.

Сообщения о новых преступных казусах не оставляли места сомнению: исчезновения можно было объяснить только переходом в иное пространство, что касается убийств — ведь это пустяки для незримых существ.

Из дома на улице Старой Биржи пропали все жильцы. На Монастырской нашли два, четыре, затем шесть трупов. На Почтовой — пять исчезновений и четыре убийства. Подобное, говорят, ограничивалось Дайхштрассе — последней улицей, где убивали и похищали.

Я прекрасно понимал, что поделиться с кем-либо своими выводами — значит, собственноручно распахнуть двери Кирхенхауза, смрадного склепа безумцев, могилы, не знающей ни единого Лазаря. В лучшем случае суеверная толпа растерзала бы меня на куски как чернокнижника и колдуна.

Но когда я возвратился после очередной монотонной экскурсии, ненависть пробудилась во мне, рисуя смутные планы отмщения.

— Гокель, — убеждал я себя, — знает больше меня. Надо рассказать ему все откровенно и тем самым завоевать его доверие.

И все же этим вечером, когда Гокель кончил отсчитывать золотые монеты, я так и не решился ничего сказать: антиквар ушел, бросив на прощанье несколько вежливых слов, без всякого намека на странную авантюру, связующую нас.

И однако чувствуется ускорение событий, приближение урагана, который, возможно, разорвет в клочья мою слишком спокойную жизнь.

И это объясняется не только полной отчужденностью и зловещей атмосферой переулка святой Берегонны: я все более и более проникаюсь уверенностью, что мирные маленькие дома — только маска беспощадного, чудовищного лика.

До сих пор, несомненно к счастью для себя, я бывал там в дневное время — не знаю почему, но одна лишь мысль о вечернем посещении приводила меня в дрожь.

Однажды я запоздал, увлекшись поиском «нового», то есть опрокидыванием ящиков, отодвиганием мебели, возней с разного рода задвижками и т. п. И «новое» отозвалось вкрадчивым шорохом, тихим стуком, медленным, назойливым скрипом тяжелой неповоротливой двери. Я поднял голову: опаловое освещение растворилось в сером, пепельном сумраке. Потолочные витражи помрачнели, резкая тень означилась на полу.

И хотя сердце сжалось, я продолжал с жадным напряжением вслушиваться в подступающий вечер. Любопытство пересилило страх: я поднялся по лестнице, чтобы оглядеться и распознать причину шума.

Темнота сгущалась. Через минуту тяжкий скрип повторился, раздробившись в удивительном резонансе этого пространства. Но прежде чем пролететь по ступеням и удрать, я заметил...

Стены больше не было.

Лестница обрывалась в пустоту, в какую-то бездонную шахту, высеченную, казалось, в черной гранитной неприступности ночи. По уступам стелился, тянулся, карабкался слоистый живой туман, принимающий гротескно-человеческие формы...

Я толкнул плечом входную дверь — позади что-то грохнуло и разбилось вдребезги.

Я бежал, как никогда в жизни. Еще немного... спасительные огни Моленштрассе... Вдруг чья-то крепкая рука схватила воротник.

— Ты часом не с луны свалился?

Я сидел на мостовой Моленштрассе. Рядом, потирая лоб, стоял матрос и смотрел на меня с изумлением. Мое пальто было разодрано, шея кровоточила. Не теряя времени на извинения, я дал ходу, оставив негодующего матроса, который кричал, что коли так беспардонно налетаешь на человека, надо, по крайней мере, угостить его выпивкой.



Анита бесследно исчезла.

В слезах, в отчаянии проклиная бесполезное золото.

Но ведь Голландская набережная далека от опасной зоны. Господи! Похоже, я переусердствовал в нежной заботливости.

Не я ли, без упоминания об улочке, показал однажды своей подруге пунктирную линию на плане, присовокупив, что опасная сфера пролегает близ этой кривой?

Глаза Аниты странно заблестели тогда.

Неужели я мог забыть про неистребимый дух авантюры, оживлявший ее предков и несомненно бунтующий в ее крови!

Вероятно, в тот самый момент женской своей интуицией она угадала связь между моим неожиданным богатством и этой криминальной топографией.

Моя жизнь кончена.

Новые убийства, новые исчезновения...

Анита унесена бешеной, кровавой волной.

Случай с Гансом Менделем заставил призадуматься: быть может, эти существа — «скользящие и дымообразные», судя по его словам, быть может, они... уязвимы?

Сам по себе Ганс Мендель ни в коей мере не заслуживал доверия, ибо зарабатывал на жизнь прибыльным ремеслом шулера и бандита. Но Мендель — свидетель.

Его нашли рядом с двумя окровавленными трупами, и в карманах обнаружили часы и кошельки убитых.

Его вина считалась бы доказанной, если б он сам не лежал поблизости искалеченный, с оторванными руками.

И поскольку он отличался мощным телосложением, то прожил достаточно, чтобы ответить на торопливые вопросы священников и полицейских.

Его признания сводились к следующему: в течение нескольких дней он регулярно следовал за черным, туманным силуэтом, призраком, который убивал людей: он — Мендель — обчищал карманы убитых.

В день своего несчастья он увидел в лунном свете посредине Почтовой улицы черное, человекоподобное, извивающееся, как дым, существо. Он спрятался в пустой полицейской будке и занялся наблюдением. Появилось еще несколько гибких, дымообразных силуэтов: они скользили, извивались, подпрыгивали, как детские мячи, потом пропали. Тотчас послышались голоса и показались два молодых человека. Черный туман не сгушался более, однако люди внезапно рухнули на мостовую и остались недвижны.

Мендель сделал любопытное признание: он наблюдал уже не менее семи подобных случаев, и всякий раз преступление совершалось аналогично.

И всякий раз он выжидал некоторое время и потом обшаривал карманы мертвецов.

Поистине, хладнокровие этого субъекта было бы достойно лучшего применения.

И вот, завершая свое последнее дело, он в ужасе заметил, что черный туман восстал над ним, заслонив луну.

Туман затрепетал, закрубился и принял чудовищное, угловатое человеческое очертание.

Мендель побежал к будке — поздно: это ринулось на него. Однако бандит отличался незаурядной силой: он размахнулся, и кулак, по его словам, встретил нечто осязаемое, напоминающее резкую струю воздуха.

Таков конец истории — ужасающие раны дозволили ему жить не более часа.

Мысль об отмщении за Аниту прочно засела в моем мозгу. Гокелю я объявил:

— Хватит. Я хочу отомстить, и вашего золота мне не нужно.

Он вскинул на меня проницательные глаза. Я повторил:

— Хочу отомстить. Вы поняли?

Его лицо озарилось неожиданной улыбкой.

— И вы полагаете, господин доктор, «они» исчезнут?

Я велел ему приготовить тележку с несколькими вязанками хвороста, бочонком пороха и бутылью спирта и оставить утром на Моленштрассе без провожатого и без присмотра. Антиквар низко склонился, как преданный слуга, и сказал только:

— Да поможет вам Бог! Да поможет вам Бог!



Предчувствую, что сейчас напишу последние строки этого дневника. Я навалил несколько вязанок хвороста у большого портала, оставил по вязанке у каждой маленькой двери, полил спиртом, просыпал тонкую пороховую дорожку, напихал хворосту даже в трещины стен.

Таинственные многозвучия заволновались вокруг: различались угрюмые жалобы, отвратительные, тоскливые визги, почти человеческие рыдания, хриплая разноголосица. Меня воодушевляла радость близкого торжества, ибо паническое безумие исходило от них.

Они видели ужасную мою работу и ничем не могли помешать: только по ночам — и я давно это понял — освобождался властительный кошмар их бытия.

Вынул спички, помедлил минуту и чиркнул.

Судорожные, глухие стоны сплелись единым гулом. Калиновые кусты задрожали от ветра, рожденного где-то в сердцевине ветвей.

Захрустели нервные синие огоньки, бесшумно воспламенился порох.

Я бросился бежать по извилистой улочке от поворота к повороту: голова кружилась, словно я спускался вприпрыжку по винтовой лестнице, уходящей глубоко под землю.



Дайхштрассе и весь соседний квартал в пламени.

Я стою у своего окна, озаренный огненным сполохом. При сухой и жаркой погоде воду добыть непросто: трещат балки, обваливаются крыши, по мостовым рассыпаются искристые сизые головни... беспрепятственно.

Пылает один день и одну ночь, но огню еще далеко до Моленштрассе.

Далеко до переулка святой Бергонны и дрожащих калиновых кустов.

Новая тележка с хворостом, доставленная заботами Гокеля.

В окрестности — ни души. Пожар, как пленительный спектакль, собрал всех жителей.

Я методически сворачиваю за каждый угол, наслаждаюсь чернотой политого спиртом хвороста, мрачной изморозью пороха и... пораженный, останавливаюсь.

Три маленьких дома, три вечных маленьких дома горят красивым и спокойным желтым пламенем в недвижном воздухе. Буйная стихия, укрупненная неведомым пространством, струится вверх тихо и величаво, как церковные свечи. Очевидно, здесь проходит граница багрового бедствия, уничтожающего город.

Отступаю, усмиренный и подавленный, перед умирающей тайной.

Моленштрассе совсем близко: вот и первая дверь, которую я открыл пустяковой отмычкой

несколько недель назад. Здесь разожгу последний костер.

Оглядываю последний раз коридор, строгую мебель гостиной и кухни, лестницу, что по-прежнему уходит в стену, — такой знакомый, чуть ли не близкий интерьер.

— Что это?

На блюде, которое я столько раз похищал и находил на следующий день, лежат исписанные листы бумаги.

Элегантный женский почерк.

Забираю и сворачиваю в рулон. Последняя кража на таинственной улочке.

— Что это?

Стрейги! Стрейги! Стрейги!



...Так кончается французский манускрипт. Заключительные слова, обозначающие беспощадных духов ночи, набросаны судорожно и наискось. Так пишут люди, застигнутые ураганом, надеясь, вопреки всему, что записка не утонет вместе с кораблем.



Я прощался с Гамбургом.

Знаменитые достопримечательности — Санкт-Пауль, Циллерталь, нарядную Петерштрассе, Альтону с ее живописными лавчонками, где торгуют шнапсом и еще Бог знает чем, — все это я

покидал без особой грусти. С большей охотой я направился в старый город, где запах свежего хлеба и свежего пива напоминал любимые города моей юности. Проходя по какой-то совершенно пустой улице, я обратил внимание на вывеску: «Локманн Гокель. Антикварная торговля».

Я с любопытством осмотрел всевозможные украшения и безделушки, купил старинную, ярко расписанную баварскую трубку; владелец держался весьма любезно и, перекинувшись с ним парой безразличных фраз, я спросил, знакома ли ему фамилия *Архипетр*. Нездоровое и бледное лицо антиквара побелело настолько, что показалось в вечернем сумраке, будто его высветил изнутри какой-то мертвенный огонь.

— Ар-хи-петр, — прошептал он. — Как вы сказали? Боже, что вы знаете?

Не было ни малейшего резона делать секрет из этой истории, найденной в гавани, в развале старых бумаг.

И я рассказал.

Он долго смотрел утомленными глазами, как посвистывало и пританцовывало пламя в причудливом газовом рожке.

И когда я заговорил об антикваре Гокеле, он нахмурился.

— Это был мой дед.

По окончании рассказа кто-то тяжело вздохнул. Собеседник повернул голову.

— Моя сестра.

Я привстал и поклонился молодой и миловидной женщине. Она слушала меня, сидя в темном углу, в гротескном изломе теней.

Локманн Гокель провел ладонью по глазам.

— Почти каждый вечер наш дед говорил с нашим отцом на эту фатальную тему. Отец счел возможным посвятить нас, а теперь, после его смерти, мы с сестрой обсуждаем это между собой.

— Но простите, — прервал я беспокойно, — теперь мы с вами можем кое-что разузнать насчет таинственного переулка, не так ли?

Антиквар поднял руку.

— Послушайте! Альфонс Архипетр преподавал французский язык в Гимназиуме до 1842 года.

— Да? Неужели так давно?

— Это был год великого пожара, уничтожившего Гамбург. Моленштрассе, прилегающий квартал, Дайхштрассе сгорели дотла, превратились в груды раскаленных углей.

— И Архипетр?

— В том то и дело! Он проживал на Блейхене, в другой стороне. И во вторую ночь бедствия, в ужасную, сухую и жаркую ночь на шестое мая его дом загорелся — единственный, заметьте, — остальные чудом уцелели. Очевидно, он погиб в пламени; во всяком случае, его не нашли.

— Удивительно... — начал я.

Локманн Гокель не дал мне закончить. Он, видимо, обожал отвлеченные умозаключения, ибо тут же пустился в широкие научные обобщения.

По счастью, в его монологе попадались кое-какие интересные меня факты.

— Самое удивительное во всей этой истории — это концентрация времени, равно как и пространства, в роковой протяженности переулка святой Берегонны. В городских архивах упоминается о жестокостях, творимых бандой таинственных злодеев *во время пожара*. Зверские убийства, грабежи, паническое безумие толпы — все это соответствует истине. Однако, заметьте, кошмарные эти преступления свершились *задолго до бедствия*. Теперь вы понимаете: я разумею контракцию, сжатие пространства и времени.

Антиквар чрезвычайно воодушевился.

— Современная наука преодолела эвклидовы заблуждения. Весь мир завидует нашему соотечественнику — замечательному Эйнштейну. Ничего не остается, как с трепетом и восхищением признать фантастический закон контракции Фитцджеральда-Лоренца. Контракция, майн герр, ах, сколько глубины в этом слове!

Беседа принимала скучный и расплывчатый характер.

Молодая женщина бесшумно вышла и через минуту вернулась с бокалами золотистого вина. Антиквар приподнял свой бокал, и неверный свет газового рожка, разбившись о стекло, рассеялся разноцветной дрожью по его сухой, тонкой руке.

Он прервал свои научные восторги и вернулся к отчету о пожаре.

— Мой дед и другие очевидцы рассказывали, что зеленые пламена гудели, бились и рвались к небу из обугленных развалин. Люди с буйным воображением видели даже очертания исполинских женских фигур с угрожающе раскинутыми пальцами.

...Вино отличалось дивным своеобразием. Я выпил свой бокал и улыбнулся энтузиазму антиквара.

— Зеленые огненные змеи стиснули и буквально пожрали дом Архипетра. Пламя рычало и завывало так, что многие умирали от страха на улице...

Я рискнул перебить:

— Господин Гокель, ваш дед ничего не рассказывал о загадочном коллекционере, который каждый вечер приходил покупать те же самые блюда и те же самые подсвечники?

За него ответил тихий, усталый голос, и слова почти совпадали с финалом немецкого манускрипта:

— Старая женщина необычайно высокого роста. У нее были страшные, отрешенные глаза рептилии, спрута... Она приносила столько золота и такого тяжелого, что наш дед лишь в четыре приема укладывал его в сейфы.

Сестра антиквара задумалась, потом продолжала:

— Когда появился профессор Архипетр, наш дом переживал трудные времена. С тех пор мы

разбогатели. Мы и сейчас богаты... очень богаты золотом этих кошмарных порождений вечной ночи.

— Они растворились, пропали навсегда, — прошептал Локманн Гокель и наполнил наши бокалы.

— Нет, не говори так. Они никогда не уйдут от нас. Вспомни о тягостных, невыносимых ночах. Единственная надежда... я знаю... подле них пребывает душа человеческая. Они почему-то привязаны к ней и, может быть, она заступает за нас.

Ее прекрасные глаза широко раскрылись, но, казалось, созерцали бездонную черную пропасть.

— Кати! Кати! — воскликнул антиквар. — Ты опять видела?..

Ее голос понизился до хрипоты:

— Каждую ночь они здесь. Вплывают вместе с дремотой и вселяются в мысли. О, я боюсь снов, мне страшно засыпать.

— Страшно засыпать... — словно эхо повторил ее брат.

— Они сгущаются в сиянии своего золота, которое мы храним и любим, несмотря ни на что; они незримой тьмой окружают любую вещь, купленную ценой inferнального золота... Они возвращаются и будут возвращаться, пока мы существуем и пока существует эта земля скорби.

Великий Ноктюрн

I

Карильон примешивал бронзовую свою капель к шуму западного ливня, который с утра безжалостно хлестал город и окрестности.

Теодюль Нотт следил, как, постепенно удлиняя вечернюю улицу, рождалась звезда за звездой — невидимый фонарщик явно не торопился, да и к чему? Теодюль раскрутил зубчатое двойное колесико лампы Карсея, что стояла в углу конторки, заваленной рулонами плотной тусклой материи и блеклых ситцев.

Пухлый огненный бутон осветил пыльную лавку с коричневыми, изъеденными древоточцем полками.

Для галантерейщика вечернее зажигание огней означало традиционную остановку времени.

Он мягко открыл дверь, дабы не дать особенно резвиться колокольчику, и, поместившись на пороге, с удовольствием вдохнул влажный уличный запах.

Вывеска, намалеванная на огромной бобине листового железа, предохраняла его от водяной струи, бьющей из пробитого водостока.

Повернув спину рабочему дню, закурил красную глиняную трубку — он опасался курить в лавке — и принялся разглядывать возвращающихся домой прохожих.

— Месье Десме уже на углу улицы Канала. Так. Сторож на каланче может проверять городские часы по месье Десме — это человек респектабельный и обязательный. Мадмуазель Бюлю запаздывает. Обычно они пересекаются у кафе Тромпет... туда месье Десме заходит только по воскресеньям после одиннадцатичасовой мессы. Ах! Вот и она... Они будут здороваться перед домом профессора Дельтомба. Когда нет дождя, они на минутку задерживаются и разговаривают о погоде и болезнях. И собака профессора лает... Так уж заведено. А сейчас...

Галантерейщик вздохнул. Его беспокоило малейшее нарушение порядка вещей. Октябрьский вечер опустился на крыши Гама. Тлеющий огонек трубки отметил розовым высветом подбородок месье Нотта.

Желтые колеса фиакра свернули на мост.

— Месье Пинкер запаздывает... Все. Трубка сейчас погаснет.

Трубка с маленькой чашечкой вмещала только две щепотки добротного фламандского табаку.

Колечко дыма выползло и, медленно изгибаясь, растаяло в темноте.

— Вот так удача! — возликовал курильщик. — А ведь случайно получилось. Надо будет рассказать месье Ипполиту.

Так кончался рабочий день Теодюля Нотта и начинались часы отдыха, посвященные дружбе и наслаждению.

Тук, тук, тук.

Железный наконечник трости стучал все ближе, возвещая прибытие Ипполита Баеса. Всегдашний просторный редингот и безукоризненная шляпа. Вот уже тридцать лет он каждый вечер приходил сыграть партию в шашки в галантерею «Железная катушка» и его точность неизменно восхищала Теодюля. Они перекинулись парой слов, задрали головы, дабы посмотреть скорость движения западных туч, предсказали погоду на завтра и вошли в лавку.

— Надо закрыть ставни.

— Стучи кто хочет, мы в эфире! — продекларировал Баес.

— Я отнесу лампу.

— Светильник златоцветный! — уточнил месье Ипполит.

— Сегодня вторник, значит, мы ужинаем вместе, а уж потом я вас побью в шашки, — обещал Теодюль.

— Нет, друг мой, я серьезно рассчитываю на победу...

Эти вечные фразы, произносимые столько лет подряд одинаковым тоном, сопровождаемые одинаковыми жестами, вызывающие идентичную реакцию комизма и серьезности, давали двум старикам уверенность в их полной несокрушимости.

Люди, которые покоряют время и не разрешают завтрашнему дню отличаться от вчерашнего, — такие люди сильнее смерти. И хотя Ипполит Баес и Теодюль Нотт не высказывали подобных мыслей, они чувствовали это как глубочайшую и величайшую истину.

В настоящий момент лампа Карселя освещала столовую — очень маленькую и очень высокую.

Однажды месье Нотт сравнил ее с трубой и ужаснулся точности сравнения. Но как таковая, с потолком, исчезающим в таинственном сумраке, где маячил лунный блик лампы Карселя... она весьма и весьма нравилась обоим друзьям.

— Точно девяносто девять лет тому назад моя матушка родилась в этой комнате, — вспоминал Теодюль. — В те времена комнаты второго этажа снимал капитан Судан. Да, сто лет минус один год, а мне стукнуло пятьдесят девять. Матушка вышла замуж в рассудительном возрасте. Сына даровал ей господь на сороковом году.

Месье Ипполит принялся загибать короткие толстые пальцы.

— Мне сейчас шестьдесят два. Я знал вашу мать, святую женщину, и вашего отца, который приделал вывеску к «Железной катушке». У него

была прекрасная борода и он любил хорошее вино. Еще я помню барышень Беер — Мари и Софи, которые посещали дом.

— Мари — моя крестная мать... Как я любил ее! — вздохнул Теодюль.

— ... и, — продолжал Баес, — я помню капитана Судана. Поистине страшный человек!

Теодюль Нотт вздохнул еще горше.

— Известно, человек особенный. Перед смертью он отказал мебель моим родителям, а уж они оставили в комнатах все как есть.

— Но ведь и вы, дорогой Теодюль, ничего не изменили.

— Упаси Боже! Вы отлично знаете... разве бы я осмелился!

— Вы поступили разумно, друг мой.

Плотный, маленький Ипполит важно покачал головой и приподнял крышку с блюда.

— Ну-с. Холодная телятина в собственном соку. А в этой фаянсовой миске, готов поспорить, куриный паштет от Серно.

Баес, конечно, выиграл пари, поскольку меню по вторникам блистало постоянством.

Они медленно вкушали от яств, осторожно пережевывали тонкие, намазанные желтым маслом тартинки, которые месье Ипполит предварительно макал в соус.

— Теодюль, вы отличный кулинар.

Комплимент, равным образом, не менялся никогда.

Теодюль Нотт жил одиноко и, будучи гурманом, тратил долгие свои досуги на приготовление всяких интересных кушаний, благо его лавка мало посещалась.

Работой по дому занималась глухая старуха — она появлялась каждый день часа на два и незаметно исчезала.

— Вперед! К трубкам, стаканам, шашкам, — возгласил месье Ипполит, облизав крем с краешков губ, — десерт состоял из айвовых пирожных.

Черные и желтые минутку постояли в боевом порядке и двинулись на геометрические перепутья.

И так каждый вечер, исключая среду и пятницу, когда месье Ипполит Баес не разделял трапезы с другом, и воскресений, когда он не приходил вообще.

Гипсовые часы прозвонили десять. Теодюль Нотт проводил друга до двери, высоко, словно факел, воздев маленький ночник толстого синего стекла, и отправился на третий этаж в комнату родителей, которая давно уже стала его спальней.

Он быстро проходил площадку второго этажа, никогда не задерживаясь у запертых дверей апартаментов капитана Судана. Эти двери — узкие и высокие — были столь черны, что даже на фоне мрачных и сизых стен казались какими-то гибельными провалами. Месье Нотт не смотрел на них, и, разумеется, не мог и помыслить их открыть, дабы любопытный ночник не вздумал своим лучом обшаривать комнаты.

Лишь по воскресеньям Теодюль Нотт входил туда.



И однако в апартаментах капитана Судана не наблюдалось ничего особенного.

В спальне стояли большая кровать с балдахином, крохотный ночной столик, два комода орехового дерева и большой, овальный, лакированный стол в черных пятнах от сигар и в кружочках от стаканов и бутылок. Но капитан, видимо, решил компенсировать тривиальную обстановку спальни основательной комфортностью салона.

Вдоль стены располагался огромный, роскошный, низкий шкаф-багот; два вольтеровских кресла тускло мерцали утрехтским бархатом; близ камина стояла массивная дубовая подставка для поленьев. Свободу передвижений затрудняли громоздкие стулья, обитые кордовской кожей, сияющие позолоченными звездочками медных гвоздиков, а также большой стол с чудесной резьбой и два маленьких секретера работы Буля. Угол занимало высокое старинное зеркало бледнозеленого отлива. Книжные полки уходили под потолок.

Для Теодюля Нотта, покидавшего дом только ради коротких визитов к поставщикам, салон капитана Судана являл молчаливый и пышный воскресный праздник.

Он заканчивал обедать со вторым ударом часов, облачался в прекрасную домашнюю куртку

с пикейным воротником, совал ноги в расшитые мягкие туфли. Праздничный наряд довершала черная шелковая ермолка на изрядно облысевшем черепе. В таком виде он почтительно входил. В салоне было душно, пахло пылью и старой кожей, но во всем этом Теодюль Нотт различал флюиды заманчивые и таинственные.

Капитан Судан? Теодюль смутно вспоминал высокого, крупного старика в порыжелом плаще, курившего тонкие черные сигары. Иное дело отец с его пышной бородой, мать — женщина худая и молчаливая, потом красивые и белокурые барышни Беер... казалось, все они ушли только вчера.

И однако более тридцати лет назад смерть распорядилась ими за сравнительно короткое время. Пяти лет оказалось достаточно, чтобы навсегда погасить эти четыре жизни, столь неотрывно связанных с его собственной.

...Собирались обычно за ужином в маленькой столовой на первом этаже, и с тех пор Теодюль приобрел вкус к разного рода кулинарным ухищрениям. По воскресным дням, когда старики и старухи Гама в черных капюшонах и накидках шествовали к вечерне в церковь св. Иакова, все четверо устраивались в салоне.

Месье Теодюль Нотт вспоминал...

Нерешительной рукой папа Нотт брал одну или две книги из библиотеки капитана. Его жена смотрела и покачивала головой.

— Оставь, Жан Батист, прошу тебя... Книги не учат ничему хорошему.

Застенчивый бородач робко протестовал:

— Стефани, разве я замышляю плохое?...

— Ну нет, разумеется. Но для чтения достаточно молитвенника и часослова. И потом, ты подаешь дурной пример ребенку.

Жан Батист Нотт, немного расстроенный, повиновался.

— Мадмуазель Софи нам сейчас споет что-нибудь.

Софи Беер откладывала многоцветное шитье, которое она приносила в большой корзинке, отделанной гранатовым плюшем, и подходила к шкафу. Наступал упоительный момент для маленького Теодюля. Этот замысловатый, шириной во всю стену шкаф-багот прятал клавесин, выдвигающийся нажатием боковой планки: стоило нажать ее снова, и клавесин уезжал обратно. Клавиши цвета ломтиков тыквы извлекали сухие, грустные, отрывистые тона.

Мадмуазель Софи приятным, чуть дрожащим голосом пела про облако:

«Откуда ты плывешь, серебряное диво...»

Или еще песню про высокую башню, ласточку и горькие слезы.

И слезы воображаемые провоцировали вполне реальные у мамы Нотт и заставляли папу Нотта беспокойно теребить красивую черную бороду.

Только мадмуазель Мари нисколько не волновалась.

Она брала Теодюля на колени, прижимала к затянутой голубым шелком груди и мурлыкала вполголоса:

— Невидимый сад трех тысяч цветов... цветов...

— А где этот сад? — спрашивал Теодюль совсем тихо.

— Не скажу. Надо его найти.

— Мадмуазель Мари, — шептал мальчик, — когда я вырасту, то женюсь на тебе и мы вместе...

— Та, та, та... — дразнилась она и целовала его в губы.

Тонким запахом цветов и плодов веяло от голубого корсажа, и Теодюль думал, что нет ничего в мире прекрасней этих округлых розовых щек, продолговатых ярких глаз и шелестящего шелкового платья.

И вот жарким июльским утром ему пришлось бросить горсть песка на ее гроб: Теодюль Нотт понял, как глубоко любил эту женщину, подругу детства его матери, старше его на сорок лет.

Как-то раз, много лет спустя после ее смерти, в одно проклятое воскресенье он открыл в потайном ящике секретера письма, свидетельствующие, что старый капитан Судан и мадмуазель Мари...

Месье Теодюль Нотт не осмелился перевести в слова ужасный образ, убивший единственное

любовное переживание его жизни: в течение восьми дней он не мог себя заставить играть в шашки и даже, к великому изумлению Ипполита Баеса, испортил филе с пюре из орехов, рецепт коего завещала матушка.

С тех пор как одинокий Теодюль жил в старинном родительском доме, это было единственным событием в его монотонном существовании, единственным... до воскресенья в марте — темного и дождливого, — когда по непонятной причине с верхней полки библиотеки капитана Судана упала книга.

II

Пожалуй, нельзя сказать, что месье Теодюль никогда не видел этой книги, но сие видение случилось давным-давно — любой другой на его месте и не вспомнил бы.

Почти полвека назад, восьмого октября... Воспоминание о восьмом октября осталось удивительно свежим в его памяти.

Впрочем, разве занимался он чем-нибудь, кроме воспоминаний? Перебирать, уточнять воспоминания — наслаждение, мечта...

Невероятное, сумасшедшее, вызывающее соленый привкус во рту... Это бросилось на него, словно кот на голову... восьмого октября, в четыре часа пополудни, по возвращении из школы.

Четыре часа — время безобидное, пахнущее кофе и теплым хлебом: четыре послеполуденных удара не причиняют вреда никому.

Служанки покидают тротуары, блистающие водой и солнечными зайчиками; старухи, истощив запас колкостей и сплетен, удаляются в кухни, где поют или ворчат веселые или сварливые чайники.

Теодюль повернулся к школе спиной с облегчением ленивого и довольного незнайки: но, тем не менее, юные мозги сверлила отвратительная арифметическая задача.

— Ну какое мне дело, когда один глупый курьер опередит другого глупого курьера? Родители и без того зарабатывают приличные деньги, лавка и без того достанется мне...

— Голуби шорника гуляют по маленькому дворику. Смотри, сколько я набрал камней... хочу подшибить сизаря.

Теодюль не ждал никакого ответа, ибо разговаривал сам с собой. Только сейчас он заметил мальчика, который солидно переступал толстенькими и кривыми ножками. Этот субъект занимал в классе одну из последних скамеек.

Теодюль задумчиво наморщил лоб.

— Вот так штука! Это, оказывается, ты. Когда я вышел из школы, со мной был Жером Майер, а теперь вот ты... Ипполит Баес.

— Майер бухнулся в сточную канаву. Разве ты не видел? — спросил юный Ипполит Баес.

Теодюль чуть-чуть улыбнулся, чтобы понравиться острослову. Правда, Ипполит считался плохим учеником, наставники его не любили и не поощряли общения с ним, но сейчас Теодюлю не хотелось идти одному.

Солнце высветлило опустелые улицы осенней апельсиновой желтизной. Голуби нагулькались, махнули на далекую крышу, и напрасные камни выкатились из рук Ипполита. Мальчики одолели довольно крутой подъем и поравнялись с темной и нелюдимой булочной.

— Погляди-ка, Баес, на витрине пусто.

В самом деле, на полках, в корзинах и плетенках валялось только несколько засохших корок. Единственный круглый хлеб цвета серой глины возвышался на витрине, словно остров в пустынном океане. Ученик Нотт поежился.

— Знаешь, Ипполит, не нравится мне это.

— Еще бы, ты ведь не смог решить задачу о курьерах.

Теодюль повесил голову. Действительно, черт бы подрал проклятую задачу, у которой, верно, вообще нет никакого решения.

— Если раскромсать этот хлеб, — продолжал Баес, — можно увидеть массу живых существ. Булочник с домочадцами жутко их боятся. Они заткнули ножи за пояс и спрятались в пекарне.

— Барышни Беер сюда приносят жарить сосиски в тесте. Отличная штука, Ипполит. Я постараюсь одну стянуть и притащу тебе...

— Не стоит трудов, булочная сгорит сегодня ночью вместе с сосисками и существами, которые живут в хлебе.

Теодюль почему-то покраснел и пробормотал: разве, мол, справедливо, если нельзя пожарить сосиски в тесте... Баес нахмурился.

— Попомни мои слова, не достанутся тебе сосиски.

И снова маленький Нотт не сумел возразить.

Странное дело: всякая мысль, даже всякая попытка поразмыслить казалась ему сейчас до крайности тягостной.

— Ипполит, мне застит глаза, да и слышу я тебя с трудом. Слава Богу, ветер не доносит запахов конюшен, я бы просто взвыл; и если муха сядет на макушку... ее шесть стальных лап просверлят череп.

В ответ раздалось невразумительное бормотание:

— План изменился... чувства бунтуют...

— Ипполит, объясни... я вижу старого Судана. Он бежит по салону и дерется с книгой!

— Так и должно быть, — рассудил Баес. — Все это совершенно естественно. Одно дело — просто видеть, а другое — видеть во времени, как ты сейчас...

Теодюль ничего не понял: дикая боль разламывала голову, присутствие соученика выводило из себя, но одиночество ужасало еще более. Он постарался подавить раздражение.

— Наверное, мы давно ушли из школы.

Ипполит осмотрелся.

— Не думаю. Тени как были, так и остались.

Справедливо. Ничуть не удлинилась тень безобразной водокачки, ничуть не вытянулась тень двуколки булочника, которая продолжала взывать к небесам вскинутыми оглоблями.

— Ах! Кто-то идет, наконец! — обрадовался Нотт.

Они медленно пересекали треугольную площадь Песочной Горы: из каждого угла выходила улица, длинная и печальная, как отводная труба.

В глубине Кедровой улицы двигался человеческий силуэт. Теодюль пригляделся внимательно: это была дама с бледным и невыразительным лицом; на темном платье мерцало немного стекляруса, из тюлевого капора выбивались седые, серые пряди.

— Я ее не знаю, — прошептал он. — Она, правда, напоминает маленькую Полину Бюлю, что живет по соседству с нами на Корабельной улице. Тихая девочка, ни с кем не играет.

Вдруг он схватил Ипполита за руку.

— Смотри!... Нет, только посмотри! Куда девалось черное платье? На ней пеньюар с крупными цветами. И потом... она кричит! Я не слышу, но она кричит. Падает... в лужу крови...

Баес отвернулся.

— Ничего не вижу.

— Да и я не вижу, — вздохнул Теодюль. — Сейчас не вижу.

Баес беззаботно пожал плечами.

— Все это находится где-нибудь во времени. Пойдем, угощу тебя розовым лимонадом.

Теперь тени очевидным образом удлинились и солнечные блики вспыхнули в окнах. Школьники ускорили шаг и прошли часть Кедровой улицы.

— Лучше выпьем оранжада, — предложил Баес. — Мне кажется, хотя напиток и розовый, это все-таки оранжад. Войдем...

Теодюль увидел маленький дом, похожий на белый и совсем новый ночной колпак. Наличники треугольных, круглых, квадратных окон отличали радужной керамикой.

— Какой забавный домик. Надо же, никогда его и не видел. Постой! Особняк барона Пизакера граничит с домом месье Миню, а этот вклинился между ними. Вот так штука! По-моему, особняк барона похудел на несколько окон.

Баес ничего не ответил и толкнул дверь, затейливо изукрашенную медными и латунными полосами. На матовом стекле кудрявились красивые буквы: таверна «Альфа».

Странная, блистающая металлом комната светилась, как сердце редкого кристалла.

Стены были сплошь из витражей неопределенного рисунка. За стеклами блуждало живое, трепещущее сияние и серебряные отражения замирали на темных пушистых коврах, на низких дива-

нах, драпированных яркой тканью, напоминающей тафту или парчу.

Маленький каменный идол со странно скошенными глазами сидел на берегу... округлого зеркала: его вывороченный пуп, высеченный в полупрозрачном минерале, являл собой кадилъницу — там еще рдел пахучий пепел.

Никого.

В матовых витринах смуглели, сгущались сумерки. Неожиданно загорелось багряное пятно, заколебалось и заметалось, словно испуганное насекомое. Откуда-то сверху доносилось журчание воды...

И вдруг у стенного витража возникла женщина: казалось, она родилась из журчания, сумерек, багряного испуга.

— Ее зовут Ромеона, — сказал Баес.

Женщина исчезла. Теодюль толком и не понял, видел ее или нет, — голова закружилась, глаза резко заболели.

Баес тронул его руку.

— Выйдем.

— Слава Богу, — воскликнул Теодюль, — хоть одно знакомое лицо. Это Жером Майер!

Его приятель сидел на верхней ступеньке у двери зерновой лавки Криспера.

— Глупец, — усмехнулся Ипполит, когда Теодюль хотел приблизиться. — Он тебя укусит. Неужели ты не отличаешь человека от крысы из сточной канавы?

И вдруг Теодюль задрожал от брезгливого страха: существо, которое он принял за Жерома, самым комическим манером запихивало в рот горсти круглых зерен и — о ужас! — лоснящийся розовый хвост хлестал его лодыжки.

— Я ведь тебе говорил: он юркнул в сточную канаву.

Они миновали гавань и вышли на знакомую улицу. Барышни Беер стояли на пороге отцовской лавки, и седая шевелюра капитана Судана виднелась в окне второго этажа. Локтем он опирался на карниз и держал в руке засаленную красноватую книгу.

— Боже мой! — вскрикнула мадмуазель Мари. — Малыш горит в лихорадке.

— Он заболел, — пояснил Ипполит Баес. — Я с трудом довел его домой. Он бредил всю дорогу.

— Я ничего не понимаю в этой задаче, — простонал Теодюль.

— Проклятая школа, — вздохнула мадмуазель Софи.

Мадам Нотт распахнула дверь.

— Скорей! Его надо уложить в постель.

Теодюля привели в комнату родителей, почему-то малознакомую и зыбкую...

Он лежал на кровати и упорно смотрел на противоположную стену.

— Мадмуазель Мари, вы видите эту картину?

— Вижу, бедняжка, это святая Пульхерия — достойная избранница господи.

— Нет, пробормотал мальчик, — ее зовут Бюлю... ее зовут Ромеона. Вообще ее зовут Жером Майер... крыса из сточной канавы...

— Несчастный, — зарыдала мадам Нотт. — Он бредит. Бегите за доктором.

Его оставили одного на секунду, лишь на секунду.

Послышались странные, глухие удары в стену. Полотно картины вздулось и затрещало.

Он хотел закричать, но это было трудно. Крик застрял в горле, вырываясь сдавленным шепотом.

Глухие удары сменились тонкими серебряными звонами. Потом лавина камней обрушилась на карниз, сломала окна, хлынула в комнату.

Занавеси изогнулись, словно пытаясь ускользнуть от огня. Напрасно. Пламя бросилось на них и сожгло в момент.



Теодюль болел долго и тяжело. Его лечили лучшие городские медики. По выздоровлении освободили от школы.

С этого дня началась многолетняя дружба с Ипполитом Баесом. Ипполит приписал лихорадке все бессвязные переживания восьмого октября.

— Ромеона... таверна «Альфа»... превращение Жерома Майера...взор, Теодюль... вздор...

— А святая Пульхерия, а каменный дождь, а занавеси в огне?

Ответственность взяла на себя мадмуазель Мари: она зажгла спиртовку, чтобы разогреть чайник. Насчет лавины камней все правильно: обвалилась часть высокого фронтона, вероятно, подточенная осенними дождями.

Глупые, дурные совпадения.

Постепенно все забылось. Только Теодюль продолжал вспоминать время от времени, но ведь воспоминания были его главным занятием в жизни.

III

Книга упала на паркет без всякой видимой причины. Правда, в последние дни ломовые телеги перевозили товары из гавани по этой улице, так что все дома дрожали, будто от мимолетных землетрясений.

Месье Теодюль сразу признал книгу в красной обложке — истрепанную и в пятнах от свечного сала. Он созерцал книгу минуты две, наклонялся, трогал дрожащими пальцами синюю шерсть ковра и, наконец, осмелился поднять.

Сначала его недоумение было велико — он игнорировал существование подобных произведений.

Книга содержала весьма распространенный трактат *«Большой Альберт»*, сокращенные *«Ключики Соломона»*, резюме работ некоего Сэмюэля

Поджера на темы каббалы, некромантии и черной магии, а также цитаты из гримуаров старых мастеров великой герметической науки.

Месье Нотт вяло ее проглядел и хотел поставить на место, но внимание привлекли вложенные между страницами рукописные листки.

Красные, порядком выцветшие строки изящной каллиграфии были начертаны на китайской рисовой бумаге. Окончив чтение, месье Теодюль отнюдь не ощутил прилива знаний: тайное и таинственное не особо его привлекало.

В рукописных листках содержались формулы заклятия и вызывания inferнальных могуществ, равно как способы вхождения в контакт с этими абсолютно чуждыми единствами. Разные старинные методы, изложенные в книге, подвергались суровой критике и даже отбрасывались как неэффективные или профанические.

По мнению неизвестного комментатора, *«...невозможно достичь сферы действия падших ангелов: для этих последних люди представляют столь мало интереса, что они не считают нужным покидать свое пространство, дабы непосредственно вмешиваться в нашу жизнь.»*

Слово «непосредственно» было написано крупными буквами.

«Но необходимо признать наличие интермедийного, связующего плана — пространства Великого Ноктюрна.»

Эти строки стояли в конце, и месье Теодюль, перевернув листок, заметил, что продолжение, которое, похоже, занимало много страниц, отсутствовало.

Месье Нотт тщетно искал в оставшихся листках каких-либо пояснений касательно весьма интригующего понятия «Великий НоктюРН» — очевидно, автор уделил этому достаточное внимание на исчезнувших страницах. Заключение не содержало ничего особенного:

«Великий НоктюРН, надо полагать, не хочет раскрывать людям секрет своего бытия, ибо в таком случае они смогут защищаться от него и тем самым ослабить его власть.»

После недолгого размышления месье Теодюль пришел к простому выводу: это существо, если даже допустить его наличие, делегировано владыками тьмы для целей неизвестных, опасных и преступных.

Он равнодушно поставил книгу на полку. Его только слегка тревожило воспоминание о пережитой в детстве лихорадке: почему все-таки книга в красной обложке мелькнула в ужасном калейдоскопе того дня?

Переждав немного, он рассказал о случившемся Ипполиту Баесу, который перелистал книгу и фыркнул, что за шесть су берется купить подобный хлам у старьевщика. Манускрипт вообще отказался смотреть и категорически объявил:

— Мы отрываем драгоценное время от игры в шашки.

В этот вечер они съели добрую четверть жареной индюшки. Данное обстоятельство могло послужить для месье Теодюля единственным объяснением последующего ночного кошмара.



Кошмар начался обыкновенно и даже не во сне.

Месье Теодюль проводил друга и отправился почивать, освещая лестницу синим ночником. Сступив на площадку второго этажа, он заметил открытую дверь салона капитана Судана и услышал едкий запах сигары. Он остановился, потрясенный: в любой другой вечер месье Теодюль скатился бы по ступенькам и вылетел на улицу... Но сегодня он выпил три стакана отменного виски, купленного в гавани у моряка.

Волшебный напиток всколыхнул его робкую душу и побудил смело войти в темную комнату. Все было в порядке, и он даже засомневался насчет сигары. Ему почудился другой запах — более нежный, более повелительный: аромат плодов и цветов.

Он осмотрел обе комнаты и, прежде чем удалиться в спальню, тщательно запер двери.

В постели у него несколько закружилась голова, но в конце концов беспокойная дремота растворилась во сне.

«Откуда ты плывешь, серебряное диво»...

Он сразу проснулся и приподнялся в кровати. От горького и сухого вкуса виски горело во рту, но никаких следов опьянения не ощущалось.

Клавесин звенел очень нежно и чисто в молчании ночи.

«Мадмуазель Софи», — подумал он. Страх не было, хотя сердце забилося сильно.

Внизу клацнула дверь и ступени зашкрипели. Кто-то неимоверно тяжело и медленно шел по лестнице.

«Это мадмуазель Мари! Да, да, совершенно точно. Она, верно, сгибается под тяжестью земли, что скопилась, слежалась за столько лет. Помнится, земля стучала о крышку гроба... плок... плок...»

Ночник светил едва-едва, но все же достаточно, чтобы различить дверь, которая открывалась... с трудом.

Тень в неторопливо расширяющейся створке, узкий лунный луч из высокого окошка в коридоре.

Кто-то шел по комнате, но Теодюль не видел инициатора шагов, несмотря на рассеянный свет.

Пружины скрипнули — кто-то устало и грузно опустился на кровать. Теодюль сразу понял — кто...

«Мадмуазель Мари. Это может быть только она».

Вес переместился, и Теодюль протянул руку к вмятине, что разошлась изгибами и складками на красном шелке одеяла.

Внезапный ужас проступил холодной испариной...

Его руку дернули, схватили, стиснули... невидимый кошмар ринулся на него...

— Мадмуазель Мари! — возопил он.

Нечто отпрянуло, вжимаясь в покрывало широкой убегающей бороздой. По краям постели темными полосами рассеклись два углубления — словно чьи-то гигантские руки вцепились растопыренными пальцами.

Он не услышал, но почувствовал прерывистое дыхание.

Внизу мелодия распалась, клавесин взвизгнул на высокой фальцетной ноте и замер.

— Мадмуазель Мари... — прошептал Теодюль.

Продолжить он не успел: обрушились на плечи и вдавили голову в подушку... руки... возможно...

Он принялся нелепо бороться с неуловимой и напряженной сущностью и каким-то диким усилием сбросил ее с кровати.

Ни малейшего шума падения. Но почему-то в его нервах отозвалась боль — чужая боль, — сумрачный враг неведомым образом пострадал.

Лунный луч скользнул ближе к постели, и Теодюль наконец разглядел... бесформенную угольно-черную массу; это была — он сразу понял — мадмуазель Мари... страдающая мадмуазель Мари.

Он понял еще и другое: ее судорожную, бешеную готовность к борьбе, в которой его, Теодюля, одолеют унизительно и жестоко. Умрет ли он? Нет, это будет куда хуже смерти. И тут звучание странное и чудесное расслышал Теодюль, угадывая блаженную прелюдию скорби... совершенно иного присутствия. Звучание угасло в молчаливой отрешенности и далеко-далеко рассыпалось жалобное арпеджио клавесина.

Угрожающая угольно-черная масса дрогнула, заклубилась и, расплзаясь по лунному лучу, постепенно исчезла. Плавная, томительная нежность обволокла напряженное сердце Теодюля: сон мягко всколыхнул его спасительной волной и опустил в свое лоно.

Но перед тем как погрузиться в роскошь забытья, он увидел высокую тень, закрывшую мерцание ночника.

Он увидел склоненную к нему гигантскую фигуру... потолок, казалось, выгнулся над ее головой... лоб пересекала диадема блистающих звезд... Ночь посерела от густоты ее тьмы: присущая ей печаль была столь глубокой, столь нестерпимой, что душа Теодюля оледенела от неведомого горя.

И таинственное откровение резануло напоследок засыпающий мозг: он понял, что находится в присутствии Великого Ноктурна.



Месье Теодюль ничего не скрыл от своего друга Ипполита и, рассказав ему все подробности, присовокупил:

— Дурной сон, не так ли? Воистину странный сон.

Месье Баес хранил молчание.

Впервые в своей жизни Теодюлю Нотту удалось наблюдать поступок старого приятеля, который никак не укладывался в размеренность ежедневности.

Маленький плотный старик поднялся на второй этаж, запер дверь салона капитана Судана и положил ключ в карман. После чего заявил:

— Я тебе раз и навсегда запрещаю туда входить.

Месье Теодюль потратил три недели на изготовление нового ключа, дабы на всякий случай... иметь возможность...

IV

Мадмуазель Полина Бюлю деликатно провела надушенной замшей по мрамору камина и спинкам стульев, протерла несколько безделушек из поддельного севрского фарфора, хотя нигде не было ни единой пылинки.

На секунду она возымела некоторое сомнение: а не заменить ли сухие лунники свежими хризантемами? Однако придется наливать воду

в тонкие и высокие вазы белого порфира, стоящие по краям камина, — сама мысль об этом ее смутила.

В ласковом свете люстры зеркало отразило малознакомый образ, ибо мадмуазель Бюлю слегка раскудрявила гладко зачесанные волосы и наложила на щеки немного розовой пудры.

Дома она обычно носила длинное грубошерстное коричневое платье несколько монашеского вида, но этим вечером на ней красовался легкий шелковый пенюар в малиновых цветочках.

В центре стола, покрытого вышитой скатертью, блистал китайский лакированный поднос.

— Кюммель, анисовый ликер, абрикотин, — прощebetала она, любясь искорками, вспыхивающими на граненых пузатеньких бутылочках.

И после минутного колебания вынула из буфета жестяную коробку, благоухающую ванилью.

— Вафельки... миндальное печенье... хрустящие палочки, — блаженно замурлыкала она, и затем деловито прибавила:

— Не так уж холодно сегодня.

Действительно, от большой люстры расходилось достаточно тепла.

Шаги на молчаливой улице. Полина Бюлю предусмотрительным пальчиком отодвинула красновато-золотистую штору.

— Это не он. Я все спрашиваю себя...

Проживая в одиночестве в своем маленьком доме на улице Прачек, она привыкла разговари-

вать сама с собой, равно как со всеми окружающими вещами.

— Накануне ли я серьезной перемены?

Она повернулась к довольно крупной терракотовой статуэтке, выделяющейся коричневым пятном на светложелтых обоях. Статуэтка изображала простоватую улыбающуюся женщину, которую скульптор назвал «Евлалией». Великий вопрос явно не потревожил безмятежности ее черт.

— Не с кем посоветоваться, решительно не с кем!

Она приложила ухо к шторе, но слышала только шорох первых сухих листьев, гонимых ветром по тротуару.

— Еще рановато, пожалуй.

Мадмуазель Полине почудилась ироническая улыбка на простодушной физиономии Евлалии.

— Он обещал придти ближе к ночи. Понимаете, любезная, соседи — ничего не поделаешь. Один миг — и нет репутации.

Положив дрожащую руку на худую грудь, она прошептала:

— Первый раз я позволяю мужчине нанести мне визит. И так поздно. Добрые люди уже давно в постели. Господи, скажи, грешница ли я? Спускаюсь ли в бездну самого отвратительного из грехов?

Она долго смотрела на округлый огонь лампы.

— Это секрет. Упаси меня боже проговориться кому-нибудь.

Она не расслышала шагов, но до нее донеслось легкое постукивание крышки почтового ящика. Приоткрыла дверь гостиной, чтобы немного осветить темную прихожую.

— Это вы... — пролепетала она, раскрывая дверь шире. — Прошу вас.

Тонкой, трепетной рукой указала на кресло, бутылочки и сласти.

— Кюммель, анисовый ликер, абрикотин, вафельки, миндальные печенья, хрустящие палочки...

Только один удар — глухой, резкий.

Деловитая рука поставила в буфет ликеры и коробку с печеньями, потом прикрутила колесико лампы. На черной улице проснулся ветер и набросился на скрипучие ставни старых домов.

— Хе, хе!... Без крика, без шума, без красных пятен на пеньюаре... хе, хе... а мне помнится, нет, чушь, архичушь... без криков, без пятен... хе... хе...

Ветер унес к реке бессвязный шепот.

Это был вечер среды, когда месье Теодюль Нотт не принимал Ипполита Баеса. Он сидел в салоне капитана Судана возле шкафа с клавесином и медленно перелистывал книгу в красной обложке.

— Допустим, — бурчал он, — и что же?...

Он словно ждал чего-то, но ничего не случилось.

— Стоит ли трудов? — вздохнул Теодюль.

Его губы горько искривились. Он вернулся в столовую, устроился под лампой с трубкой и с «Приключениями Телемаха».



— Два убийства менее чем за две недели, — простонал полицейский комиссар Сандер, ходя из угла в угол в своем кабинете на улице Урсулинок.

Его секретарь, толстый Порталь, перечитывал длинный рапорт.

— Приходящая служанка мадмуазель Бюлю показала, что в доме все цело, вплоть до подушечки для булавок. Хозяйка иногда навещала соседей и не принимала никого. Никаких следов вторжения, вообще никаких следов. Да и было ли преступление, если подумать?

Комиссар красноречиво посмотрел на него.

— Понятное дело, она сама себе проломила череп. Щелкнула по лбу, и готово.

Порталь пожал круглыми, жирными плечами.

— Что касается несчастного месье Майера, тут тоже ясности нет. Труп выловили из сточной канавы близ Мулен де Фулон. Крысы-таки попортили ему фотографию.

— Вы бы хоть выражались поделикатней, — поморщился комиссар. — Бедный Жером! Откуда у него враги? Горло перерезано, да как! Это не преступник, а зверь какой-то. Черт!

— Арестовали кого-нибудь? — поинтересовался секретарь.

— Кого! — чуть не заорал комиссар. — Пролитайте акты гражданского состояния и выберите любого новорожденного младенца!

Он прижал разгоряченное лицо к стеклу и заметил проходившего по улице месье Нотта.

— Остается надеть наручники на головореза Теодюля, — фыркнул он.

Порталь расхохотался.

Месье Нотт, пересекая площадь Песочной Горы, дружески подмигнул водокачке и свернул на улицу Корольков. Перед особняком Миню его сердце дрогнуло.

На секунду блеснули красные медные полосы на двери, потом надпись красивыми буквами: таверна «Альфа». Но, приблизившись, он обнаружил обычные серые фасады.

Проходя по старинной улице Гребешков, он заглянул в раскрытую дверцу какого-то садика: высокая худая женщина кормила истощенных кур. Теодюль задержался на мгновение, и когда она подняла глаза, снял шляпу. Но вид у нее был безразличный и в ответ она не поздоровалась.

— Где же, — размышлял Теодюль, — где я мог ее видеть? Я ее знаю, это факт.

Обогнув парапет моста Прокисшего Молока, он хлопнул себя по лбу.

— Пульхерия! — воскликнул он. — Ах! Как она похожа на святую с картины!

В этот день лавка была закрыта и, однако, Теодюль заторопился к родным пенатам.

— Сегодня вечером мы съедем курицу под винным соусом, и месье Ипполит унесет с собой парочку сосисок в тесте, что я специально зажарил у булочника Ламбрехта.



Пульхерия Мейр безгласно отодвинула тарелку с простывшей и неаппетитной луковой похлебкой.

— Одиннадцать часов, — проворчала она. — Посмотрим, удастся ли заработать хотя бы несколько су.

С одиннадцати и до часу ночи она торчала у дверей поздних кафе, стараясь всучить пьяницам всякую дрянь вроде затхлых галет, крутых яиц и жареных бобов.

Когда-то ее считали очень смазливой девицей и весьма дорожили ее благосклонностью, но счастливые годы давно миновали. И сейчас, пройдя темную улицу Шпилек, она немало удивилась, заметив рядом фигуру мужчины.

— Могу ли я вам предложить... — заколебался голос в тени.

Пульхерия остановилась и кивнула на розовые окна ближайшего кабачка.

— Нет, нет, — запротестовал незнакомец, — у вас, если позволите.

Пульхерия засмеялась про себя, оценив мудрость поговорки, гласящей, что ночью все кошки серы.

Но эдак я могу потерять вечерний заработок, — прикинула вслух Пульхерия. — Иногда я «делаю» более ста су.

И тут она услышала звон серебряных монет в своем кармане.

— Ладно. Оставим работу на сегодня. У меня найдется пиво и можжевельника.

Пока они шли через пустынную площадь, Пульхерия попыталась завязать разговор:

— Жизнь тяжела для одинокой женщины. Я была замужем, но муж удрал с потаскухой, которая устраивала ярмарки в провинции.

Я ведь вправе пригласить кого-нибудь в гости, не так ли?

— Само собой, — слышался ответ.

— Но, знаете, я не смогу оставить вас до утра. Соседи так и пойдут чесать языками.

— Разумеется.

Она открыла дверцу маленького садика и подала ему руку.

— Позвольте... Осторожней, здесь две ступеньки.

Она ввела ночного визитера в бедную, но очень опрятную кухню: красный плиточный пол блестел и кровать в алькове радовала белоснежным бельем. Пульхерия горделиво осмотрелась.

— Какая чистота, не так ли?

Потом кокетливо повернулась к нему.

— Стало быть, пристаем к дамам на улице, шалунишка?

Незнакомец что-то пробурчал, глядя на дверь.

— Пива или можжевеловки?

— Пива.

— Ладно. А мне, пожалуй, надо выпить капельку покрепче.

Пульхерия направилась к шкафчику и достала голубой керамический кувшин: в углу из покрытого влажной тряпкой бочонка сочилось пиво и капли монотонно булькали в фаянсовую миску.

— Это пиво от Дейкера, — объявила она. — Вам должно понравиться.

— Ладно, — нехотя согласился незнакомец. — Налейте немного.

Выпили.

Женщина зажгла стеклянную лампу с плоским фитилем, едва осветившую стол и стаканы. Мужчина решился на комплимент:

— А вы неплохо устроились здесь.

Пульхерия Мейр ценила мужское внимание, которого была давно лишена.

— Видите ли, в моем маленьком доме чувствуется хозяйская рука. Старик Миню зачем-то отделил часть своего особняка и сдал внаем.

— Миню... — раздумчиво повторил ночной гость.

— Ну да, старый барон с улицы Корольков. Если пробить дыру в стене, можно попасть в его кухню.

Она захохотала.

— Пари держу, здесь побольше еды и питья, чем там. Еще пива? Я так выпью еще капельку.

Она наклонила бочонок и опустила стакан, чтобы пиво запенилось: перед этим забросила на спину концы синего шерстяного шарфа.

И вдруг шарф сжался, сдавил горло...

Пульхерия Мейр захрипела: сил у нее было маловато — она дернулась раз, другой и повалилась на пол.

Лампа опрокинулась — зеленоватый огонь побежал по масляной струе.

Входная дверь пронзительно скрипнула. Какая-то курица заклохтала, потревоженная во сне. Где-то в углу два кота сцепились в темноте, надрывая душу леденящими воплями. Башенные часы пробили полночь, когда полицейский Дирик засвистел, увидев высокое пламя над одной из кровель старинной улицы Гребешков.



— Несчастья уже просто наступают нам на пятки. Господи! — простонал комиссар Сандер. — Пожар и труп! Спрашиваю себя...

— Нет ли двойного преступления? — закончил Порталь. — Весьма вероятно. Каждое событие повторяется трижды, если верить морякам, хотя, с позволения сказать, «останки» Пульхерии Мейр нельзя назвать весомой уликой.

— И я так полагаю, — уныло одобрил комиссар. — Но повторяю, Порталь, воздух насыщен злом, как во время эпидемии.

Полицейский Дирик, дежуривший сегодня, просунул лисью мордочку в полуоткрытую дверь.

— Доктор Сантерикс хочет видеть комиссара. Комиссар вздохнул.

— Если есть что-либо подозрительное в деле Пульхерии Мейр, это обязательно разнюхает проклятый Сантерикс.

Так и случилось.

— Кладу рапорт на стол королевскому прокурору, — объявил доктор — Женщина по имени Пульхерия Мейр была задушена.

— Как так! — запротестовал Порталь. — Осталось-то всего липкого пепла на хорошую лопату.

— Шейные позвонки сломаны, — невозмутимо продолжал доктор. — На виселице не получилось бы удачней.

— Вот он, третий повтор события, — горестно констатировал Сандер. — Теперь моя отставка неминуема.

Четкими убористыми строками он принялся покрывать линованные листки, передавая их по мере надобности секретарю. Принесли лампы, осветились окна кафе Мируар, а служители закона продолжали строчить страницу за страницей.

— Конец спокойной жизни, — проворчал Сандер, растирая сведенные судорогой пальцы.

— Если мы поймаем сукина сына, который нам преподнес такую дулю, — добавил Порталь, — я, пожалуй, избавлю палача от трудов.

V

Месье Нотт несколько минут прислушивался: шаги Ипполита Баеса затихли и доносилось только постукивание железного наконечника трости о край тротуара. Потом все смолкло.

Тогда он зажег все свечи в салоне капитана Судана и устроился в кресле.

Книга в красном переплете пребывала на столе, и месье Нотт торжественно вознес над ней ладонь.

— Или я плохо уразумел вашу науку, или я выполнил все условия и вы мне должны... то, что вы мне должны, — провозгласил он мрачно и выразительно.

И посмотрел вокруг, ожидая событий.

Но дверь не открылась и свечи горели ровно: никакой сквозняк, никакого дуновение не исказили изящных закруглений пламени.

— Для человека, который ничего не понял в школьной задаче о курьерах, мне-таки стоило труда уяснить ваше сообщение, о странная книга, и еще больше труда... действовать согласно вашей ужасающей воле.

Капли пота проступили на его висках.

— Покориться судьбе — высшая мудрость, считает Ипполит. Но эти слова лишены смысла. Всю мою судьбу вобрал загадочный день восьмого октября. С тех пор жизнь прекратилась. В из-

вестном плане ее ход остановился — так тормоз препятствует повозке двигаться дальше.

Но кто поднимет этот тормоз?

И, посмотрев с упреком на книгу, он жалобно возопил:

— О мудрая книга, вы обманули меня!

И вскочил с кресла.

Ничего не случилось, ничего не заволновалось в комнате, но тем не менее месье Нотт побежал к двери, словно бы взвихренный неведомой силой.

— Я ничего не прошу, — убеждал он себя, спускаясь вприпрыжку по лестнице, но некто знает мое сугубое желание, единственную цель моей жизни! Достигну ли я наконец?

Он быстро шел по пустынному Гаму к верхним кварталам на другом берегу реки. Его одинокие шаги глухо отдавались на мосту Прокисшего Молока: пересекая эспланаду Сен-Жак, он не заметил ни одного освещенного кафе.

— Должно быть, совсем поздно, — подумал Теодюль.

И не удивился ничуть лучезарной феерии, внезапно вспыхнувшей в темной глубине улицы Корольков.

Он перевел дыхание и задрожал от лихорадочного предвестия.

— Свершилось... она там... таверна «Альфа»!

Он толкнул дверь и вновь увидел низкие диваны, каменного идола, трепетные багряные блики за витражами. И тогда позвал:

— Ромеона!

Она была рядом. Откуда? Теодюль только и нашелся пробормотать:

— Вы. Теперь я знаю, что желал вас всю жизнь.

Она пристально смотрела на него и шептала:

— Ах! Как сладостно жить именно сейчас.

— Жить?

Жестокий холод пронзил Теодюля от ее прикосновения.

— Я уже столько лет мертва, мой дорогой.

Теодюль едва не закричал от страха, и в то же время горькая, терпкая радость засверкала в его глазах.

— Ромеона... да, я вас прекрасно узнаю, но все-таки... это вы или не вы?

Гибкая сильная рука обвила его шею и Теодюль прижался к ледяному телу Ромеоны.

— Мадмуазель Мари!

— Если хотите, да. Когда-нибудь вы узнаете, возможно, что для существа загадочного и зловещего проблема решается просто: либо время разделяет нас, либо нет... Идемте.

В смутных витражах неистово заматались багряные пятна. Теодюль протянул руку, но Ромеона перехватила его запястье.

— Не надо! Представьте, что ее там нет.

— Кого? Кого там нет?

Ромеона испуганно оглянулась.

— Узнаете в свое время, дорогой друг. Когда мне надо будет вернуться, и вам тоже.

Она приникла к его губам, дабы избежать дальнейших расспросов, потом лихорадочно проговорила:

— Сколько лет прошло с той поры как я целовала вас. Вы понимаете, нет, вы чувствуете, кто я?

— О да! Ромеона, нет, мадмуазель Мари, я так любил вас. И теперь... я знаю судьбу. Моя судьба — любить вас. Ради этого я повиновался книге, воззвал к помощи... *Великого Ноктюрна*.

Ужас, напряжение, удивление означились на ее лице.

— И ради этого вы меня вырвали из могилы?

Завороженный своим откровением, Теодюль не расслышал ее фразы.

— Прошрое... вообразите человека, который живет только прошлым, который только... вспоминает. Понимаю: сейчас меня вернули в него!



Тремя днями позже комиссар Сандер трудился над новым рапортом, который его секретарь перечитывал, правил и копировал в трех экземплярах. Рапорт имел следующий подзаголовок: «Исчезновение горожанина, именуемого ниже Теодюль Нотт».

Бедный Сандер, вероятно, просто бы спятил с ума, если б увидел, что в эту минуту упомянутый горожанин мирно курит трубку близ водокач-

ки на площади Песочной Горы. Через два часа он прошел рядом с комиссаром мимо освещенных окон кафе «Мируар» и свернул вместе с ним на улицу Корольков, направляясь в таверну «Альфа».

Но таверна сия не существовала ни для Сандера, ни для остальных — она располагалась вне времени простодушного комиссара и его сограждан, равно как и сама жизнь месье Нотта.

Ибо Сандер и остальные не были посвящены в тайны старой книги и Великий Ноктюрн не заботился о них.

И однако жизнь Теодюля Нотта ни в чем не напоминала сон: экзотический интерьер таверны, жгучая любовь Ромеоны, или мадмуазель Мари, придавали его бытию сладостную реальность.

— Не хотите ли повидать «других»? — спросила однажды возлюбленная.

Теодюль долго раздумывал, прежде чем уяснил смысл этих слов. Было воскресенье, стояла прохладная, но приятная послеполуденная погода. Они покинули таверну и спустились по улице Корольков к площади Сен-Жак. Там царило веселье: на импровизированной сцене музыканты сельского оркестра били в литавры и большие барабаны.

Они прошли, невидимые, сквозь оживленную толпу, поскольку двигались вне времени толпы. Когда мост остался позади и внизу раскрылся озаренный солнцем Гам, месье Нотт забеспокоился.

— Мы идем... ко мне?

— Конечно.

Мадмуазель Мари нежно сжала его руку.

— И...? — Теодюль смутился вконец.

Она пожала плечами и увлекла его дальше.

Войдя в лавку, он услышал томное пенье:

«Откуда ты плывешь, серебряное диво»...

И нисколько не удивился, увидев в салоне капитана Судана мадмуазель Софи за клавесином, матушку, вышивающую нелепый узор на желтых домашних туфлях; как ни в чем не бывало, он уселся рядом с отцом, курившим длинную голландскую трубку.

Ничто в домашней, воскресной атмосфере не напоминало о том, что эти существа провели тридцать лет в могиле. Никто не приветствовал Теодюля, никто не поразился его более чем пятидесятилетнему возрасту и появлению с мадмуазель Мари.

Его подруга была одета в скромное шерстяное платье, отделанное стеклярусом. Куда девалась роскошная туника, сверкающая серебряными нитями, в которой Ромеона покинула таверну «Альфа»? Так и надо, все это в порядке вещей, решил Теодюль.

Они поужинали с аппетитом, и Теодюль вновь ощутил вкус винного соуса и лука-шарлота, рецепт коего матушка всегда хранила в секрете.

— Не стоит, Жан Батист, ничего хорошего в книгах не узнаешь.

Так мама Нотт ласково упрекала своего мужа, украдкой поглядывающего на книжные полки.

Они расстались поздним вечером: Теодюль и мадмуазель Мари вернулись в таверну «Альфа». Его поразила неожиданная мысль:

— Странное дело! А почему мы не встретили капитана Судана?

Его спутница вздрогнула.

— Не говорите о нем, ради нашей любви, не говорите о нем никогда!

Теодюль посмотрел на нее с любопытством.

— Так, так. И все же хотелось бы узнать...

И тут в его голове все перепуталось.

— Мне кажется, я уже слышал все, о чем говорили папа и мама. И я определенно когда-то слышал концерт на площади Сен-Жак и когда-то ел за ужином...

Возлюбленная перебила несколько нетерпеливо:

— Разумеется... Ты блуждаешь среди картин прошлого.

— Но получается... папа и мама Нотт, мадмуазель Софи... мертвы?

— Да. Или почти...

— А ты?

— Я?

Это «я» она выкрикнула с дрожью, с ненавистью.

— Я? Ты вырвал меня из могилы, чтобы сделать своей рабой, своей...

Черная молния прочеркнулась в ее глазах, нечто зловещее, беспощадно враждебное, может быть, просто игра теней — в этот момент огоньки свечей изогнулись от вечернего ветерка, пахнувшего из полуоткрытого окна... Теодюль задумался на минуту.

— Я всегда желал, чтобы подобное произошло, правда, никогда не умел выразить свое желание.

И ни разу последующие дни не омрачались воспоминаниями о тягостной интермедии в родительском доме. Они жили согласно и спокойно в одинокой таверне: месье Теодюль более не имел намерения вернуться в Гам и бродить среди образов прошлого.

Однажды ночью он проснулся и протянул руку к подушке, где должна была покоиться голова любимой женщины.

Пусто и холодно.

Он приподнялся, позвал и, не получив никакого ответа, покинул комнату.

Дом показался странно незнакомым; Теодюль словно бы погрузился в блеклый, зыбкий, ирреальный сон: взбирался по одним лестницам, спускался по другим, проходил по комнатам, озаренным бледным и зловещим мерцанием, наконец возвратился к пустой кровати.

Его сердце сжалось, чувство новое и острое пробудилось в глубине его существа.

«Она убежала искать... его... точно... доказательство письма, что я обнаружил в маленьком секретере...»

Он бросился на улицу, как пловец в море, пролетел площадь Сен-Жак, пронесся по мосту и нырнул в густом сумраке Гама.

Лунный луч змеился по железной вывеске галантереи. Теодюль принялся рассматривать фасад: ему почудилось, что иной, внутренний свет просачивается в щели неплотно закрытых штор.

— Ясно, — прохрипел месье Нотт. — *Он* в своей комнате, *он* зажег свечи, *он* читает свою распроклятую книгу, *она* сидит подле *него*!

И открыл своим ключом тщательно закрытую дверь лавки.

Запах сигары встретил его на первых же ступенях.

Он без труда ориентировался в темноте — лунное сиянье пробивалось сквозь слуховое окно. На втором этаже яркая полоска подчеркивала дверь салона.

Теодюль ворвался в комнату.

Шесть свечей горели в медных канделябрах и в камине рдело несколько подернутых пеплом углей.

— Ага, — прогудел кто-то, — вот вы и явились.

Старый капитан Судан, сидевший в вольтеровском кресле, поднял седую голову и отложил книгу.

— Где она?! — завопил Теодюль.

Старик пристально смотрел на него и молчал.

— Говорите! Вы не смеее больше отнимать ее у меня... я выполнил все приказания вашей проклятой книги, я хочу... ее, слышите?

В мутных глазах капитана заблестела насмешка.

— Пропала, вот как? Да... да... иногда и лунного луча довольно... Итак, пропала?...

Он потянулся за книгой в красной обложке. Теодюль угрожающе шагнул вперед.

— Оставьте вашу мерзкую книгу и отвечайте! Я хочу знать, где она.

— Где? В самом деле, где? Вот вопрос: где?

Огромная тень колыхнулась на стене и месье Нотт увидел, как три свечи погасли одна за одной; лунный свет проник через щель в шторах и скользнул на кресло капитана.

Теодюль, сжав кулаки, подошел ближе.

— Я вас ненавижу. Вы ее отняли в моей юности и отняли сейчас.

Он поднял руки на уровень плеч старика. Капитан сидел молча, недвижно, не обращая внимания на ревнивца.

Пламя трех других свечей исчезло, словно бы внезапно задутое, но лунные лучи отчетливо обрисовали контур капитана на фоне тьмы.

— Я вас убью, Судан, — завопил Теодюль.

Он схватил что-то холодное и дряблое, слышал хриплый смешок, и его пальцы сомкнулись в пустоте. Торжествуя воскликнул:

— Мертв! Теперь она моя, только моя!

Вдруг ставни затрещали, раскрылись во всю ширь и золотисто-голубая волна лунного света хлынула в салон.

Теодюль закричал от ужаса: черная рыхлая масса висела в воздухе, приближаясь к нему с беспощадностью, которую он скорее угадал, нежели увидел.

В зеленовато-голубом мерцании вскинулись руки — фантомальные и гигантские, и постепенно проступило угрюмое неумолимое лицо.

— Мадмуазель Мари, — прошептал он, вспомнив кошмар далекой ночи.

В ноздри ударил тлетворный запах могилы: тварь, ползущая в зеленовато-голубом мерцании, накинута на него, сдавила горло...

Но кошмар кончился, точно как в ту самую ночь: чудовищный туман цвета печной сажки вытянулся и уплыл по лунному лучу.

И на одну секунду Теодюль заметил в звездном небе величавый силуэт, который, уменьшаясь, сжимаясь, ринулся к окну с невероятной быстротой.

Свечи зажглись, ставни, закрываясь застучали, Теодюль оцепенел перед креслом...

Возле угасающего камина стоял Ипполит Баес и смотрел на него с печальной улыбкой.



— Ипполит! — Он не видел старого друга с тех пор, как, повинаясь зову судьбы, последовал предписаниям книги.

Месье Баес был в своем всегдашнем рединготе и держал трость с железным наконечником.

Вдруг он поднял ее и указал на кресло.

— Ты не видишь его?

— Кого? Капитана Судана?

— Грязный, никудышный наглец, — фыркнул Ипполит Баес. — Там, *внизу* он именовал себя демоном книг, причем единственным, оставшимся на земле.

— Демон... демон, — бормотал ошарашенный Теодюль.

Компаньон вечерних застолий смотрел на него с жалостью и сочувствием.

— Мой бедный друг, срок наступил и я не смогу сделать для тебя ничего особенного. Задушив демона Теграта, или капитана Судана, ты уничтожил жалкий остаток земной жизни, оставленный ему адом. Но тем самым ты вернулся на другой план времени, который тебя отринул и не приемлет более.

Теодюль сжал пальцами виски.

— Что со мной произошло? Что я, в сущности, сделал?

Ипполит положил ему руку на плечо.

— Я должен сообщить тебе нечто весьма огорчительное, несчастный Теодюль. Капитан Судан... нет, Теграт — твой отец... И ты...

Теодюль не сдержал крика изумления и отчаяния.

— Матушка... Значит я... сын...

Ипполит прикрыл ему рот ладонью.

— Пошли. Уже пора.

Теодюль вновь увидел Гам, потом мост, потом площадь Сен-Жак и на сей раз обратил внимание на странное оживление в городе. Повсюду блуждали тени и слышались обрывки разговоров.

По-прежнему горел свет в таверне «Альфа», куда открыл дверь Ипполит, опасливо оглянувшись.

— Внимание! Сегодня доступ сюда открыт всем.

Он долго вслушивался в отдаленный уличный шум.

— Теодюль, как ты знаешь, Бог создал человека, Бог — его искупитель и спаситель. И однажды дух ночи, подобно обезьяне, в глумлении своем повторил ритуал любви и света. И родился...

Здесь он посмотрел на Теодюля с презрительным сочувствием, — ... самый несчастный из людей, самый достойный... жалости.

— Ты прав, Ипполит. Я самый несчастный, самый ничтожный. О да!

Теодюль оглядел знакомый интерьер таверны и тяжело вздохнул.

— Каждый меня предал и ни один меня не любил.

— Да...а, — раскатился долгий и злобный крик.

Глаза Теодюля вспыхнули.

— Ромеона... мадмуазель Мари!

Но Ипполит Баес покачал головой.

— Некто преисполнился сострадания к тебе, мой бедный друг. Увы, он не мог изменить твоей судьбы. Он шел рядом с тобой, защищал тебя от порождений кошмара. Он пытался остановить время, изолировать тебя в твоём прошлом, поскольку будущее сулило только цепь непрерывных ужасов.

— Ипполит! В тот день, когда случилась болезнь, я так ничего и не понял...

Баес повернулся к двери.

— Люди ходят по улице, — прошептал он. И затем продолжил:

— Он последует за тобой и дальше, хотя, возможно, это измена...

Теодюль почувствовал, что его друг говорит для себя самого, не адресуясь к нему. И тут его озарило.

— Великий Ноктюрн!

Баес улыбнулся и взял его за руку.

— Хе, хе, — пискнул голосок за их спиной.

Ипполит обернулся и крикнул каменному идолу:

— Молчи, ты, урод!

— Молчу, — пропищало в ответ.

С улицы донесся говор и шум шагов.

Теодюль Нотт пристально смотрел на витражи, где снова заматались багряные блики.

Он поднял руку.

— Ипполит, я вижу... Полина Бюлю лежит на спине с проломленным черепом... Крысы грызут лицо Жерома Майера... Пульхерия Мейр горит в своем доме. Я свершил три убийства, согласно закону книги.

Вдруг дверь затрещала, стекла разлетелись вдребезги, лавина камней хлынула в таверну.

— Каменный дождь! — закричал Теодюль. — Круг замкнулся. Значит, в этот невероятный день восьмого октября... *я прожил... всю... свою... жизнь!*

Рьяная, орущая толпа заполнила черную улицу. В просветах фонарей и факелов мелькали искаженные ненавистью физиономии.

— Смерть убийце!

За одним из разбитых витражей появилось бледное лицо комиссара Сандера.

— Теодюль Нотт! Стойте!

Ипполит Баес вытянул руку и воцарилось загадочное молчание. Теодюль изумленно взирал на него.

Старик схватил каменного идола и швырнул в уцелевший витраж, который лопнул, как воздушный шар.

И Теодюль различил перед собой темную, тенистую дорогу, словно бы просеченную в неподвижной густой мгле. Она сходила под уклон, потом вздымалась и пропадала в багряной, немислимой перспективе.

— Нам пора идти, — спокойно сказал Ипполит Баес.

— Кто... кто вы? — прошептал Теодюль.

С бешеными воплями толпа ворвалась в таверну «Альфа», но Теодюль уже ничего не видел и не слышал: его ноги ступали по бархатной траве, нежной, как пена.

— Кто вы? — переспросил он.

Ипполит Баес исчез; возле Теодюля вздымалась исполинская Форма, очертаниями напоминающая человека: голова исчезла в облачном ореоле.

— Великий Ноктюрн!

— Приди, — далеким эхом долетел дружеский голос.

Теодюль Нотт различил знакомые интонации того, кто играл с ним в шашки и делил вечерние трапезы.

— Приди... Даже здесь... *внизу*... попадают-ся блудные сыновья.

Сердце Теодюля Нотта успокоилось: буйная разноголосица мира, который он оставил навсегда, развеялась, словно последний вздох вечернего ветерка в высоких тополях.

Последний гость

В старом клетчатом кепи и в потертом пальто Джон уже ничем не напоминал импозантного швейцара в отеле «Королева океана»: на семь месяцев мертвого сезона он снова превращался в разносчика с Хамберстрит.

Мистер Баттеркап — владелец отеля — сердечно протянул ему руку.

— До следующего года, старина Джон: я рассчитываю открыть заведение не позже пятнадцатого мая.

— Если это входит в замыслы Божьи. — Джон прищурился и медленно выпил стакан виски, предложенный на прощанье патроном.

Поникшее, побуревшее пространство гудело рокотом высокого прилива.

— Сезон кончился неплохо, — заключил Джон.

— Мы последние, прямо-таки последние, — вздохнул Баттеркап.

Десяток фигур, согбленных под тяжестью баулов и чемоданов, обходя мол, брели к вокзаль-

чику, крыша которого, выложенная разноцветными плитками, напоминала голландскую кухню.

— Сталкеры уезжают, — заметил Джон. — Смотритель мола им заявил, что сегодня будет снег.

— Какой еще снег! — возмутился мистер Баттеркап. — Едва начался октябрь.

Джон поглядел на небо, изъеденное соленым туманом: стайка бекасов растянулась монотонной дугой.

— Они не хотят садиться на болота. Ясное дело, холода.

Большая белая птица стремительно восходила по немыслимой кривой, она кричала: «Snow, snow»...¹

— Слышали? — усмехнулся Джон.

— Насчет снега еще посмотрим, — рассудил мистер Баттеркап. И философски добавил:

— В конце концов, это ничего не изменит. Завтра погрузят мебель, которой нельзя зимовать, а послезавтра я и сам приеду в Лондон.

Джон хотел было скрасить вынужденное одиночество хозяина парочкой утешительных слов, но так ничего и не придумал.

— Послушайте, что это?

Донесся торопливый стук молотка.

— Ну и дела! — удивился мистер Баттеркап. — Похоже, Уинджери уезжает. Он заколачивает окна своей виллы.

¹ Снег (англ.).

— В таком случае, — покачал головой Джон, — вы останетесь совсем один. Как только уйдет последний поезд, начальник станции тут же сомотается в деревню.

Баттеркап насупился и проворчал:

— Вот что зарабатываешь, устраивая сезон в этой восточной дыре, вместо того чтобы солидно расположиться в Маргете или в Фолкстоуне.

— Однако дела не так уж плохи, — робко возразил Джон, ощупывая карман, где покоился бумажник.

— Н-ничего, — процедил мистер Баттеркап.

Свисток далекого локомотива вытянулся в тонкую скрипучую жалобу.

— Поезд, — засуетился Джон. — Будьте здоровы, мистер Баттеркап.

— Еще есть минутка, выпейте на дорожку.

— Ладно, выпью последний, мистер Баттеркап. В мои годы тяжеленько бежать за поездом.

Мистер Баттеркап остался один в пустом и темном холле; стук молотка замер. Из окна он видел, как приливная волна смывает песочные домики, которые дети Сталкера равнодушно строили утром на одиноком и ветренном пляже.

— Фии-ни, фии-ни, — жаловался кулик, улетевший с родного болота.

— Сезон, сезон, — дополнил мистер Баттеркап, желая показать двенадцати плетеным креслам, что он еще не потерял чувства юмора.

Однако ни кулика, ни двенадцать кресел не заботила бодрость его духа.

Потом он посмотрел в сторону вокзала и увидел отчаянно бегущего человека.

Призыв локомотива подстегнул кандидата в пассажиры: он попытался увеличить скорость, аффективно размахивая руками, словно кукла в театре марионеток.

Мистер Баттеркап загоготал от удовольствия.

— Уинджери точно не успеет на поезд. Отлично!

Телефонный звонок нарушил эту маленькую буржуазную радость. Дежурный с электростанции предупреждал об отключении тока в связи с окончанием сезона.

— Но я-то еще тут! — заорал мистер Баттеркап.

— Продолжайте сезон в темноте, — посоветовал дежурный.

— Это мое дело!

— А здесь наше. Понимаете, идиот-электрик не желает крутить динамомашину из-за вашего карманного фонаря.

— Карманного фонаря?! — взвыл хозяин отеля, который совсем недавно велел повесить роскошные люстры в столовой.

— Ну да, карманного фонаря, ты, дырявая калоша!

Третий голос вмешался в разговор, на сей раз голос начальника вокзала:

— Алло, алло! Телефонное сообщение прерывается. Закрывается линия, а также телеграф.

— Да ведь он хочет отключить ток, — захныкал мистер Баттеркап.

— Это все равно, — объявил начальник. — Ночной службы не будет, а вокзал освещается ацетиленом. Прерываю разговор.

Мистер Баттеркап мгновенно утратил солидную флегму владельца отеля и сравнил двух своих обидчиков с известным сантехническим приспособлением.

— Послушайте! — взбеленился начальник вокзала. — Вы оскорбляете важное должностное лицо, вы, живоглот, спекулянт!

— Треска вонючая! Дохлый червяк! — вопил электрик, который в свободное время любил удить рыбу.

Началась дружная беседа, небезынтересная в смысле фразеологии: оба функционера посоветовали мистеру Баттеркапу поскорей очистить морской курорт и отправиться в Лондон или еще подальше, если он не хочет увидеть превращения своих белых фланелевых брюк в половую тряпку. Злополучный собственник услышал, как электрик предлагал начальнику вызвать врачебный поезд, набитый хирургическими инструментами, дабы раскромсать на куски каналью отельщика; начальник посетовал на отсутствие под рукой хорошего кирпича: наконец, оба друга, сплоченные общей ненавистью, порешили встретиться в

ближайшем кабачке, известном своим крепким пивом, отличным виски и жареной рыбой.

Мистер Баттеркап собрал немного оплывшего зеленого стеарина с канделябров, что украшали рояль, смастерил светильник в лимонадной бутылке и, тяжело вздыхая, налил стакан виски.

Смуглеющие пальцы закатного света все медлительней перебирали бледные перламутровые четки.

В геометрии песчаных скатов и слоистого тумана вечерние тени принялись строить химерические храмы.

Пламя зеленой свечи металось по углам, населяя холл рваными, угрожающими призраками.

Кто-то ввалился в дверь и со стоном рухнул в плетеное кресло.



Мистер Баттеркап недоверчиво разглядывал пришельца.

Сначала он спутал его с одним из призраков, бесцеремонно шатающихся по холлу: однако новый, еще более отчаянный стон обнаружил безусловное человеческое присутствие.

Только в двух шагах пламя свечи скользнуло по лицу сидящего в кресле.

— Мистер Уинджери! — вскрикнул успокоенный коммерсант. — Вот так штука!

Он даже забыл на секунду корректную лексику образцового владельца отеля.

— Что случилось? Я видел вас у станции.

— Опоздал... поезд... — задышался посетитель.

— Неужели! Вы так хорошо бежали. Боже, да вы не в силах отдышаться!

— Грудь... очень плохо... легкие поражены... хотел уехать... снег.

— Снег? Вы ошибаетесь, уверяю вас.

Вместо ответа мистер Уинджери протянул худалую руку в сторону окон: хозяин отеля изумленно воззрился на падающие в темноту крохотные белые бутоны.

— Ба, — фыркнул он. — Ба... допустим... ну и что?

— Невмоготу мне, — пожаловался больной.

— Я отведу вас домой.

Посетитель замотал головой.

— Бесполезно. Вилла пуста и закрыта на ключ. Я останусь здесь, с вашего позволения, если найдется комната и чашка горячего чая.

— Нет-нет, в отеле так не принято, — воодушевился мистер Баттеркап, вернувшись к привычной роли респектабельного хозяина. — Вам необходимо поужинать. Имеется холодная говядина, паштет, рыбные консервы и сыр к вашим услугам.

— Благодарю, меня вполне устроит чашка чая с двумя каплями выдержанного рома.

Мистер Баттеркап немного повеселел.

— Вы составите мне компанию. Представьте, я остался совсем один на бальнеологическом

курорте, все разъехались, вы — последний. Не с кем перекинуться словечком в октябрьский вечер, под боком — ревущие волны, дикие гуси дудят, как фанфары; разве это подобающая обстановка для порядочного человека?

Но компаньон оказался ничуть не веселее октябрьского вечера. Мистер Баттеркап с ужасом заметил, как багровеет прижатый к его губам носовой платок. Более того: в тусклом желто-зеленом мерцании свечи платок казался черным, как сапожная вакса.

Простонав жалостное «доброй ночи», мистер Уинджери поднялся в свою комнату: зеленый огарок трясся в его пальцах, как факел в руке пьяного илота.

Остаток стеарина в лимонадной бутылке бросал лихорадочные отсветы на стены холла. Мистеру Баттеркапу стало совсем тоскливо: он нашел виски более горьким, чем обычно, и выпил стакан торопливо, большими глотками, время от времени злобно посматривая на одно из кресел, где ему мерещился ненавистный начальник станции.

Нет. Стояло пустое кресло, прыгали капризные тени и дрожащие отражения снежинок смущали темноту оконных стекол.



Когда мистер Баттеркап проснулся, ужас, подобно многоножке, дробно и мелко пробежал по телу, неизвестно почему.

Его окружала мягкая, снежная, лунная, молчаливая ночь.

Засыпая, он долго ворчал на сухой и пронзительный кашель мистера Уинджери: теперь ничего не слышалось.

«Заснул, надо думать», — уверил он себя. Но это отнюдь не объясняло, почему мистер Баттеркап съежился и захотел накрыться с головой.

Казалось, было бы логичней бояться вечера и зловещего блуждания теней, однако он почему-то ощутил страх именно сейчас, его голос скорее прошуршал, нежели прозвучал в торжественной луноликой ночи:

— Посмотрим, что здесь происходит.

Ничего. Лунный свет, молчание...

— Происходит ли вообще что-нибудь? — прошептал он хрипло и отрывисто.

Ответ не заставил себя ждать. В глубине ночи раздался шум — плотные, тяжелые стуки без резонанса.

Это были шаги — мрачные монотонные шаги.

— Мистер Уинджери! Мистер Уинджери, — крикнул хозяин отеля.

Ничего. Ничего кроме грузных, упрямых шагов. Они вроде бы покинули комнату постояльца и начали мерно спускаться по ступеням главной лестницы.

Мистер Баттеркап впопыхах натянул на себя какую-то одежду. Он хотел взбунтоваться против ужаса, накотившего черной лохматой волной, и принялся бормотать:

— Вот и жалуйся на отсутствие компании. Черт принес Уинджери, а теперь вообще неизвестно кто шляется по дому.

Он склонился над перилами, но не увидел ничего, хотя лестничная клетка серебрилась ясным металлическим отливом.

Стук шагов доносился снизу. Владелец отеля попытался воспользоваться своим правом.

— Эй! Мистер... мистер гость... мистер последний гость... покажитесь немного...

Голос был тоньше волоса младенца — казалось, дыхания только достало, чтобы раскрыть дрожащие губы.

Ему не пришло в голову позвать мистера Уинджери — он решил спуститься в одиночку.

Шаги сначала слышались в холле, потом затерялись в подвале, хотя не донеслось ни малейшего скрипа дверей или засовов.

Позднее мистер Баттеркап удивлялся, почему он не догадался захватить какого-либо оружия?

Шаги постепенно затихли и тишина придала ему некоторую отвагу.

Мистер Баттеркап бесшумно крался по лестнице и коридору и походил скорее на вора, нежели на собственника. Дверь комнаты мистера Уинджери стояла открытой, несмотря на трехкратный письменный призыв: «*Bolt your door at night*»¹.

¹ Запирайте дверь на ночь (англ.).

Лунный свет сразу помог разобраться в зловещей драме. Мистер Уинджери лежал на кровати; его голова была втиснута в подушку; жуткий черный рот навечно разворотило протяжным немим криком; голубой оконный отблеск застыл в незащитных глазах.

— Мертв! — пролепетал мистер Баттеркап. — Умер! Боже, какой скандал!

Секундой позднее он изо всех сил бежал на верхний этаж. Шаги пересекли холл и поднимались по лестнице.

Если бы какой-нибудь ученый объяснил мистеру Баттеркапу, что в тот момент некое шестое чувство, родственное безошибочному инстинкту самосохранения у животных, овладело всем его существом, можно держать пари, что достойный джентльмен пожал бы плечами и даже обиделся. И тем не менее он панически удирал.

Слабенький шепот логики с первых же минут опротестовал весьма здравую идею куда-нибудь залечь с оружием в руках.

Повелительный инстинкт гудел в его душе:

— Бежать, бежать! Против этого нет средств, сверхчеловечески нет!

Мистер Баттеркап добрался до верхнего этажа, где располагались мансарды для персонала и посыльных, и спрятался среди ящиков и всякого хлама, раскиданного безответственной прислужкой. Шаги. Входили в одну комнату, затем в другую, будто подвергая их методической проверке.

— Это в двенадцатой, — соображал хозяин, — теперь в восемнадцатой, в двадцать второй... двадцать седьмая... Господи, в моей комнате...

Судорожно сжалось сердце при мысли, что неизвестный блуждает среди знакомой мебели и привычных вещей, словно там еще оставалась часть его существа. В последней мансарде он обнаружил возле перегородки фаянсовую кропильницу и веточку освященного букса. Пораженный странной мыслью, стараясь не греметь, он составил в коридоре несколько стульев и тумбочек и увенчал смехотворную баррикаду еще влажной кропильницей и увядшей веточкой.

— Он должен пройти здесь. — бормотал беглец, — и тогда...

Мистер Баттеркап не на шутку бы призадумался, попроси его объяснить, кто такой «Он»?

Правда, времени для раздумий у него не оставалось: тяжелый стук шагов неотвратимо приближался.

Никогда еще шум не давил так тягостно и зловеще: казалось, все здание корчится от боли.

— Выше, выше... — стонал несчастный.

Пустой и гулкий чердак, правильные лунные ромбы на скрипучих досках.

Измученный взгляд мистера Баттеркапа метался по углам.

Глухие замусоренные углы, тряпки, осколки стекол, клочья паутины — станет ли все это жалкой декорацией его агонии? Вдруг руку за холоди-

ли прутья металлической лесенки. Крыша! Крыша, плоская, как бельведер! Потолочный люк затрещал, но не поддался — слишком заржавели петли. Стук донесся из коридора. Мерные, чудовищно спокойные шаги миновали игрушечную баррикаду. Мистер Баттеркап едва не разрыдался.

— Даже это его не остановило.

Отчаянным ударом, сильно расшибив голову и плечо, он открыл люк в снежную синюю ночь, блистающую алмазной россыпью звезд.

Крыша представляла собой широкую платформу, обведенную со всех сторон низенькой балюстрадой.

Мистер Баттеркап никогда не дерзал сюда подниматься и сразу ощутил подступающее головокружение.

— И все-таки я предпочитаю прыгнуть вниз, — прошептал он, — только бы это не подходило ко мне.

Истерически смело он прошел по заснеженной платформе до края: сердце оборвалось и качалось в отрешенной пустоте.

Вдали, на мглистом морском горизонтеплыли два круглых светлых пятна и желтый глаз маяка бестрепетно сверлил глубину тьмы.

— Да, предпочитаю, да, — всхлипывал бедняга...

...и вздрогнул от внезапного скрежета. Ржавая лесенка заскрипела, потом завизжали петли.

И тогда мистер Баттеркап увидел блеснувший в лунном свете длинный и тонкий стержень громотвода.

Ледяная спазма перехватила солнечное сплетение. Он переступил балюстраду, надрывно закричал и скользнул в бездну.

Нечто прыгнуло на крышу.



Бледнорозовый язык лизнул горизонт.

На путях зажегся зеленый фонарь, стекла вокзальчика забелели от мыльного света ацетиленового рожка, а где-то далеко нехотя свистнул первый поезд. Мистер Баттеркап вылез из завала вымазанных креозотом бревен — своего ночного убежища, — и, трясясь от холода, с окровавленными руками, с безумными глазами побежал к станции, освещенной и обитаемой, которая теперь представлялась ему вождеденным оазисом.



Лишь к одиннадцати часам утра, после унижительного и вынужденного примирения с начальником станции, после разговора с врачом, приехавшим на велосипеде из соседней деревушки, который засвидетельствовал смерть мистера Уинджери от туберкулеза, только после этого мистер Баттеркап отважился вернуться в отель.

Не обнаружив ничего подозрительного и уже решив обвинить во всем одиночество и виски, он рискнул-таки подняться на крышу.

Как всякий приличный англичанин, как вообще всякий грамотный человек, он читал «Робинзона Крузо», но ему не пришло в голову, что, улепетывая без памяти, он только подражал знаменитому моряку, открывшему на берегу своего острова злоеущий отпечаток.

Ибо немного в стороне от его следов, хорошо сохраненных на снегу, отпечаталось нечто невообразимое, уродливое, чудовищное: отпечатки доходили до края крыши, но не возвращались назад, словно это прыгнуло, рванулось, растворилось в ночи...

Спустившись в холл, мистер Баттеркап завопил от радости при виде похоронных дрог, доставленных по случаю кончины мистера Уинджери. Он подливал виски кучерам и развлекал их анекдотами до прибытия мебельного фургона. Грузчикам пообещал такие чаевые в случае, если те управятся за час до отхода последнего поезда, что мрачные дюжие молодцы не жалели ни мебели, ни себя.

И ровно за час до поезда мистер Баттеркап уже устроился на станции. Он презентовал начальнику две бутылки старого виски, и сей незлобивый чиновник, братски обняв его, помог забраться в вагон и махал рукой до тех пор, пока локомотив не превратился в черную ящерку на далеком горизонте.



За длинным столом «Серебряного дракона» — великолепной таверны на Ричмонд Роуд, где мистер Баттеркап рассказал свою историю, — возобновилась игра в карты, кости и шашки.

— Это называется суггестией или автосуггестией, — важно заключил мистер Чикенбред, — владелец солидного магазина музыкальных инструментов.

— Галлюцинацией, — рискнул дополнить пустяковый Биттерстоун, который случайно затесался в столь приличную компанию.

Мистер Баттеркап в замешательстве потер веснушчатую щеку.

— Галлюцинация — это не тема разговора с человеком, который...носит фамилию Баттеркап.

И поскольку он, как ему показалось, услышал нечто уничижительное для достоинства рода Баттеркапов, то глубокомысленно прибавил:

— ...и который является владельцем отеля «Королева океана».

Кости разметались по столу, черные кружочки на медовом фоне издевались над опытом и фортуной.

На шашечной доске белые уступали мрачному напору черных — дубль опасно застрял на нейтральном поле. Общий азарт не заразил только старого доктора Хеллермонда.

— Я знаю, — проговорил он скорее для себя, нежели для уязвленного Баттеркапа, — знаю эти шаги...

Несколько лет я работал терапевтом в госпитале. Я часто слышал их в тягостные, отравленные формалином ночи, среди стонов смертельно больных.

Они осторожно обходили рыжеватые тени дымоуловителей, ступали плотно, без малейшего резонанса, по длинным коридорам в тусклом мерцании скудных ночников.

Они предшествовали... За стуком этих шагов всегда появлялись носилки, которые санитары в туфлях на войлочной подошве доставляли в больничный морг, — там беспрерывно журчала вода и сквозило жутким холодом.

Мы все — и врачи, и персонал — слышали шаги, но, словно связанные тайной клятвой, никогда не говорили об этом. Иногда новичок громко прошепчет молитву, и только... Но каждый раз, когда звучали эти шаги, мы знали, что произойдет потом, в тишине.

Когда надзиратели Ньюгетской тюрьмы доставали для утренней церемонии черный флаг, пересеченный крупным «N», эти шаги торжественной, свинцовой поступью направлялись к самой страшной камере.

Доктор Хеллермонд замолчал и вскоре заинтересовался шашками; в бурном океане каждую минуту терпели крушение простые — белые и черные — круглые плоскодонки и шхуны-дамки...

Мистер Глесс меняет курс

В день своего пятидесятилетия Дэвид Глесс отдался воспоминаниям о людях и событиях, так сказать, возвратился в прошлое.

Это нельзя было назвать праздником в прямом смысле: никто ему не подарил ни цветка, ни торта, ни комплимента, да и сам он не позволил себе даже лишнего глотка пива. Недолгие воспоминания резюмировались одной фразой: «Какое все-таки свинство — жизнь!»

Тут в лавку влетела мисс Троссет и напустилась на мистера Глесса: зачем он ей продал красную фасоль, которая никак не желает поджариваться?

Обычно Дэвид Глесс не имел ничего против мисс Троссет — покупательницы скаредной и вечно недовольной, но в этот день, да, как раз в этот среди стольких других, она ему не понравилась. Между тем, вздорная злобная трещотка и не собиралась останавливаться.

— Мне надо купить полфунта риса, но ведь ясно, что он будет весь заплесневелый и в мышином помете! А уж как вы меня обжулите на унции перца!

Бакалейная лавка Дэвида Глесса располагалась между Лавендер Хилл и Клапхэм Коммон на углу кривой улочки, уходящей в мрачный захлащенный пустырь. По необъяснимой причине «смог» — этот тяжелый, черный туман Лондона — оседал именно в здешних краях.

И в данный момент безобразная рваная пелена цвета сажи развернулась перед окном: стены старой транспортной конторы на той стороне померкли и пропали из поля зрения.

Дэвид Глесс мягко вступил в монолог:

— Анабелла Троссет, подите вы к дьяволу.

— Что?.. Как?.. Вы сказали...

Мисс Троссет закрыла руками живот, словно ожидая немедленного удара.

— Мало вам еще? Хотите слушать дальше, пожалуйста: вы грязная потаскуха... любовница старого ножовщика, прогнившего от блуда и экземы, вы, любезная... воруете в больших магазинах!

— Праведный Боже! — взывала мисс Троссет, которая в свое время была одной из самых ярких прозелиток Армии Спасения. — Небо, защити меня... Пьяница... Сумасшедший...

— Фасоль в моей лавке первосортная, и я в жизни никого не обвесил, — змеиным шепотом

продолжал Дэвид, — и должен вам сказать, ба-
лованное дитяtko сточной канавы...

Он заговорил совсем тихо, прислушиваясь к
шуму, который пробивался сквозь плотную заве-
су тумана...

— Должен вам сказать...

— Не желаю ничего слушать, — завопила
мисс Троссет и заткнула уши.

— Отлично, — усмехнулся бакалейщик, — это
лучшее, что вы могли придумать.

Шум постепенно определялся: гrr... гrr...

Покупательница настежь распахнула дверь и
несколько помедлила перед черной рыхлой стеной.

Дэвиду Глессу нарастающий шум был хорошо
знаком.

— Ступайте к дьяволу, Анабелла Троссет!
Если не ошибаюсь, вы сейчас туда попадете.

И он сильно толкнул ее в спину.

Мисс Троссет поневоле ускорила шаг и растя-
нулась на мостовой в ту секунду, когда из тумана
появился... гrr... гrr... огромный грузовик,
забитый тюками с хлопком для завода компании
«Бразилиа».



Возможно, в мире и есть места, где о мертвых
говорят хорошо. Лавка Дэвида Глесса к ним, без-
условно, не относилась, особенно когда собира-
лись окрестные кумушки.

На улице «смог» рассеялся после внезапного утреннего ливня и проглянуло смутное солнышко; дождевая вода смыла очерченный мелом контур, где лежал групп мисс Троссет.

Отпуская муку, маринованную лососину и па-току, Дэвид внимал поучительной беседе добро-сердечных покупательниц.

— Упокой Господь ее бедную душу!.. Однако, представьте, эта тварь носила шляпу и кастрюлю святых дам из Армии Спасения и в то же время служила... подстилкой этому старому подонку — лудильщику Слайку.

— Так, — соображал мистер Глесс. — Это не ножовщик, а лудильщик. Ладно.

— У нее нашли кучу вещей, пропавших из магазина бижутерии миссис Хук, куда она устроилась якобы подметать полы.

— Еще лучше, — прикидывал бакалейщик. — Правда, магазин миссис Хук нельзя назвать большим, но мерзавка воровала... воровала!

— В конце концов, — добавила очередная мегера, — тело досталось земле, а душа дьяволу!

Последнее замечание насторожило мистера Глесса:

«Дьявол? А ведь я сам ее отправил к дьяволу. Надо бы все это обмозговать».

Размышления не привели ни к чему, однако ночью Дэвид был побеспокоен весьма неожиданным образом.

Ему не приснилась мисс Троссет, но зато привиделись странные, кошмарные, надоедливые люди и события, так что он с радостью пробудился... в полной темноте. Ночник, похоже, давно погас.

Неопределенный силуэт, источающий бледный свет, недвижно стоит у окна.

Мебель принялась визжать и скрипеть, хотя раньше ничего подобного не замечалось. Застонав почти человеческим голосом, открылась дверь зеркального шкапа, хотя аккуратный Дэвид запер ее накануне на ключ.

Раздались три удара в стену, потом, чуть позже, три удара в потолок.

Освещенный силуэт медленно потемнел и пропал.

Перед тем как снова заснуть, Дэвид додумался до следующей мысли:

«Анабелла Троссет... Выходит, я сделал дьяволу подарок... В таком случае, он, возможно, меня отблагодарит...»



Утром, когда он распахнул ставни, то получил прямо в физиономию порцию хорошо разжеванной chewing-gum¹. Озорной голос издевательски пропел:

— Вот тебе подарок, старая сосиска... дожуй...

¹ Жевательная резинка (англ.).

Хэнк Хоппер — мальчишка-рассыльный компании «Бразилиа» — никогда не забывал преподнести сюрприз мистеру Глессу, равно как всегда удостаивал благосклонным своим вниманием мешок орехов, стоявший в лавке на полу возле входной двери. Обычно этот оголец обзывал Дэвида «ногастой сосиской». Сие неместное сравнение отличалось, однако, правдоподобием.

— Ладно, сынок, — проворчал Дэвид, — все уладится, вот увидишь.

Попивая чай с поджаренным хлебом, он проглядывал полицейскую хронику в газете. О несчастном случае с мисс Троссет — всего две строчки: три четверти страницы посвящалось последнему преступлению «нового Джека-Потрошителя».

В течение месяца ночной убийца орудовал в основном в портовых кварталах, но время от времени оставлял след — кровавый след — в менее пустынных районах столицы.

В первый раз в жизни Дэвид Глесс читал эти сжатые, тревожные новости — ранее он ограничивался лишь политической и театральной хроникой.

Правда, здесь не было специального умысла — он ощущал только некоторое изменение атмосферы. Еще смутно все это было, проплывало намеком, неопределенным очертанием, словно тот силуэт, что ему привиделся в ночи.



«Какое все-таки свинство — жизнь!»

В памятный день своего юбилея он в известном смысле прозондировал прошлое в поисках резона, оправдывающего сию сакраментальную фразу, и резон, наконец, обрел имя: Энтон Брук.

Мистер Глесс отнюдь не всю сознательную жизнь вешал муку и лососину, расписывал приход и расход жалкой бакалейной лавки на Лавендер Хилл.

В двадцать лет он исполнял должность экспедитора в управлении водолечебных курортов, куда его приняли по причине исключительно красивого почерка. Работал он добросовестно и помышлял самое большее о местечке фининспектора, рассчитывая на дружелюбие своего шефа — мистера Энтона Брука, который, к слову сказать, также имел бесподобный почерк.

На какой же ошибке этот потаенный завистник поймал молодого экспедитора? Вряд ли серьезной, поскольку Дэвид ее даже не помнил. Однако ошибка была представлена по начальству с таким коварством и размахом, что бедному Дэвиду предложили применить талант каллиграфа где-нибудь в другом учреждении.

Он уже готовился пополнить армию лондонских безработных, как вдруг его дядя Бернард — бакалейщик с Лавендер Хилл — неожиданно умер от угара, преждевременно закрыв дымоход переносной печки. Завещания он оставить не успел:

Дэвид унаследовал маленький магазин, а также сбережения, оставшиеся после уплаты долгов.

«Какое все-таки свинство — жизнь!»

Если бы он смог, допустим, к жалованью фининспектора присовокупить выручку от продажи дядиного торгового заведения, ему ничего бы не стоило жениться на своей сотруднице, мисс Джейн Грейвз, и благоденствовать в приятной квартире далеко от клоаки Клапхэм Коммон, а не жить в тяжелой атмосфере маринада, пряностей и черного мыла.

Мистер Глесс быстро прикинул:

«Мне исполнилось двадцать два года, когда я ушел из управления. Энтону Бруку было за сорок. Сейчас ему что-нибудь около семидесяти пяти. Жив ли он еще?»

Этот вопрос Дэвид задал себе в воскресенье утром, покидая англиканскую церковь.

Апрель близился, голубое небо и мягкая свежесть призывали к беззаботному променаду. Черт с ними, с покупателями, которые, плюнув на воскресный отдых, наверняка осаждают запертую дверь лавки! Дэвид направился к Мосбери Роуд, где находилось управление водолечебных курортов, затем свернул на Клапхэм Юнион: там, близ кирпичной стены старого депо раскинулся палисадник — крохотный, зеленый, безмянный оазис.

Когда-то, в послеполуденный час, Дэвид приходил туда подкрепиться сэндвичем, стараясь за-

года исчезнуть, поскольку на единственной скамейке имел привычку располагаться мистер Энтон Брук с несравненно более солидным ленчем.

Оазис сохранился: упругий пушок уже белел на ветках, ласточки чертили сложные кривые в синеве.

На скамейке сидел старичок с козлиным профилем, и Дэвид без особого удивления признал бывшего патрона.

Он довольно-таки небрежно уселся рядом, и старичок подвинулся с недовольным ворчанием.

— Сидим, Брук, посиживаем, — так начал беседу мистер Глесс.

Старик злобно покосился на него и просюсюкал:

— Не знаю вас... Сосем не знаю.

— Зато я отлично вас знаю... Ага! Ножищато прямо как у верблюда, — фыркнул бакалейщик, вспомнив, что мистер Брук страдал мозолями.

— Какого се... серта... Я вам ни... нисего... Я...запре...сяю...

Мистер Брук волновался, заикался, сюсюкал.

— Заткнись, подлая, старая клешня! Прошло времечко запрещений. Я — Дэвид Глесс, вспомнил теперь?

— Нет! Уйдите! — фальцетом завопил почтенный джентльмен.

Но Дэвид понял, что старик превосходно его узнал.

— Ну-ка, дружок, пора и получить по счётику. — Мистер Глесс сжал пальцами левой руки цыплячью шею бывшего начальника.

— Ах, р... р... р... — захрипел мистер Брук.

Но Дэвид не дал пальцам воли: внимание привлекли ноги его жертвы, обутое в полусапожки — мягкая кожа там и сям была вырезана, дабы дать простор ужасным наростам мозолей.

— Получи! — Мистер Глесс изо всех сил ударил пяткой по его правой ноге.

Старик скрючился и медленно пополз боком на скамейку.

— И коммиссионные! — присовокупил Дэвид, аналогичным образом бухнув по левой.

На сей раз мистер Брук закричал или, вернее, защебетал не сильнее пролетающей ласточки. Тонкая струйка слюны потекла на его жилет.

— Некоторые люди, я слышал, даже умирали, если им неожиданно наступали на мозоль, — рассудительно произнес Дэвид Глесс, покидая скамейку.

И действительно, мистер Энтон Брук, убивший его мечты тридцать лет назад, лежал мертвый. Совершенно мертвый.



Вечером мистер Глесс старательно крутил точильное колесо, обрабатывая специальный нож для болонской колбасы, кожура коей отличалась необыкновенной твердостью; чтобы ее проколоть

и нарезать, необходимо было тщательно заточить острие.

Не успел он закончить, как сильный удар потряс ставни и мальчишеский голос издевательски пропел:

— Старая сосиска! Ногастая сосиска!

— Ах ты, шалун! Удачно попал! — улыбнулся бакалейщик.

Хэнк Хоппер обычно проводил вечера в кабаре неподалеку, где одну комнату специально отвели под игральные автоматы. Возвращаясь домой, он всегда обходил пустырь, пересеченный каналом, куда вливались сточные воды со всего квартала.

Заслышав насвистывание дурацкого модного блюза, мистер Глесс выступил на дорогу.

— Красивая песенка, Хэнк!

Хо... хо! — поперхнулся юный насмешник. — Сэр...

На этом респектабельном слове он закончил свое существование: специально отточенный нож буквально прорезал его сердце.



Полиция и газеты отнесли смерть Хэнка Хоппера на счет таинственного убийцы, так как характер преступления вполне соответствовал манере этого монстра: удар в сердце тонким, длинным, заостренным лезвием, случайная жертва ночной встречи, никаких признаков ограбления. Удивлял

следующий факт: той же ночью в ста ярдах от места первого происшествия была убита пьяная старуха, у которой в мешке, помимо разного барахла, лежало несколько банкнотов. По своей привычке, убийца ничего не тронул.

Но до сих пор этот последний довольствовался одной жертвой за ночь и никогда не изменял кровавому правилу.

Когда Дэвид Глесс прочел в газете, что труп Хэнка Хоппера выловили из канала, он удивился в свою очередь, поскольку безусловно оставил тело на дороге, огибающей пустырь.



Весна перестала улыбаться: подул северо-западный ветер, затеялись упрямые холодные дожди. Дэвид решил разжечь печурку-саламандру, и в заднем, жилом помещении лавки сразу стало уютно, особенно когда отсветы пламени запрыгали по стенам и розовому абажуру лампы. Устроившись в глубоком мягком кресле, Дэвид рассеянно прислушивался к затихающему уличному шуму.

Кукушка шварцвальдских часов прокуковала полночь и закрылась в своем домике. И здесь мистеру Глессу почудилось несколько осторожных постукиваний.

Сначала он подумал про капризы ветра, но удары повторились с большей настойчивостью. Мистер Глесс, крадучись, прошел торговое поме-

щение и приложил ухо к двери: ему слышалось дыхание, немного прерывистое. Дверная ручка шевельнулась.

— Кто там?

Приглушенный голос ответил:

— Откройте, прошу вас, и не зажигайте света.

В любой другой период своей жизни мистер Глесс наверняка попросил бы ночного визитера не беспокоиться и продолжать прогулку, но сейчас... сейчас он решительно распахнул дверь.

Фигура неказистая и мрачная проскользнула в лавку.

— Спасибо. Вы гостеприимны.

Мистер Глесс провел гостя в жилую комнату. Это был мужчина средних лет, в очках, худой, бедно и опрятно одетый: с его черного пальто стекала дождевая вода. Мистер Глесс любезно предложил:

— Снимайте пальто и садитесь ближе к огню. Хорошо бы выпить чего-нибудь горячего, не так ли? Стакан грога, допустим, или пунша?

— О, благодарю... мне так неловко... видите ли, я не употребляю крепких напитков... чашку чаю, если позволите...

— Сахару побольше, я полагаю?

— О да!

Гость выпил чай с видимым удовольствием и даже причмокнул; потом, оставив чашку, решил представиться:

— Шейп. Служу в страховом обществе.

Весьма скромный служащий, судя по обтрепанному пиджаку и мятому, линялому галстуку.

— Погода отвратная, — вздохнул Дэвид. — На барометр лучше и не глядеть.

Мистер Шейп с удовольствием поддержал светскую беседу.

— Три дня назад, нет, пардон, четыре, было хорошо. Восхитительный, теплый вечер. Я любовался молодым месяцем, который взошел тут не подáлеку за пустырем и блестел, как...как...

— Как свежеотточенный нож, — завершил сравнение Дэвид. — Вот этот, к примеру...

И он взял с буфета нож, предназначенный для болонской колбасы.

Щеки мистера Шейпа слегка порозовели.

— Верно. Очень хороший нож.

— Почему вы бросили тело Хэнка в канал?

Мистер Шейп несколько смутился.

— Я предполагал, что его найдут два или три дня спустя, но одна нога запуталась в цепких прибрежных водорослях. Я... хм...не убиваю двух человек за одну ночь. Это принцип. Для меня нет ничего выше принципа, и даже мысль о возможном нарушении приводит меня в дрожь.

— Так вы меня видели?

— Да. Понимаете, если б я даже не убил старуху, то все равно бы вернулся домой, так как полиция приписала бы мне вашего юнца.

Мебель заскрипела, затрещала, пламя в печке-саламандре рванулось и загудело, высокая, причудливых очертаний тень восстала на стене.

— Скажите, — прошептал мистер Шейп, — вам не кажется, что...

— Возможно.

Мистер Глесс не счел нужным прямо отвечать на вопрос о таинственном присутствии. Он только повел плечами, словно желая освободиться от какой-то тяжести.

— Еще чашку чая?

Тень исчезла и пламя присмирело.

— Охотно, — оживился мистер Шейп, — чай великолепный. И позвольте один нескромный вопрос? Да? Рассчитываете ли вы...хм... хм... как бы это лучше сформулировать...

— Начать еще разок, хотите вы сказать? Продолжить — вот правильное слово, — улыбнулся Дэвид.

Мистер Шейп радостно закивал.

— Благодарю. Иногда, знаете ли, бывает трудно подыскать точное выражение.

— До сих пор я только старался отомстить за старые обиды, а их накопилось не очень много. Не так-то просто ответить. Новое дело, новые перспективы... Капельку рома? — прервал он неожиданно.

Глаза мистера Шейпа блеснули в запотевших очках.

— Пожалуй, — согласился он весьма сдержанно. — В конце концов, не всякое искушение от дьявола, не так ли? Выпью, но чуть-чуть, боюсь, как бы не напала икота.

Все обошлось благополучно и мистер Шейп снова оживился.

— Никогда... хм... не убивал из чувства мести, хотя причин находилось предостаточно. В школе меня били товарищи, потому что я был слаб и беззащитен. На работе коллеги обзывали меня «рогоносцем», хотя я никогда не был женат и ни с кем не флиртовал. Даже мальчишки-рассыльные норовили подложить мне булавку в кресло. Но я и не думал мстить за эти пустяки.

Он уселся поудобней и выпил еще глоток рома.

— Не могу припомнить, как и почему все началось. Вероятно, я решил себе доказать, убедить себя, что я вовсе не «рогоносец», не мишень для идиотских шуток молодых бездельников, но человек сильный и волевой, существо хладнокровное и жестокое, внушающее ужас... всем! И наконец-то не испытывать угрызений совести перед зеркалом, перед жалкой физиономией мямли, нытика и труса. И потом...

Он слегка наклонился, огляделся, словно опасаясь нескромных ушей, и прошептал:

— Это легко... Никогда бы не подумал... — хм... убивать так легко.

Молчание. Через минуту выскочила кукушка. Мистер Шейп поднялся и надел пальто.

— Мы почти соседи. Я живу на Молинсон Роуд возле кладбища. Заходите, буду счастлив вас видеть. У меня есть несколько прекрасных книг.

— Не обижайтесь... Этой ночью вы?... — понизив голос, спросил мистер Глесс.

Визитер энергично замотал головой.

— Нет, нет, уверяю вас.

Бакалейщик открыл входную дверь. Дождь кончился, ветер стих, небо усеяли звезды.

Мистер Глесс мечтательно вздохнул.

— Как все непрочно в жизни. Ничего постоянного. Погода, к примеру. Я бы с удовольствием вас проводил.

— Был бы просто счастлив! — воскликнул мистер Шейп.

Они шли безлюдными улицами в желто-голубых лунных отражениях, радуясь некоторой общности вкусов. Оба предпочитали одни и те же деликатесы, любили играть в шашки и рассматривать иллюстрированные книги.

Дойдя до кладбищенской стены, мистер Шейп закашлялся, сунул руку в карман и предложил:

— Не хотите ли ментоловую пастилку?

— Охотно.

— Лучшее средство от кашля, — пояснил мистер Шейп.

И в ту же секунду специальный нож вонзился в его сердце.

Мистер Глесс нагнулся и пробурчал:

— Поглядим-ка на эту пастилку.

Ни пастилки, ни конфеты в кармане не было. Только стилет — хорошо заостренный, хорошо наточенный.



Артур Биллинг найден мертвым. Убит на верфи Рейлвей.

Марта Галлент — девица легкого поведения — найдена мертвой. Убита на Фентимен Роуд.

Маргарет Кокс — хористка — найдена мертвой на станции Бриклайерс.

Ларс Эссиг — матрос — найден мертвым в новых доках близ Шедуэлла.

Ирма Мур — цветочница — найдена на Хилл-стрит...

Трагический список продолжал расти. Газеты негодовали, полиция паниковала, люди боялись выходить вечером на улицу. В одном журнале появилась грустная карикатура, представляющая полицейских агентов и судей в тогах и париках, собравшихся у виселицы с небрежно болтающейся веревкой; палач, опираясь на столб, заложил руки в карманы и зевал. Подпись гласила: «безработные».

Но в начале осени кровавая серия неожиданно прекратилась.

Двадцать пятого сентября мистер Глесс выиграл две тысячи фунтов в благотворительной лотерее, устроенной герцогиней Стейнброк.

К нему вломились на следующую ночь и вскрыли сейф.

Мистера Глесса нашли в постели задушенным.

Рука Гетца фон Берлихингена

Мы жили в Гаме — портовом районе города Гента, — в большом старом доме: несмотря на родительское запрещение, я частенько, рискуя заблудиться, отправлялся исследовать мрачные, запыленные комнаты и запутанные коридоры.

Этот дом стоит и по сей день, пустой, покрытый паутиной забвения, ибо некому более в нем жить и его любить.

Два поколения моряков и путешественников обитали в нем; этих людей, верно, радовала близость гавани, зовы пароходных сирен, дрожание мостовой под колесами тяжело нагруженных телег: шумное дыхание жизни врывалось в серый и безотрадный Гам.

Наша старая служанка Элоди устроила нечто вроде собственного «календаря святых»: те дни, когда домашние праздники посещались друзьями и знакомыми, пользовались ее особым почитанием. И самым славным, самым знаменитым из этих друзей был мой дядя Франс Питер Квансиус.

Собственно говоря, он был дальним родственником моей матери, и называя его столь фамильно, мы лишь хотели невинно погреться в лучах его славы.

Всякий раз, когда Элоди сажала гуся на вертел или золотила булочки коричневой патокой, он принимал участие в кулинарном ритуале, обсуждая заинтересованно и со знанием дела достоинства соусов и специй.

Франс Питер Квансиус двенадцать лет прожил в Германии, там женился и там похоронил, после десяти лет безоблачной супружеской жизни, свою жену и свое счастье.

Он редко и скупой рассказывал об этом. Из Германии он привез, кроме страсти к философии, несколько собственных творений, как-то: небольшое сочинение о Гете и ряд переводов, из коих можно отметить великолепное переложение «*Деяний Иова*» — героико-юмористической поэмы Захария, живостью и остроумием достойной пера Гольберга; разрозненные страницы «*Schelmufski's Abenteuer*»¹ — странного плутовского романа Кристиана Рейтера; фрагмент трактата о спагирии Курта Ауэрбаха и с десятков довольно-таки занудных максим из «*Дневника самонаблюдателя*» Лафатера.

Ныне пожелтевшие пропыленные тетради лежат на моем столе: дядя Квансиус завещал их

¹ Похождения шельмы (нем.)

в надежде, что когда-нибудь это принесет мне сугубую и несомненную пользу.

Увы! Я не оправдал его ожиданий. Слишком ярко в память врезался отчаянный возглас Гетца фон Берлихингена — трагического героя столетия реформации, жизнь коего столь оригинально осветило дядино сочинение о Гете:

«Писать! О суета, достойная безумца!»

Дядя, кстати говоря, пятью цветными карандашами пять раз подчеркнул сию не лишенную мудрости фразу.

Молчание и пыль... как тягостно ворошить страшные воспоминания. Только повелительный знак из глубины тьмы вынуждает меня...



Дядя Квансиус жил по соседству с нами в этом угрюмом, сыром, вечно сумрачном квартале...

Его дом был поменьше нашего, но выглядел столь же неприветливо и столь же горестно гудел и стонал от порывов шквального ветра.

Кухни, загнанные в полуподвал, старые скрипучие лестницы, холодные коридоры не очень-то радовали глаз. Лишь одна комната бросала презрительный вызов запустению. Высокая и светлая, драпированная желтым штофом, она согревалась изумительно красивой голландской печью и освещалась лампой с двойным фитилем, что спускалась с лепного потолка на трех витых золоченых шнурах.

Днем массивный овальный стол был завален книгами и папками с гравюрами и миниатюрами, но вечером... вечером на льняной скатерти, вышитой голубым и оранжевым узором, сверкал редкий фаянс и богемский хрусталь.

Фаянсовые тарелки манили аппетитными кушаньями, в хрупких и высоких бокалах золотилось и рдело рейнское и бордосское вино...

За этим столом дядя Квансиус принимал своих друзей, которые весьма почитали его особу и с трогательным восхищением ловили каждую фразу его монологов. Я их вижу как сейчас, — поглощающих бараньи лопатки под чесночным соусом, жареные куриные грудки, тушеное мясо с пряностями, паштеты из гусиной печени... и с не менее довольным видом слушающих умные дядины разглагольствования.

Их было четверо: господин Пиперзеле — какой-то доктор, но не медицины; застенчивый и простодушный Финайер; толстый и флегматичный Бинус Комперноль и капитан Коппеян.

По-моему, Коппеян имел такое же право называться капитаном, как Франс Квансиус — дядей: правда, он где-то и когда-то плавал, носил звание шкипера каботажной навигации и, по словам Элоди, обладал репутацией дельного советчика и человека огромного ума, чему я охотно верил, не требуя никаких доказательств.

Однажды вечером, пока доктор Пиперзеле разрезал сладкий миндальный пирог, а капитан Коп-

пеян дозировал по рюмкам шартрез, ром и кюмель, дядя продолжил чтение своего труда о Гете с того места, где он кончил предыдущим днем, когда собрание дружно уничтожило заливное из телячьей головы.

«Я возвращаюсь к шедевр Гете, великолепному "Гетцу фон Берлихингену". Скорее всего, в одной из благороднейших атак на свиту епископа Бамбергского, купцов из Нюрнберга или кельнских горожан Гетц потерял правую руку.

Искусный оружейник выковал ему железную руку, снабженную пятью пружинами, с помощью коей Гетц мог держать меч и даже манипулировать оным».

Здесь вставил словечко застенчивый Фин-айер:

— Шедевр механики, позволю себе заметить.

— Вспоминаю, — добавил капитан Коппелан, — что моему рулевому Петрусу Донду однажды затянуло кисть между тросом и кабестаном — руку буквально оторвало. Потом ему приделали железный крюк. Разве в нашу эпоху кто-нибудь способен смастерить нечто, подобное руке Гетца?

Дядя Квансиус закивал в знак полного одобрения.

— Вспомните, друзья мои, бессмертные, словно бы отлитые из бронзы слова, завершающие драму Гете:

«О гордый муж! О доблестный воитель! Проклятье веку, что тебя отринул!»

При этом дядя снял очки и значительно подмигнул. Услужливый доктор Пиперзеле также подмигнул, будто разделяя секрет, неведомый остальным.

— Вынужден с некоторым сожалением признать, — продолжал оратор, — что эти великие строки не полностью соответствуют истине. Гетца фон Берлихингена, осужденного за мятеж, заключили в тюрьму в Аугсбурге, где он пробыл два года. Император даровал ему свободу в обмен на рыцарское слово, что он вернется в свой замок Юкстхаузен, безвыездно будет жить в своих поместьях и не возьмется более за оружие в пользу какой-либо партии.

Пятнадцать лет спустя Карл Пятый разрешил рыцаря от клятвы, и Гетц, пьяный от счастья, последовал за императором во Францию, Испанию и затем во Фландрию. После отречения суверена Гетц вернулся в Германию, где и скончался семью годами позднее. Итак...

Новое подмигивание и новый аналогичный ответ доктора Пиперзеле.

— После пребывания в Нидерландах железная рука Гетца исчезла.

— Она выставлена, — робко предположил Финайер, — в музее...

Дядя прервал его жестом.

— Нюрнберга, Вены или Константинополя... не все ли равно. Чепуха! Ржавый железный протез под стеклом. Рука, искусственная рука, с помощью коей Гетц держал меч и даже гусиное перо, была потеряна или украдена...

Он выпрямился, откинул голову и его глаза вдохновенно засверкали.

— ... В Генте, верноподданном городе Карла Пятого, когда Гетц фон Берлихинген занимал достойное место в свите его величества. Там она находится по сей день, и это там, то есть здесь, я ее разыщу!



На мой взгляд, Франс Питер Квансиус, к известному ущербу для бесспорной своей эрудиции, страдал прямо-таки монашеским буквоедством. Сохранившиеся после его смерти бумаги представляют много тому доказательств. Он, к примеру, законспектировал трехтомное сочинение фламандского писателя Деграва, который самым серьезным образом доказывал, что Гомер и Гесиод были выходцами из Фландрии. Этот Деграв к тому же перевел с латыни диссертацию некоего голландского доктора Пашасиуса Юстуса под названием «Роль случая в пагубной привычке играть на деньги».

Иногда я слышал, как дядя взволнованно беседовал сам с собой:

— Пашасиус... Пашасиус, сей неугомонный мыслитель шестнадцатого века, оставил бы нам

великие творения, если б страх костра не преследовал его днями и ночами. Он назвался этим бесподобным именем в знак безграничного восхищения перед Пашасом Родбертом — кюре из Корби девятого века, автором дивных теологических страниц. Ах, любезный Пашасиус, помоги... о помоги, старый друг, потерянный в лабиринтах времен!

Не могу сказать, каким именно манером тень высокочтимого доктора помогла дядюшке в период фатальных поисков железной руки, но такая помощь, вероятно, сыграла свою роль.

В течение недели, прошедшей со дня памятного выступления, дядя Квансиус занимался преобразованием одного из кухонных полуподвальных помещений в лабораторию. Если не считать меня, чье присутствие, понятно, в расчет не принималось, в работе участвовал скромный и добродетельный **Финайер**.

Мне нравилось раздувать маленький переносной горн и нравилось наблюдать, как багровеют угли в печи и как над ними пляшут сине-золотые огоньки.

По правде говоря, в этой каменной берлоге, где вершились сомнительные опыты, было сыро и холодно, однако экспериментаторы не обращали внимания на подобные пустяки: лицо дяди Квансиуса светилось величавостью, а на румяных щеках **Финайера** блестели капельки пота.

Испарения при этих загадочных химических реакциях отличались неприятным запахом. Однажды, когда вонь стала совсем непереносимой, из длинного стеклянного горлышка реторты поднялось и поплыло к потолку зеленое, подернутое багрянцем облачко.

Финайер взмахнул рукой и закричал:

— Смотрите! Смотрите же!

Я сидел далеко от окошка, занятый своим горном, но мне все же показалось, что зеленое облачко постепенно приняло определенную форму. Я перепугался и залепетал:

— Паук... нет, краб бежит по потолку...

— Молчи ты, глупец, — накинулся на меня дядя Квансиус.

Определенность очертания внезапно исказилась и только дымок пополз куда-то в угол. Дядя ликовал и поздравлял себя с успехом.

— Что я вам говорил, Финайер! Книжки старых мудрецов никогда не лгут.

— Она исчезла, исчезла, — твердил простодушный Финайер.

— Только ее тень, однако теперь мы знаем...

Он умолчал о своем знании, а Финайер не любопытствовал.

На следующий день лаборатория закрылась и переносной горн остался в моем распоряжении: правду сказать, я не слишком обрадовался подарку и продал его старьевщику за восемь су.

После лабораторных бдений дядя привязался ко мне еще больше, явно переоценив мои пустяковые услуги.

Поскольку он передвигался не слишком свободно и приволакивал левую ногу — позднее я узнал, что он страдал редким недугом, именуемым планофобией, то есть боязнью ровной поверхности, — я сопровождал его во время коротких и редких прогулок. Он тяжело опирался на мое плечо и, пересекая улицы и площади, упорно смотрел в землю, так что я в каком-то смысле играл роль поводыря. По дороге дядя Квансиус рассуждал на темы серьезные и, без сомнения, поучительные, но, к сожалению, сейчас я ничего припомнить не могу.

Через несколько дней после закрытия лаборатории и продажи переносного горна он собрался в город. Я с удовольствием согласился с ним пойти, поскольку это освобождало меня от школы на несколько часов: желание дяди Квансиуса было, разумеется, законом для моих родителей — добрые люди весьма и весьма рассчитывали на будущее наследство.

Мой древний, гордый и мрачный город затянула пелена тумана. Дождик дробными мышиными коготками пробегал по зеленому куполу огромного зонта, который я держал над нашими головами, старательно вытянув руку.

Мы шествовали по угрюмой улице мимо прачечной и пытались обогнуть стремительный ручей,

опаловый от мыльной воды. Дядя, по своему обыкновению, изучал мостовую.

— Погляди-ка на эти плиты. Они звенели под копытами коней Карла Пятого и его верного Гетца фон Берлихингена. Ах!... надменные башни распадаются в пыль и пепел, а плиты мостовой остаются. Запомни, мой мальчик: всему, что держится ближе к земле, уготована жизнь долгая и постоянная, но алкающие небесной славы обречены смерти и забвению.

Возле Граувпорте он остановился передохнуть и принялся внимательно рассматривать обветшалые фасады домов.

— Здесь проживают дамы Шоут? — спросил он продавца булок.

Тот замедлил шаг и перестал насвистывать развеселую джигу, которая, по-видимому, скрашивала его монотонную работу.

— Так точно, ваша милость, вот этот дом с тремя жуткими мордами над дверью. А у проживающих за дверью... еще пострашней будут.

После нашего звонка дверь сразу приотворилась, и красный нос просунулся в щелку. Дядя вежливо приподнял шляпу.

— Могу ли я побеседовать с дамами Шоут?

— С какой-нибудь или со всеми тремя? — поинтересовался красный нос.

— Да со всеми.

Мы вошли в прихожую, широкую, словно улица, и черную, как пещера, где немедленно появились три тени, еще более черные.

— Если вы пришли продавать... — заголосил визгливый хор.

— Напротив, я пришел кое-что купить, а именно — некую вещь, принадлежавшую приснопамятному оруженосцу Шоуту, — возгласил дядя Квансиус.

Три нечесанные головы беспокойно завертелись, три нестройных голоса то ли провизжали, то ли прокудахтали:

— Посмотрим, но предупреждаем заранее: мы не расположены ничего продавать.

Я недвижно стоял у двери, задыхаясь от нестерпимого запаха прогорклого жира. К горлу подступала тошнота, и я не расслышал дядиных слов, произнесенных тихо и скороговоркой.

— Входите, — наконец, одобрил хор, — а молодой человек пусть подождет тут, в привратничкой.

Я провел нескончаемый час в малюсенькой комнатке с высоким сводчатым окном, застекленным цветными стеклами варварской раскраски, в компании с плетеным креслом, черной прялкой и железной печкой, красной от ржавчины.

Мне удалось раздавить семь тараканов, крадущихся индейской цепочкой по синему плиточному полу, но я не преуспел в охоте за остальными, которые разгуливали вокруг треснутого зеркала, светившегося в полумраке тусклой болотной водой.

Когда дядя Квансиус вернулся, его лицо пылало так, словно беднягу все это время держа-

ли привязанным к плите. Три нечесанные головы что-то шептали, щебетали, мяукали на прощанье.

На улице дядя повернулся к фасаду с тремя безобразными физиономиями и проскрежетал:

— Дуры... трещотки... чертовки!

Затем протянул пакет, завернутый в жесткую серую бумагу.

— Неси осторожно, мой мальчик. Это немного тяжело.

Это оказалось очень тяжело. Пока мы шли, бечевка, коей был перевязан пакет, изрезала мне пальцы.

Дядя Квансиус проводил меня и зашел к нам домой, ибо, согласно календарю Элоди, день считался праздничным: сегодня надлежало вкушать вафли с кремом и запивать шоколадом из специальных чашек — голубых и розовых.

Дядя Квансиус, наперекор своим привычкам, помалкивал и почти ничего не ел, однако радостные искорки так и плясали в его глазах.

Элоди влила крем в горячую вафельницу: через несколько минут квадратные вафли — хрустящие и легкие — красовались на блюде. Вдруг Элоди оставила свое занятие и принялась к чему-то прислушиваться — внимательно и негодующе.

— Похоже, снова крысы в доме, — проворчала она. — Надоедливые, мерзкие твари!

Я брезгливо оттолкнул тарелку, заслышав, в свою очередь, противный шорох бумаги.

— Откуда этот шум, не могу понять, — продолжала служанка, — оглядывая кухню, — будто по коже царапает...

Я сразу угадал направление и посмотрел на сервировочный столик, куда обычно клали не особо нужные вещи. Но сейчас на нем не лежало ничего, кроме серого пакета.

Я уже открыл рот, но в этот момент увидел мигающие, умоляющие глаза дяди. Пришлось поневоле промолчать. Элоди отвлеклась другим делом.

Но я знал: шорох идет от пакета, и я даже видел...

Нечто ворочалось в бумажной тюрьме, нечто живое искало выхода, билось, царапалось.



Начиная с этого дня, дядя Квансиус и его друзья собирались каждый вечер, и я далеко не всегда допускался на эти серьезные и отнюдь не эпикурейские заседания.

Наступил день святого Алоизия — он же день святого Филарета.

— Филарет получил от Господа и природы все необходимое для приятной и разумной жизни, — провозгласил дядя Квансиус, — и должно почитать святого Алоизия за его влияние на доброго короля Дагобера: отметим же сей двойной праздник с достохвальным веселием.

Стол радовал глаза и ноздри телячьим паштетом с анчоусами, жареными фазанами, индейкой с трюфелями, майенской ветчиной в желе; друзья

беспрерывно передавали из рук в руки бутылки вина, запечатанные разноцветным сургучом.

За десертом, состоявшим из фигурного торта, джемов, марципанов и франжипанов, капитан Коппеян потребовал пунш.

Горячий напиток дымился в стеклянных чашках, здравый смысл улетучивался столь же вольно и сладостно. Бинус Комперноль свалился с кресла — его отнесли на софу, где он немедленно заснул. Благодостный Финайер во что бы то ни стало решил спеть арию из старинной оперы.

— Я хочу вырвать из когтей забытья «Весталку» Спонтини, — разглагольствовал он, — пусть восторжествует справедливость!

После чего он задремал, но через минуту завопил:

— Я хочу ее видеть, слышите, Квансиус! Имею полное право! Кто помогал вам в поисках?

— Замолчите, Финайер, — дядя стукнул кулаком по столу. — Замолчите, вы пьяны!

Но Финайер, не обратив внимания, резкими неверными шагами вышел из комнаты.

Дядя Квансиус переполошился.

— Остановите, он натворит глупостей!

Доктор Пиперзеле с трудом приоткрыл мутные глаза и пробормотал:

— Да, да... остановите... его...

Шаги Финайера донеслись с лестницы, ведущей на второй этаж. Дядя бросился вдогонку,

увлекая за собой услужливого, но отяжелевшего Пиперзеле.

Капитан Коппеев пожал плечами, выпил чашку пунша, снова налил и закурил трубку.

— Глупости... очевидные глупости...

И тогда раздался отчаянный вопль, потом крики: кто-то грохнулся на пол.

Я распознал тонкие, жалобные интонации Финайера.

— Она в меня вцепилась, Господи помилуй, палец оторвала...

Послышались стенания дяди Квансиуса:

— Она исчезла... ради всего святого... где она?

Коппеев выколотил трубку, выбрался из кресла, потом из столовой и принялся взбираться по винтовой лестнице, ведущей на второй этаж. Я с беспокойным любопытством следовал за ним в комнату, которая оставалась мне доселе неизвестной.

Мебель там почти отсутствовала. Дядя, доктор Пиперзеле и Финайер стояли у большого стола.

Финайер был бледен как полотно. Его лицо исказила болезненная судорога, с бессильной правой руки капала кровь.

— Вы ее... открыли... — вновь и вновь страдальчески твердил дядя.

— Я хотел рассмотреть получше, — хныкал честный Финайер. — О моя рука, Боже, какой кошмар!

Я увидел на столе небольшую железную клетку, на вид весьма прочную. Дверца была открыта и клетка пуста.



В день святого Амвросия я чувствовал себя отвлратно: накануне, в день святого Николая, подобно всем избалованным мальчишкам я объелся сладостями, пирожными и фруктами.

Долго ворочался в постели и, не в силах заснуть, поднялся среди ночи с мерзким привкусом во рту и желудочными спазмами. Потихоньку боль отпустила; я подошел к окну и взгляделся в черную улицу, где гулял ветер и град сухо и монотонно сверлил тишину.

Дом дяди Квансиуса располагался под углом к нашему. Меня удивило, что в столь поздний час на шторах блуждает желтый отсвет.

— Скорей всего, он тоже объелся, — самодовольно позлословил я, вспомнив, как дядя утащил пряничного человечка из подаренных мне в день святого Николая кондитерских диговин.

И вдруг я отшатнулся от окна, едва сдержав крик.

В доме Квансиуса легкая тень прыгнула на штору и сгустилась безобразным очертанием гигантского паука.

Тень сжималась, расползалась, пробегала кругами, потом пропала из поля зрения.

И затем раздались дикие, протяжные, душевраздирающие крики, которые переполошили весь

квартал, — слышались стуки, скрипы, распахнулись окна и двери.

Этой ночью моего дядю Франса Питера Квансиуса нашли мертвым в кровати.

Если бы просто мертвым! Рассказывали, что горло было разодрано, а лицо раздроблено в месиво.



Я стал наследником дяди Квансиуса, но, разумеется, по молодости лет еще долго не мог распорядиться значительным его состоянием.

Однако из уважения к правам будущего собственника мне разрешили побродить по дому в тот день, когда чиновники из мэрии проводили инвентаризацию.

Спустившись в лабораторию, темную, холодную и уже запыленную, я сказал себе, что, возможно, когда-нибудь продолжу таинственную игру с ретортами и тиглями несчастного спагириста, злополучного искателя магических решений.

И вдруг я напрягся и замер: дыхание перехватило, глаза остановились на предмете, зажатом в углу тяжелой металлической пластиной.

Большая железная перчатка, смазанная клеем или жиром, как мне показалось.

И тогда в тумане моих воспоминаний очертилась странная догадка: это рука Гетца фон Берлихингена.

На столе лежали внушительных размеров деревянные клещи, которыми обычно перехватывают раскаленные реторты.

Я подошел на цыпочках, примерил клещи и приподнял чудовищную перчатку, с трудом удерживая на вытянутых руках.

Окно лаборатории, вровень с мостовой, открывалось на отводную протоку, впадающую несколько дальше в канал.

Осторожно, шаг за шагом, я понес зловещую находку. И тут произошло нечто, заставившее меня вздрогнуть от брезгливого, липкого, холодного ужаса: железная рука бешено задергалась, извивающиеся пальцы вкroились в дерево, отслаивая щепу, пытаясь дотянуться до меня, схватить... Конвульсия била железные пальцы, и когда я сунул клещи в окно, рука застыла в отчаянном, угрожающем жесте.

Она упала с тяжелым всплеском, и несколько минут бурлила и пузырилась вода, словно кто-то буйно и надсадно дышал, стараясь выплыть, вырвать, уничтожить...



Остается немного добавить к странной истории с моим дорогим дядей Квансиусом, которого я продолжаю искренне оплакивать.

Я более не встречался с капитаном Коппеем: кажется, он ушел в море и его лихтер, по слухам,

разбился в ураганную ночь на скалах Фризских островов.

Рана честного и простодушного Финайера жестоко загноилась: ему отняли палец, потом руку до запястья, потом руку целиком, и в конце концов он через несколько месяцев скончался в ужасных мучениях.

Бинус Комперноль быстро опустил плечи и одряхлел: он более не покидает своего дома в Мюиде, никого не принимает, живет грустно и грязно. Что до господина доктора Пиперзеле... при встречах со мной он делает непонимающую физиономию.

Десятью годами позднее при засыпке отводной протоки погибли два землекопа... при загадочных обстоятельствах.

Приблизительно в этот период три безнаказанных преступления свершились недалеко от Гама на Новоземельной улице. Там построили красивый дом за счет трех сестер, которые въехали сразу после окончания работ. Их нашли задушенными.

Это были старые девы Шоут, с которыми я когда-то познакомился.

Я оставил старый дом в Гаме — унылый и запущенный, оставил все дядины вещи — в том числе и любимую им статуэтку римского воина в полном вооружении. Забрал только его рукописи, которые я часто перелистываю, стараясь отыскать что-то, но что именно?...

Кузен Пассеру

Страх разрастается. Кровавой метой
Начертаны следы моих грехов.

ЖИЛЬБЕР

В первое воскресенье четырехдесятницы Жоан Геллерт проснулся в более скверном настроении, нежели обычно. Грядущий пост простирался перед ним кошмаром, заполненным вареными овощами.

Что должен делать здоровенный малый в этом влажном, продуваемом насквозь северо-западном городке, сотрясаемом к тому же колокольным звоном с утра до вечера? Естественно, отдаться наслаждениям хорошего стола.

Как правило, его пробуждение сопровождалось далеким мурлыканьем чайника и аппетитным запахом яичницы, но в эти дни святой абстиненции на блеклой скатерти его могли поджидать лишь кусок серого хлеба, кислое молоко и не менее кислый компот.

Правда, в первое воскресенье великопостная репрессия не обещала слишком тягостных пережи-

ваний: недаром накануне вечером в сумраке кладовой он разглядел трагический силуэт освежеванного кролика, разъятого на деревянных распорках.

Он быстро закончил туалет с помощью дождевой воды и мягкого, противного мыла, спустился по одним выщербленным ступенькам, поднялся по другим, прошел по извилистым коридорам и очутился, наконец, на первом этаже в просторной столовой.

Однажды, несколько лет назад, он ненадолго съездил в Париж, где клерикальный ментор водил его по музеям и церквям. В Лувре он остановился перед полотном Рембрандта «*Философ в медитации*» и воскликнул:

— Да ведь здесь нарисована наша столовая!

И каждый раз, когда его глаза блуждали по этой огромной комнате, он вспоминал Париж.

На всем пространстве комнаты полумрак чувствовал себя вполне уверенно, не решаясь, впрочем, подобраться к роскошному и категоричному сиянию окна. Лестница, по которой Жоан спустился, уходила свободной спиралью в непроглядную высоту, подчеркивая странные несоразмерности и нелепости помещения; к примеру, маленькая дверца вела в боковой коридор, который вел в чулан; там и сям, без намека на какой-либо архитектурный замысел, выступали полукружия и контрфорсы...

На солидном дубовом столе его ждал завтрак менее скудный, чем он предполагал: кофе с молоком, креветки, тонкие ржаные тартинки, едва-едва намазанные айвовым джемом.

Жоан беспристрастно, не упуская ни единой мелочи, представил расписание воскресного дня: месса в церкви святого Иакова; обязательный дружеский визит к месье Пласу — церковному старосте, который, несмотря на пост, предложит немного вина; затем обед — кролик под луковым соусом и апельсиновое суфле. Четыре часа — несколько сухих бриошей по специальному разрешению епископата. Шесть часов — вист у тети Матильды по одному су за взятку. Ужин. Ужин, вообще говоря, всецело зависит от капризов его служанки. Кончено. Конец дня.

Жоан выиграл в вист пятнадцать су, к великому огорчению некой мадам Корнель, — несчастная попыталась возместить ущерб анисовым печеньем и ореховой водой. Смущенными улыбками и неопределенно-одобрительной жестикуляцией Жоан дал повод тете Матильде — она посоветовала ему жениться, не теряя времени: есть, мол, на примете очаровательная девушка из хорошей семьи, честная, заботливая, хозяйственная, набожная и жаждущая детей.

Катрин — его служанка — была, очевидно, в превосходном настроении, так как подавала на ужин, преступно пренебрегая постной диетой,

вкусный рыбный паштет и куриное крылышко, нежное, словно улыбка.

На радостях Жоан набил трубку голландским табаком, закурил и принялся размышлять о том, что все не так уж плохо... и в этот момент из темной глубины прихожей послышался звонок.

Звонок — сказано слабо и неточно. Там висел настоящий небольшой колокол, отлитый несколько столетий назад итальянскими монахами-сервитами.

Его густой, плавный тембр еще не успел растаять, когда посетитель, ведомый старым слугой Барнабе, выступил из темноты в сферу настольной лампы.

— Жоан, это я — кузен Пассеру.

Длинная трубка едва не выпала изо рта курильщика.

— Кузен Паком Пассеру!

Мать Жоана Геллерта была француженка и принадлежала к семье Пассеру из Нанта. Торговые интересы арматоров Пассеру и северных Геллертов когда-то пересекались.

— Боже мой, — пробормотал Жоан, несколько придя в себя от изумления, — располагайтесь, садитесь поудобней... Хотите ужинать?

— Нет, благодарю. Отвратительная похлебка, которую мне преподнесли, пока цепляли локомотив, чтобы дотащить сюда, отбила аппетит на сегодня, да боюсь, и на завтра. Как у вас насчет выпивки?

Жоан Геллерт с достоинством перечислил:

— Шидам, бордосская анисовка, апельсиновая горькая, финский кюммель, ром из Кюрасао...

— Разумеется, в этом захолустье виски встречается столь же редко, как теленок о шести ногах. Ладно. Давайте рому.

Жоан наполнил хрустальный бокал напитком янтарного цвета.

— Я много лет не имел о вас никаких сведений.

— Двенадцать весен, поэтически выражаясь, — усмехнулся кузен и потянулся взять бокал. При этом лампа осветила его лицо полностью.

Геллерт вздрогнул, и другой заметил это.

— Красавцем меня не назовешь, не так ли? Это верруга — ужасная тропическая болезнь. Изглаживает лицо — так, что крысы позавидуют. Что ж! Надо терпеть меня, каков я есть, кузен Жоан!

Он был невероятно уродлив; лысый череп в красных и коричневых пятнах, глаза в гнойном блефарите, широченный беззубый рот; к подбородку, вытянутому калошей, почти прикасался прыщавый нос, левое ухо вообще отсутствовало.

— Дела идут хорошо? — Жоан просто не знал, о чем спрашивать.

— Если вы имеете в виду денежный вопрос, будьте покойны. Я достаточно богат, чтобы купить весь этот городишко с жителями впридачу. Что до остального...

Он замолчал, выпил бокал и повелительным жестом указал вновь наполнить.

Жоан не торопился визнавать про «остальное», поскольку не мог вообразить проблем, так или иначе не связанных с деньгами. Впрочем, слова кузена его успокоили: он почему-то смутно боялся тревожных историй о займах и срочных платежах.

— *In medias res*¹, — продолжал кузен Пассеру. — Полагаю, Жоан, вы еще не начисто забыли кухонную латынь, коей вас шпиговали святые отцы?

Я, как вы догадываетесь, не терял времени на штудирование диалогов и дискурсов. Итак: вы обитаете в маленьком городке, упомянутом не на всякой карте. Чудесное местечко, не так ли?

— Да, — машинально ответил Геллерт, который ровно ничего не понимал.

— Кто придет меня искать? И кто меня найдет в этом доме, черном, как кротовая нора?

— Неужели вы принуждены скрываться? — забеспокоился Жоан.

— Вы правильно поняли. Молодчина. Мальчиком вы не блистали сообразительностью. Годы пошли вам на пользу.

— Полиция... — начал Геллерт.

— К черту полицию, мне с ней делать нечего. Если бы я только захотел, они бы отрядили це-

¹ К сути дела (*лат.*).

лую свору сыщиков. Кстати, двери хорошо запираются?

Жоан улыбнулся, подумав о стальных цепочках, тройных засовах, железных поперечинах на дверях, призванных охранять его имущество и его персону, улыбнулся... и снова ощутил тревогу и смятение.

— По правде сказать, — продолжал Пассеру, — замки, затворы — чепуха. Главное — найдет ли он меня здесь?

— Он? — спросил Жоан.

— Дак, — ответил кузен.

— Дак по-английски «утка».

— Прозвали их метко. У вас найдется карта Океании?

Геллерт вытащил недурной географический словарь.

Гость дотронулся до пунктира тропика Козе-рога. Затем палец медленно пополз к северу.

— Острова Товарищества. Здесь — Наветренные острова. Здесь — Маркизы. Остановимся посередке.

— Мелочь какая-то, — фыркнул Геллерт. — Будто муха протопала.

— Да, куча рифов и островков, самый большой из которых можно пройти пешком за четверть часа, а еды наберешь ровно столько, что хватит на неделю выводку щенят. Но вот примерно здесь, на этом пятнышке живут странные парни, осмелюсь сказать. Представьте карликов ростом

примерно в три поставленных друг на друга яблока, безобразных настолько, что и дьявола затрясет. Притом перепонки между пальцами на руках и ногах, откуда их прозвище — даки.

— Действительно странно, — согласился Геллерт.

— И я рисковал судьбой *«Красавицы из Нанта»* — моего брига — на проклятом атолле, потому что знал: эти прощелыги — великолепные пловцы и лучшие в мире ловцы жемчуга. И они меня приняли хорошо. Да.

Бросив сие односложное утверждение, Пассеру выпил бокал и немного оживился.

— Один из них, по прозвищу Уга-Хо, что значит «справедливый», обладал необычайно крупными жемчужинами бесподобного свечения и колорита: у него имелись три полых кокосовых ореха, наполненных доверху, — сказочное состояние, но мерзавец упорно отказывался их продать. По его словам, он их собрал для морских божеств, понятно, таких же пройдох, как и он сам... Я ему совал тонны всякого барахла, но этот мошенник только охал и кланялся.

«Без жемчуга отсюда не уеду, — поклялся я себе, — хотя бы пришлось истребить всех даков до последнего». К счастью, до этого дело не дошло.

Уга-Хо наслаждался радостью отцовства — его дочь, на йоту менее безобразная, чем остальные, была в своем роде ничего, плутовка...

Чтобы заманить ее на борт, мне понадобилось несколько рулонов ситца и будильник.

Тотчас я запер ее в каюте и дал знать папаше, что дочку можно выкупить за ... три кокосовых ореха.

И тогда разыгралась нелепая драма.

Этой непоседе нисколько не понравилась комфортабельная каюта: она умудрилась вывинтить иллюминатор и без колебаний бросилась в море.

Мы видели, как она стремительно скользит к берегу, до которого осталось несколько кабельтовых, — и здесь огромный плавник взрезал водную гладь.

Акула. По-моему, акула, — сплошь пасть и больше ничего... На следующий день Уга-Хо поднялся на борт, разодетый в немыслимо раскрашенные тряпки. Судя по всему, напялил церемониальный костюм жрецов, проще говоря, колдунов.

Он меня проклял и натараторил на пиджин-инглиш массу оскорблений. К несчастью, разозленный провалом столь чудесной сделки, я выпил сверх меры. И вдобавок Уга-Хо плюнул мне в лицо. Я схватил первый попавшийся предмет.

Случайно им оказался напоминающий мачете ужасный резак, острый, как бритва, которым в здешних местах прокладывают дорогу в лесных зарослях.

Я размахнулся и со всей силы ударил Уга-Хо.

Помните, я сказал, что эти даки — совсем крохотные человечки с прямо-таки осиной талией.

Слушайте: я буквально рассек его пополам — туловище сюда, ноги туда...

Мы его швырнули акулам и тотчас подняли паруса — ведь в конце концов эти макаки были английскими подданными.

— Разрезанный пополам, сожранный акулами, — прервал Жоан Геллерт, — ведь не от него же вы скрываетесь, кузен.

— Именно от него. — Лицо Пассеру даже перекосилось. Он выпил два бокала и продолжал голосом хриплым и приглушенным:

— Это было в Сан-Франциско. Я переодевался в гостиничном номере, собираясь пойти в ресторан, как вдруг из ванной комнаты донесся забавный шум: «клап»... «клап»... словно там кто-то возился и плескался. Я открыл дверь, заглянул и... волосы у меня зашевелились: в ванне, полной крови, барахтался маленький, уродливый калека. Что я говорю! Какой-то анатомический обрубок неопределенно-человеческой формации. На раскромсанной голове блестели выпуклые глаза цвета белой эмали, жадно ухмылялся провал хищного рта. Я узнал Уга-Хо. Ужасающий запах разлагающегося трупа вывел меня из ледяного оцепенения. Он проскрежетал мое имя, потом несколько слов на своем диком пиджин-инглиш:

— Как я... Как я... Пополам... Съеден... Сгнуть...

Боже, как я удирал!

Геллерт внимательно посмотрел на гостя.

— Кузен, а может быть, это кошмарное видение — галлюцинация?

— Какое к чертям видение! — возмутился Пассеру. — Слушайте дальше. Мы плыли в Европу, и вот однажды, где-то посреди Атлантики, матросы ворвались ко мне в каюту и принялись кричать, что реи и ванты забрызганы кровью и на палубе не продохнуть от удушающего зловония; короче, они отказались выполнять парусные маневры. Пришлось прибегнуть к обещаниям и угрозам, чтобы как-то утихомирить людей. Но дважды в лунном свете я видел на фокке в куски, в лохмотья разложившийся труп, и сквозь завывание ветра и скрип снастей слышал проклятый рефрен:

— Как я... Как я... Пополам... Съеден... Сгнить...

Геллерт счел своим долгом утешить страдальца:

— Опять же все можно объяснить болезненной остротой восприятия.

Пассеру презрительно пожал плечами и с минуту помолчал.

— В Лиссабоне я понемногу успокоился. Эта тварь не появлялась, и я уже начал надеяться...

Но как-то раз я возвращался с дружеской вечеринки и на повороте улицы в свете фонаря заметил калеку, устроившегося на тротуаре. И прежде чем заметил, в нос ударила жуткая вонь и меня чуть не стошнило. Я хотел свернуть в другую сторону — поздно: он пружинисто подпрыгнул и бро-

сился в лицо, раздирая жадными своими когтями щеки и губы, обливая меня гнойной сукровицей.

И все началось на следующий день. Голова распухла, как тыква, кожа вздулась фурункулами, я беспрерывно кричал от боли.

Верруга — диагноз портового врача. Судно поставили на карантин, а я провалялся несколько месяцев в больничном изоляторе.

— И потом? — спросил Геллерт, искренне взволнованный.

— Видел его близ набережной в Нанте. Ко мне он не приближался. Через несколько дней в доме пахнуло этой гадостью. Тогда я бросил все, удрал воровским манером — и вот я здесь, в захолустье, где он, возможно, меня не разыщет.

Геллерт призадумался.

— Но если все обстоит именно так, — рассудил он, — эта тварь... гм... если употребить дурацкое слово... есть фантом?

Пассеру не отвечал.

— Я не верю в фантомов, — напыщенно провозгласил Геллерт. — Впрочем, наша религия не признает подобных экзистенций.

И тогда Пассеру произнес медленно и страдальчески:

— А если Бог отвернулся от меня, если я отдан на заклание и уже горю в адском пламени?

Жоан Геллерт опустил голову и почувствовал, как волна великого страха поднимается в его душе.



В городке отнеслись благосклонно к присутствию Пакома Пассеру — ведь богатство куда важней внешности. Тетя Матильда, принимая его у себя, размышляла о кандидатуре будущей супруги, которая не обратила бы внимания на его безобразие. Церковный староста Плас угостил его вином, а Катрин — служанка Жоана, — соблазненная щедрыми подачками, забыла регламент поста и готовила, дабы угодить негоцианту, тонкие и пряные блюда.

Недели проходили вполне безмятежно: чудовищный карлик-фантом, похоже, еще не отыскал убежища своей жертвы.

Однако в начале апреля Жоан Геллерт открыл нечто тревожное.

В глубине сада затерялся маленький бассейн, посреди коего на облепленном раковинами цоколе вздымался фонтан-тритон. Жоан гулял неподалеку, разглядывая сиреневые кусты, обещавшие раннее цветение, как вдруг слышал странные всплески.

Он не заметил ничего особенного, кроме темных, напоминающих засохшую кровь, пятен на старой акватической статуе. И ничего не сказал кузену.

Через несколько дней, спускаясь к первому завтраку, он ощутил на лестнице тлетворное дыхание, гнилостный воздушный ток. В столовой

Катрин распахивала окна и двери, несмотря на холодный весенний ветер.

— Откуда такое зловоние? — негодовала она. — Я чуть было не свалилась в обморок, войдя сюда.

Жоан промолчал. В ту же секунду его испуганный взгляд застыл на белой десертной салфетке, на страшном, специфическом отпечатке: это был след крохотной руки, перепончатой, словно утиная лапа. Он моментально спрятал салфетку от глаз Катрин и решил ничего не говорить кузену Пассеру, дабы не смутить покой, воцарившийся в душе последнего.

Ибо Паком Пассеру обрел, наконец, мир, по крайней мере на этой земле.

Под майским солнцем расцвели первые розы и городок, согретый южным бризом, похорошел и оживился.

Пассеру с каждым днем все более проникался провинциальными нравами и начинал входить во вкус наивных удовольствий местных жителей. Он регулярно являлся на чаепитие к старым девам, интересовался деятельностью дам из благотворительного комитета, часами просиживал с трубкой над проповедями Гортера, выпивал с моряками в портовом кабачке.

Окруженный благоуханием роз и сиреней, он охотно распевал с молодыми людьми: *«Это месяц Марии, это месяц прекрасный!..»*

Жоан Геллерт незаметно для себя привязался к странному человеку, гонимому зловещей судьбой, и даже перестал замечать его безобразие. Однажды утром, воодушевленный молодым задором солнца и звонкой радостью ласточек, он предложил кузену оставить серьезное чтение и прогуляться по окрестностям.

— Каких-нибудь два лье по роскошным лугам и уютный трактирчик в конце пути.

Небо ошеломляло аквамариновой чистотой; гуденье пчел стояло в теплом воздухе; из-за горизонта доносился низкий рокот морского прилива.

— Счастье человека — в спокойствии, — объявил Геллерт, вспомнив, что где-то прочел этот пресный афоризм.

— Справедливо, — убежденно согласился Пассеру, — к сожалению, я это понял слишком поздно.

Они, как всегда, избегали опасной темы.

Они шли вдоль узкоколейки, соединяющей два маленьких портовых города: здесь бегал поезд с раскрашенными вагончиками, напоминающий механическую игрушку.

Ни Геллерт, ни Пассеру не заметили его приближения, что, впрочем, было естественно: железная дорога преимущественно проходила по извилистому, довольно глубокому рву. Вдруг Жоан закричал:

— Внимание, кузен... Внимание!

Локомотив летел на удивление стремительно, выплевывая дым, пар и каскады обжигающих искр.

— Берегитесь!

Жоан закричал своевременно и Пассеру мог еще спастись.

Он этого не сделал.

Он застыл между рельсами с поднятыми руками и смотрел на грохочущее, стремительно приближающееся чудище. Геллерт увидел, как машинист перегнулся через поручни, отчаянно жестикулируя; и еще он увидел нечто бесформенное и вместе с тем отдаленно, ужасающе человекоподобное, лежащее на буфере локомотива.

Тормоза взвыли, поезд, со свистом отпыхиваясь, остановился; люди в синей униформе выскочили на путь и Геллерт услышал изумленные, испуганные восклицания:

— Господи, спаси и помилуй! Невероятно! Его разрезало надвое.

Туловище здесь, ноги там — таким Геллерт запомнил своего кузена.

Тело перетасили в хижину пастуха; к концу дня зловоние стало совершенно невыносимым. Труп разложился до такой степени, что пришлось его засыпать негашеной известью.



Жоан Геллерт немало удивился, узнав через некоторое время после погребения, что кузен за-

вещал ему свое состояние. Его подлинная скорбь отнюдь не уменьшилась, поскольку к ней прибавилась трепетная и взволнованная благодарность.

По прочтении завещания он несколько часов не мог успокоиться: наследство оказалось столь велико, что сказочные цифры беспрерывно стучали в его недоверчивых ушах:

— Миллионы... Еще миллионы...

Месяцы проходили. Геллерт ни в чем не изменил установленный жизненный порядок. Огромное состояние скорее пугало его, так как он весьма опасался за нерушимое доныне спокойствие своей души.

Чувство признательности отнюдь не уменьшилось: он создал своего рода культ великодушно-го кузена, благоговейно хранил его любимые книги, поставил его курительные трубки в особый стеклянный шкафчик, который охотно бы разукрасил цветами, как могилу.

Так прошел год.

Когда он проснулся в первое воскресенье сорокадесятиницы, первой мыслью была мысль о Пассеру. Он даже прослезился.

— Год тому назад он приехал просить приюта.

Геллерт настолько проникся драгоценным воспоминанием, что даже заказал Катрин точное меню того незабвенного воскресенья: на обед — кролик под луковым соусом и апельсиновое суфле, на ужин — рыбный паштет и нежное куриное крылышко.

Он мысленно фиксировал похожие подробности этих двух дней: запах дешевого вина у церковного старосты Пласа, вкус сухих бриошей за чаем в четыре часа, вновь выигранные пятнадцать су в гостях у тети Матильды, огорчение мадам Корнель и жадное поглощение оной анисовых печений и ореховой воды.

Вечером он расположился у настольной лампы и разжег трубку, набитую голландским табаком.

— Точно такой же вечер, — прошептал он, — и моросит мелкий дождь. В этот час прозвонил колокол... да...

И здесь гулкий бронзовый звон разбил сумрак старинного дома.

Жоан Геллерт вскочил с диким воплем. Неужели сейчас лампа осветит безобразное лицо кузена Пассеру, который снова спросит рому и снова расскажет невероятную историю?

Нет. Это явился старый Барнабе, весьма разгневанный.

— Прощу прощения, месье. Проклятые мальчишки дергают колокол. В конце концов, я пожалуюсь месье мэру.

Жоан Геллерт облегченно вздохнул и благородно заступился за шалунов.

— Оставьте, Барнабе. Надо принять во внимание молодость преступников.

Словно бы неумолимые клещи отпустили сердце: на радостях Жоан открыл поставец с напит-

ками, достал наудачу какой-то графин и налил полный стакан.

Это был ром.

Он никогда не пил рома и новая схожая подробность слегка обеспокоила его. Тем не менее, в память о кузене Пассеру, он выпил, и, войдя во вкус, налил еще стакан.

С непривычки он сразу ощутил головокружение, тщательно загасил трубку и, откинувшись в глубоком кресле, задремал.

Сон отличался легкостью и непостоянством, так как он проснулся от бумажного шелеста: ему показалось, что перелистывают книгу.

Он не очень-то любил чтение, и книги редко покидали библиотечные полки; сейчас он протер глаза, еще раз протер, но реальность была неоспорима: на столе, где оставались только лампа и пепельница, лежала раскрытая книга.

Жоан тотчас узнал «Проповеди» Гортера.

— Невозможно, — пробормотал он, полагая, что сонное сознание еще не обрело ясности, однако новый сюрприз отличался роковой конкретностью.

Он точно помнил, что загасил свою трубку, и тем не менее тонкая синяя спираль дыма изгибалась вокруг лампы.

— Невозможно, — повторил он. — Моя трубка давно остыла.

И здесь ему попался на глаза маленький стеклянный шкафчик: он зажмурился, снова посмотрел... да... дверца была открыта.

Жоан машинально пересчитал трубки с фарфоровыми чашечками: раз, два... шесть... Одной не доставало.

По другую сторону стола имелось еще кресло, которое кузен Пассеру занимал каждый вечер и которое хозяин запретил выносить.

Рассеянный свет лампы едва достигал кресла, и все же в полумраке угадывалось колебание тени, очертание человеческой фигуры. Нет, слава Богу, ничего.

— Пей ром после этого, — поморщился Жоан.

Последние спокойные слова, последняя уверенная интонация.

Ужасающее зловоние заполнило пространство, невыносимая волна, казалось, исходящая от гниющей падали, ворвалась в незащитное горло.

Жоан с трудом поднялся, добрался до лестницы и, задержав дыхание, как ныряльщик, перепрыгивая ступени, вбежал в свою комнату и закрылся на ключ.

Потом, задыхаясь, прислушался.

Ничего. Сначала грузное молчание придавило уснувший дом, затем родился звук — далекий и неопределенный.

Затем звуковое переживание уточнилось: по ступеням лестницы шлепало нечто мокрое, хлюпающее, как если бы громадная губка ожила и обрела возможность ходить.

Она брякнула о закрытую дверь, будто груды мокрого белья: струйка зловония просочилась в замочную скважину и превратилась в голос:

— Как я... Как я... Пополам... Съеден... Сгнить!

Ах, этот голос!

Жоан Геллерт жизнь бы отдал, чтобы услышать туземную тарабарщину, но нет! Нет...

Это был голос кузена Пассеру.



На рассвете Жоана разбудил Барнабе.

— Месье, полюбуйтесь-ка, что мы нашли на пороге входной двери. Мы с Катрин считаем, что это оставили вчерашние озорники, правда, ни она, ни я ничего не заметили в темноте.

Три кокосовых ореха, доверху наполненных крупным жемчугом.



Болезнь разразилась неожиданно и без всяких симптомов. Когда Жоан проснулся одним прекрасным майским утром, его лицо покрылось волдырями, которые начали гноиться еще перед приходом врача. Вскоре он буквально купался в гное и сукровице. В конце первой недели ухо отпало и по черепу пошли красные и коричневые полосы.

Он был донельзя обезображен: даже преданные слуги боялись приблизиться по причине отталкивающего запаха, исходившего от тела. Специалисты из Лейдена и Амстердама, покинув комнату больного, устроили консилиум.

— Вы обратили внимание на любопытную деформацию рук? Заметили образование перепонки между пальцами? Безусловное сходство с утиной лапой.

— И как понять странный колорит эпидермы? Кофе с молоком! Честное слово, я решил, что передо мной метис или малаец.

Тетя Матильда, которая набралась храбрости и вошла к племяннику, воскликнула:

— Но это не он! Это какой-то негр!

Он умер через три недели: по словам врачей, тело прогнило так, словно много месяцев пролежало в могиле. И когда Жоана Геллерта приподняли, чтобы положить в гроб, его тело переломилось пополам.

ЖАН РЭ:

Поиск черной метафоры

Литературная критика — занятие неблагодарное, и ее необычайное распространение в наше время — еще одно свидетельство кризиса современного переживания. Ассимиляция, систематизация литературы, ярлыки, оценки, реклама — все это вполне соответствует всеядному характеру цивилизации третьего сословия и «рыночному» восприятию искусства. Речь идет не о замечательных мастерах критицизма, которые, обладая немалым творческим потенциалом, создают литературоведческие и эссеистические артефакты, но о поденщиках литературной индустрии, штампующих гениев, великих писателей и прочих чемпионов беллетристики. О них долго говорить не стоит, но следует сказать пару слов о традиционной науке о литературе. Проблематичность ее аргументации и методики стала очевидна не вчера: разделение литературного процесса на «школы и направления», напоминающие «отряды и виды» зоологии, констатация влияния писателя и влияния на писателя — все это создает «общую картину», в которой никак не присутствует уникальность той или иной творческой парадигмы. Феноменологическая критика и структурный анализ в силу своей крайней специфики не годятся для репрезентации автора «широкому читателю». Впрочем, что такое «широкий читатель»? Это выражение, рожденное в тумане демагогических мозгов, разгадать невозможно, так как любой текст подразумевает избранного читателя, исключая надписи на стенах и лозунги, кои направлены просто в космическое ничто. Поэ-

тому удобнее всего, даже рискуя навлечь странный упрек в субъективизме, поразмыслить над книгой вместе с воображаемым читателем, изложить свободные впечатления вне всякой дидактики и поучения.

Реймон Жан Мари де Кремер (1887 — 1964), известный как Жан Рэ, прославил бельгийскую литературу, и можно с большим вероятием сказать, что после Мориса Метерлинка никто из бельгийских авторов не стяжал столь широкого интернационального признания. В отличие от других классиков черной фантастики — Лавкрафта, Майринка и Эверса — Жан Рэ прожил бурную, опасную, таинственную жизнь... по его собственным словам. До сих пор друзья и биографы не нашли достоверных подтверждений ослепительной фактологии его бытия. Дважды простреленный, он сто раз рисковал жизнью, переплывая Атлантику на своей шхуне и доставляя контрабанду в Америку, стонущую под игом сухого закона; умирал от голода и жажды в австралийских джунглях; увлекался поножовщиной в наркомановых кварталах Шанхая; обменивал виски на жемчуг и жемчуг на виски в Полинезии; работал... укротителем львов. Злые правдолюбцы утверждали, что эти легенды объясняются агрессивным воображением авантюристически настроенного буржуа и что после годовой отсидки в тюрьме за какие-то финансовые проказы Жан Рэ много лет самым обыкновенным и добровольным образом просидел в библиотеках родного города Гента. Что можно сказать? Уважаемые люди подтвердили наличие пулевых шрамов на груди, его друг — писатель Томас Оуэн — удостоверял мастерское обращение с парусной яхтой. Вот и все доказательства. Он любил рассказывать о своих похождениях, и когда его ловили на противоречиях, неизменно отвечал: «Жан Рэ есть Жан Рэ. С ним никогда не знаешь...» Замечательная эрудиция и довольно приличное количество написанных книг вызывали сомнения в подлинности интенсивно-опасной жизни. Во-первых, когда? Во-вторых, зачем? На второй вопрос

Жан Рэ отвечал с пиратской прямоотой: для денег, только для денег. Весьма не любил разговоров о своем творчестве, но, как вспоминает Пьер Пирар, «...ему нравилось, когда говорили о его готическом лице, жестоких глазах, губах инквизитора или о его каменном сердце. Он любил гипотезы о своем таинственном прошлом, а когда его называли пиратом, он был просто в восторге» (L'herne, Jean Ray, 1980. p. 206). Его отличали несравненная отвага и трогательная любовь к виски — именно любовь, а не непрерывная жажда обладания. Лжец, мистификатор, бутлегер, авантюрист южных морей, блистательный сочинитель, феноменальный изобретатель сюжетов, человек с дурной репутацией, кто он — Жан Рэ? Кто он *«на самом деле»*? Замечательное выражение, анализу которого мы и хотим посвятить последующий текст.



В предисловии к «Книге Фантомов», скромно подписанном «Издатели», можно прочесть такие слова: «В этом веке только двое или трое смогли создать все свои книги на едином черном дыхании. Один из них — бельгиец Жан Рэ». Сказано справедливо и со знанием материала, особенно если учесть, что «Издатели» — псевдоним интересующего нас автора. Черное дыхание можно уподобить «черной пневме» — тайной и решающей магической субстанции, которую искали алхимики и спагиристы. Это искусственно найденный стимулятор, провоцирующий жизнь так называемого «мертвого объекта» или интенсифицирующий активность живого организма. Найти его чрезвычайно трудно, и остается только удивляться быстрому успеху дяди Квансиуса («Рука Гетца фон Берлинхгена»). Гипотетическое существование «черной пневмы» позволяет подвергнуть такие понятия, как «жизнь» и «реальность», серьезной редакции и, равным образом, позволяет изменить воззрение на фантастику вообще и на фантастическую литературу в частности.

Авторы статей и книг о фантастической литературе рассматривают оную как результат свободной сюжетной инвенции и сознательного смещения натуральных акцентов в некую беспочвенность, разреженность, хаотизм. Это всегда насилие над реальностью, бегство от реальности, более или менее криминальное действо: «Автор фантастического романа пытается компенсировать скудную, нищую реальность роскошью воображаемого континуума» (Vax, Louis. *La séduction de l'étrange*, 1965. p. 118). Легислатура воспринимаемого мира полагается незыблемой, непосредственная данность сознания — первичной. Наш мир «на самом деле» стабилен, предсказуем, его законы тождественны для всех. Поэтому достигнуть эффекта «истинного страха», что является одной из целей фантастики, в условиях относительно понятного континуума невозможно — так считают известные критики Роже Кайюа и Цветан Тодоров. В силу закона референции незнакомую ситуацию всегда можно соотнести с другой, понятной ситуацией. Опасности и угрозы привычной сферы обитания всегда порождают однозначный террор, но отнюдь не более сложное и куда более загадочное чувство *horror* — истинного страха. Возбудителей подобного чувства необходимо поместить либо в потустороннее («Последний гость»), либо в область экзотическую и труднодоступную («Кузен Пассеру»), либо в параллельную вселенную («Переулочек святой Бергонны»). Только в месте разрыва универсальной когерентности или всеобщей взаимосвязи может просочиться неведомый, неведанный холод.

Эту вполне позитивистскую концепцию способен разделить психиатр или полицейский, но не автор фантастического произведения. Явно или скрыто критицизм такого рода основан на известном положении Фрейда о «компенсации»: писатель в силу тех или иных причин (болезненная интроверсия, разные психические девиации и т. п.) неспособен принять и завоевать объективные, реальные ценности внешнего мира и, следовательно, ему

ничего не остается, как, повинаясь инстинкту самосохранения, компенсировать неестественный вакуум воображаемым приоритетом. В данном случае нас занимает лишь метафизический аспект проблемы. Допустим, видимый мир реально существует, но это еще не означает, что ему должно приписывать осевой и централизованный характер, а его ценности полагать фундаментальными. Совсем напротив: все более и более ощущается хрупкость и транзитность «лучшего из возможных миров», эфемерность любой точки опоры. Можно ли это назвать «реальностью» с необходимой атрибутикой постоянства и закономерности? Если же планетарная структура подвержена энтропии, в лучшем случае это можно назвать «пока еще реальностью».

Греческий поэт Каллимах поведал такую историю: однажды Аполлон заметил двух змей, истощающих силы в непрерывной, уродливой борьбе. Вырванные при этом куски мяса превращались в аналогичных змей, и они тут же принимались за аналогичное занятие. Аполлон поразился убогой жизни земных тварей и бросил золотой жезл: змеи обвились вокруг жезла — так родился феникс. Один из вариантов мифа о кадуцее Гермеса. Миф до крайности многозначен. Две змеи: мужчина и женщина, мужское и женское начало в человеке, душа и тело, человек и его окружение и т. п. Вывод Каллимаха: «Солнечный бог обратил призраков в светлую явь» («Четвертый гимн Аполлону»).

Следовательно, божественное вмешательство есть непереносимое условие возникновения «реальности», и существа, лишенные подобного контакта, не могут называться реальными. Возражат: здесь мифическая гипотеза, а мы живем в интерчеловеческом пространстве, доступном восприятию, исследованию, исчислению. Но почему эту естественность все более пронизывают зловещие образы и метафоры и почему — сознательно или нет — для ее характеристики все более употребляются инфернальные

притчи и параболы? Сизиф, Данаиды, Окнос, вечно сплетающий тростниковый канат, который вечно расплетает идущая следом ослица, — излюбленные символы человеческих занятий в абсурдной вселенной. Ни малейшего понятия о рае как средоточии живой жизни, зато сколько угодно представлений об адской бесконечности и мучительной эскалации кошмара. В ирландском эпосе «Путешествие святого Брандана в ад» герой после блужданий в пещерах и лабиринтах попадает в бескрайнее пространство, где его взору открывается следующая картина: вокруг демонов кружатся души грешников: стараясь избавиться от окровавленной пасти, они пытаются, так сказать, вырваться со своей орбиты и тут же втягиваются в сферу другого демона. Достойная иллюстрация к новым теориям звездных систем, «кротовых нор» и «туннелей» пространственно-временного континуума.

Парацельс отличает «божественный археос», который синонимичен энергии, форме и закономерности, от «черной пневмы», не дающей самодостаточную жизнь, но провоцирующей возможность экзистенции любого объекта путем его автодеструкции. Уничтожаясь, объект активизируется в уничтожении иного. Так, Теодюль Нотт из рассказа «Великий Ноктюрн» прожил всю свою жизнь за один день, но, оживленный черной пневмой демона Теграта, обречен влачить спровоцированное существование долгие годы, вынужденный убивать, хочет он того или нет. Лишенный «божественного археоса» объект необходимо и первично агрессивен. Примитивный, основной язык подобного космоса — язык угрозы и насилия, сколь бы ни туманила его лексика дружбы, эротизма, патриотизма и т. п. Это единственный язык, однозначно понятный всем без исключения обитателям космоса: даже камни, по мнению геологов и ювелиров, меняют свой колорит, предчувствуя угрозу. И если это так, а есть определенные основания для подобного утверждения, то, полемизируя с вышеупомянутыми критиками, резонно предположить, что

страх есть не просто эмоция среди других, но фундаментальная категория бытия. Следовательно, экзистенциальный смысл заключается не в преодолении страха, что нелепо и наивно, а в погружении, вхождении, попытке понимания этого сложнейшего явления. Когда человек боится, стесняется своего страха, опасаясь смехотворных обвинений в трусости, он покидает темную, запутанную тропинку самопознания и выходит на торную дорогу массового идиотизма и лицемерия. Открыться своему страху, признать себя существом агрессивным и жестоким, заброшенным в мир так называемого зла, то есть в космос беспощадных случайностей, контракций и репульсий, страхнуть морок лживой «позитивной этики», значит открыться... ирреальности собственного бытия. Так как жизнь — не изначальная данность, жизнь есть гипотеза или, в лучшем варианте, труднодостижимая цель. И пока цель не достигнута, мы только игрушки эмоциональных спадов и напряжений, чью функциональность менее всего способен контролировать разум головного мозга — явление среди явлений, набор интерчеловеческих банальностей и предрассудков. По своей пассивной и рефлексивной природе он лишь фиктивный координатор, вечно беспокойное зеркало. В отличие от сознания, любая эмоция обладает специфической энергией и активной логикой. Если мы, разлюбив кого-нибудь, говорим: «это было наваждение», мы рассуждаем ошибочно: только наша эмоция придает эффект реальности принципиальному наваждению окружающего.

Такого рода предположения необходимо иметь в виду при анализе фантастической литературы вообще и произведений Жана Рэ в частности. Один из лучших его интерпретаторов — Жак ван Герп — любопытно рассуждает об онтологии кошмара: «В этой вселенной единственные гиды — интуиция и страх. Разум — грубый инструмент, помогающий погибнуть, но не спастись. Это вселенная вещей, которые днем зреют к отмщению и пробуждаются

ночью: картина, статуя, настенные часы, кольцо, отрезанная рука» (L'hème. 1980, p. 106). Почему они «зреют к отмщению»? Потому что созданы насильем и насыщены его энергетикой. Страх разрывает привычную сеть радио, высвобождая бунтующую конкретность: угловатая тень шторы набрасывается на рояль, истекающий черной кровью, из которой поднимается белозубый и чудовищный негр... восприятие обостряется, обнажая демоническую суть вещей, координаты расходятся бешеной кривизной, так как пропадает полюс прагматической равнозначности объектов. И потом наблюдатель, если не погибает и не сходит с ума, удивленно поглядывает на дежурную обыденность вещей, почему-то приписывая себе, а не им, свободную волю к сумасшествию. Только репрессивно радио может установить свой диктат и подчинить мир своему призрачному господству — иначе раскованное воображение рассеет с трудом цивилизованное «я» в пространстве чуждых и агрессивных сущностей. Но в этой гибельной аванюре скрыт уникальный шанс, о котором упоминает Жан Рэ в предисловии к рассказам Томаса Оуэна: «Страх имеет божественное происхождение. Без чувства страха вы не найдете в гипергеометрических пространствах Богов и Духов. Если страх только вызывает дурноту и не оставляет на ваших губах привкуса огненного вина и не пробуждает трепета ошеломляющей радости или тревожной благодарности — не открывайте этой черной книги чудес».



Экспрессивная цитата, наподобие некоторых фрагментов Новалиса, оставляет впечатление загадочности. Насчет «привкуса огненного вина» можно более или менее понять, но почему именно страх поможет отыскать Богов и Духов «в гипергеометрических пространствах»? Если страх лишь способствует познанию кошмарных спектров олимпийских богов («Мальпертюи») или духов, населяющих переулки

святой Берегонны, то как Жан Рэ надеется выбраться из абсолютной глубины бездны? Или здесь имеется в виду преоборение «стража порога» и путь эзотерического посвящения? Фантастическая литература предполагает метафизическое усилие, и каждый автор сознательно или невольно комментирует ту или иную традицию.

Согласно известной концепции Аристотеля, целое больше составляющих частей. Можно ли рассматривать мироздание как нечто целое? Безусловно, поскольку иначе понятие «реальность», равно как понятия «телеология», «термодинамика», «энтропия», «прогресс», теряет всякий смысл. Но неучтенная, иррациональная доля столь же безусловно определяет непостижимую судьбу аристотелевского целого. Если назвать эту «неучтенность» божественным провидением или философским камнем, мы получим возможность энтелехии и «тела квинтэссенции» в эзотерической доктрине, утопию, прогресс и гуманизм в социологии и литературе. Если же представить неведомую разуму часть «катализатором распада» — нас ожидает дистопия, ядовитая и поглощающая аморфность и кошмарные сюрпризы тотальной энтропии. Совершенно очевидно, что последнее является идеологической прерогативой черной фантастики.

Когда Жан Рэ писал о том, что кроме него только двое или трое сумели создать свои книги «на едином черном дыхании», он, скорее всего, имел в виду Лавкрафта, Майринка и Эверса. С метафизической точки зрения и Густав Майринк, и Ганс Гейнц Эверс вполне традиционные авторы, так как, несмотря на необычайную сюжетную и психологическую разветвленность, они в принципе признают идеи сотворенности мира и аристотелевского целого, то есть первичность креативной мифологемы. У Лавкрафта все обстоит иначе. По его мнению, человек вынужден признать вселенную организмом или механизмом, дабы утвердить свой наивный антропоцентризм, хотя ни малейших оснований для этого нет. В безличном мировом

хаосе «черная пневма» динамизирует объекты энергией распада и диссолюции — это, в свою очередь, провоцирует модус вивенди — убийство и пожирание. Количественное и качественное разнообразие данных процессов называется бытием. Любовь, доброта, благоразумие, преданность — только боевые приемы, засады, камуфляж стихийно агрессивной твари... Таково «на самом деле» Лавкрафта, устраняющего амбивалентность жизни и смерти, реальности и мечты, «живого человека» и призрака, поскольку в режиме диссолюции и натуральной метаморфозы логика теряет дистрибутивные функции: язык и другие знаковые системы уничтожают и уничтожаются в общей, вечной и беспощадной борьбе.

Жан Рэ не столь категоричен, хотя подобные тенденции весьма ощутимы в его произведениях. Жизнь понимается как цепная реакция убийств в рассказе «Мистер Глесс меняет курс». В рассказе «Кузен Пассеру» автодеструкция проявляется неутомимой жадой наживы: жизнь Пассеру — активизированное гниение, серия кошмаров, которые, насколько можно судить, отнюдь не кончаются со смертью. Человеческое существование уже не расценивается в периодической смене рождения, расцвета и увядания, это сугубое увядание, коррозия, гниение: «Возможно, жизнь на этой ничтожной земле — только результат гниения, разложения. Все вокруг и мы сами — только симптомы порчи, изъедающей дурной плод. Смысл вселенной не поддается усилиям нашего мозга. Мы, возможно, бациллы, вибрионы в хаотическом звездном кошмаре» («Святой Иуда из ночи»). Но как назвать односторонний процесс, энтропию в себе, лишенную диалектического противостояния? Нонсенс? Да. Но если мы не можем представить однородной, вечной, гармонической структуры, а совершенно очевидно, что не можем, значит, нонсенс и бессмыслица необходимо входят не только в любую теорию познания, но и вообще в любую композицию. Коррозия системы объясняется прежде всего внутренним

диссонансом, присущим ей изначально: к примеру, неразрешимый интервал «тритон» — музыкальный дьявол — в конце концов разрушил понятие о классической гармонии.

В фантастической литературе «неучтенная доля» или «иррациональная составляющая» играет примерно такую же роль, как запретная комната в «Синей Бороде». Вокруг нее концентрируются сюжетная линия и напряженное любопытство героев. Вспомним каюту школьного учителя в «Майенской псалтири», апартаменты капитана Судана в «Великом Ноктюрне», переулок святой Берегонны в одноименном рассказе. Естественно, подобное «помещение», находится ли оно здесь или в пространстве иного измерения, определяет трагическую судьбу героя, ибо автор фантастического текста может выдумать что угодно, кроме счастливого конца. Но интересно другое: довольно часто это место имеет прямое или косвенное отношение к происхождению героя. Обитатель апартаментов — отец Теодюля Нотта, зловещая старуха из переулка — бабушка Архипетра. Обобщая ситуацию, можно заключить, что «иррациональная составляющая» в тех или иных случаях может послужить причиной манифестации целого: значит, «запретная комната» — не просто произвольно выбранное помещение, но центр дома, причина или повод его построения. Следовательно, наше мнение о целесообразности не имеет, в принципе, никакого отношения к дому. Равным образом наша жизнь и текущее размышление о ней не совпадают и не пересекаются.

Но, в свою очередь, «иррациональная составляющая» является частью какого-то иного, неведомого целого. Вывод: то, что мы привыкли считать и называть системой, организмом, композицией, — только оговоренная или привычная условность. И «на самом деле» — это кратковременное, гетерогенное соединение компонентов, постоянно тяготеющих к разладу и неведомой автономии. Это происходит на всех уровнях макро- и микрокосма: тело,

душа, дух истощают свои силы в непрерывной междоусобице, разные члены тела истязают друг друга. Было ли такое положение сколь угодно изначальным или здесь сокрушается целенаправленный замысел, когда inferнальная агрессия упорно разъедает сотворенный мир? Первую точку зрения разделяет Лавкрафт — писатель вообще более концептуальный, нежели Жан Рэ, который всегда культивировал метафорическую многоликость прозы. Жану Рэ присущи теплота, юмор и сочувствие, что в сочетании с не менее прочувствованным жестоким холодом аутсайда вызывает удивительный эффект. Он последовательней Лавкрафта в своем романтизме: поправное благородство, исковерканная гармония, возможно, заставляют его искренне переживать. И все-таки внутренняя логика текста ведет его к весьма аналогичным решениям. Он всегда сугубо оригинально интерпретирует даже самую традиционную тему, например авантюру отрубленной руки. Франс Квансиус оживляет не просто руку, но железный протез: в результате ужасный обрубок, теряя всякий намек на принадлежность человеку, превращается в отчужденный и однозначно агрессивный объект — инновацию в морфологии кошмара («Рука Гетца фон Берлихингена»).

При этом Жан Рэ пытается все-таки упорядочить стихийную агрессию универсума, по крайней мере найти математическое или, вернее, псевдоматематическое объяснение, апеллируя к модной в его эпоху теории четвертого измерения. Сознание не в силах объяснить рождение, становление и функциональность целого, поскольку причина появления целого непонятна с точки зрения рации, лучше сказать, с точки зрения традиционной математики. И на помощь приходит метагеометрия Лобачевского, пространство Минковского, концепция «мировой линии» Римана и, естественно, теория относительности. Необходимо устранить дефект сознания, многовековую косность классической стереометрии, — считает герой рассказа

«Мондшайн-Дампфер»: «Человеческого разума и теории относительности достанет, дабы распилить фундамент тридцативекового эмпиризма, открытий, экспериментов: надо расшатать эвклидов гранит». Если поместить «иррациональную составляющую» в четвертое измерение, можно утолить присущую человеку жажду порядка. Французский писатель Габриэль де Лотрек в романе «Месть овального портрета» (1922) выдвинул идею лимитации: существа, живущие на плоскости, лимитированы первым измерением — линией, объемные (солиды) — плоскостью, а существа четвертого измерения — солидами. Далее повествуется об ужасах мира четвертого измерения. Почему? Вероятно, из соображений чисто беллетристических — кто же будет читать о социальной гармонии, царящей в чуждом континууме? И правомерно ли вообще возлагать вину за бесконечные жестокости и несправедливости нашего мира на существ, выведенных в математическом инкубаторе? Нет. Ужас, внушаемый аутсайдом, не подлежит сомнению, но равно и объяснению, поскольку о нем сообщают только антенны наших интуиций. Да и можно ли найти удовлетворительное объяснение? Являл ли мир гармоническое целое, которое с недавних пор подверглось мощной инфернальной атаке? Или разграничение «этого» и «потустороннего» чисто фиктивно и мир свободно пронизывается энергиями аутсайда? Или мы живем в раю и просто не понимаем нашего счастья? Риторические вопросы. Жан Рэ в эпоху триумфального успеха новой физики и математики, возможно, испытывал присущий многим художественным натурам комплекс неполноценности по отношению к представителям серьезного, точного, сложного знания. Но, тем не менее, его прихотливый и нервотрепетный творческий порыв не мог не отклоняться при встречах с грубой линейностью пусть даже метагеометрического объяснения. Отсюда неубедительность наукообразных комментариев, с помощью которых герои пытаются прояснить новые экзистенцио-

нальные условия, отсюда неизбежность саркастических замечаний по этому поводу. Фантастическое пространство с центром в таверне «Альфа» привлекает нас вовсе не потому, что через него проходит «мировая линия» Римана, пересекающая главные события жизни Теодюля Нотта: его фасцинация происходит от пугающей жизненности лихорадочной грезы, от предчувствия холодной точности неведомых деталей и болезненно верной окраски воображаемой страны, которую каждый из нас либо видел во сне, либо очень боялся увидеть («Великий Ноктюрн»).

Жан Рэ оказался менее удачлив, нежели Лавкрафт, в попытке научного обоснования фантастической стихии. Идея вторичности воображения по отношению к реальности не имеет шансов утвердиться в мышлении принципиально образном. Если такой человек даже и признает рациональную концепцию бытия, он все равно постоянно ощущает влияние и действие множества чуждых миров на сферу, контролируемую сознанием. Это влияние подтачивает незыблемость постулатов Ньютона или Эйнштейна, оно размыкает сознание в открытую систему, где постепенно расплываются понятия объема, положения, притяжения, массы, фигуративности, ориентации. И когда Жан Рэ пытается научно скоординировать ареал хищных, гипнотических сущностей, он так или иначе отдает предпочтение «спруту пространства в темпоральном мареве», то есть черной метафоре.



...туманы, дожди, ланды, дюны, зыбучие пески, вампирические болота, неведомые гавани, моря, не обозначенные на картах, мертвые корабли, сумасшедшие буссоли, тайфуны, мальстремы, подвалы, чердаки, обитатели бегонок с дьяволом-квартиросъемщиком, невидимые улицы, блуждающие могилы, ствол тропического дерева, оживленный разрушительной волей, обезьяны, карлики, инфернальные полишинели, пауки, стрейги,

спектры, гоулы, крысы, средневековые химеры, зомби, убийцы-эктоплазмы, входящие и выходящие через зеркало...

Мир Жана Рэ.

Он не боится трюизмов, проходных сравнений, банальных эпитетов, так как предчувствует где-нибудь на повороте страницы созревание редкой метафоры, сумрак блекло-фиолетовых тропов. Почему банальности и проходные места? Вероятно, от скорости письма, хотя такую скорость нельзя объяснить только внелитературными причинами, например нехваткой времени. Это проблема темперамента, исключительно сильного образного мышления. На странице, на протяженности рассказа разбросаны средоточия напряженности — тематический узел, вербальная пуанта, резкая обнаженность кошмара — и текст стремится к ним, стараясь быстрее пересечь композиционные препятствия и вынужденные условности — грамматические или описательные. Эллиптический, иногда судорожный стиль, постоянная разбивка текста на фрагменты, зачастую весьма прихотливая разбивка, не зависящая от тематического или эмоционального акцента, энергичный ритм, неожиданно рождающийся в какой-либо фразе и превращающий последующий период в поэму в прозе. Это не работа оператора с вербально-знаковой клавиатурой: Жан Рэ чувствует живую органику слова и воспринимает язык как всеведущее существо, с которым в лучшие минуты возможен решающий диалог.

Имена, имя, субстантив. Священное значение имени, наречение, крещение, зачатие, связь поименованного с трансцендентным носителем имени. Что все это? Где все это? Как в пятнадцатом веке произошел поворот к новой истории, так в начале двадцатого история повернула... к черной метафоре.

Мы переживаем кризис грамматических форм, выживший прежде всего в кризисе имени, субстантива. Иерархическая связь в конструкции предложения при-

обретает все более условный характер, и язык становится все более открытой системой, допускающей свободную функциональность знаков. Любой член предложения может играть роль субстантива, и субстантив, в свою очередь, может быть дополнением, сказуемым и даже междометием. Привычные и постоянные центры сменились псевдоцентрами, возникающими в результате столкновений, фокусировок, случайностей, катастроф. Нечто, заявляющее права на реальность и стабильность, «на самом деле» расплывается в туманное недоразумение, сновидение, фантазм. И напротив, очевидный фантом абстрактного мышления врезается в жизнь угловато и весомо. Мир сомнительных ориентаций не может быть замкнут: он сначала распадается, а затем превращается во что-то иное. Но у такого превращения нет закономерностей. Оно совершается метафорически.

Суть метафоры заключается в полной необъяснимости перехода одного в другое. Однако есть метафора сакральная и есть метафора инфернальная. Сакральная метафора — формула посвящения. Хотя неопит и не может объяснить процесса, он, тем не менее, знает цель. Современный человек, для которого бытие потеряло принципиальный смысл, подозревает, что после смерти, возможно, «что-то будет», но уверен лишь в одном — в полной необъяснимости перехода. Инфернальность подобной метафоры предполагает тайну трансформации схематически известного в совершенно неизвестное. Здесь современная фантастическая беллетристика отличается от фольклора или классики. В сказках и легендах этнос потустороннего мира приблизительно известен: колдун, к примеру, знает, что ему необходимо превратиться в ликантропа, а не в кого-нибудь еще. Ему внушено или доверено «имя», заклинание, действенный субстантив. В метафоре литературной или сакральной всегда таится сравнение, пусть сколь угодно сложное, но рождающее хотя бы иллюзию понимания. Аргумент метафоры, то есть

направленность трансформативного тяготения, поддается интуитивной разгадке. Зловещее предчувствие, возникающее от первых страниц рассказа Эдгара По, переходит в мрачное понимание с появлением «маски красной смерти». Но о каком понимании может идти речь, когда условно известное, например корысть Дэвида Хевенрока (текст Жана Рэ) или творческая инициатива Эриха Цанна (текст Х.Ф. Лавкрафта), трансформируется черт знает во что, в совершенную неизвестность? Герои новой фантастики отправляются в потустороннее без компаса, без карт и путеводителей. Потому что единственные гиды — интуиция и страх.

Разумеется, ссылки на средневековых авторов куда более притягательны, чем апелляции к Лоренцу, Риману или Эйнштейну. Но здесь надо иметь в виду два немаловажных соображения: во-первых, в каждую эпоху отношения с аутсайдом складываются по-разному, что совершенно лишает книги великих магов и мистагогов какого-либо практического значения — достаточно вспомнить критику «Большого Альберта» в рассказе «Великий Ноктюрн». И потом, прошлого в его обычном или историческом понимании вообще не существует с точки зрения новой фантастики, поскольку рациональная модель времени и пространства, уместная в интерчеловеческой практике, не имеет смысла в подобной трактовке мироздания. Есть люди, для которых войти в пространство пятнадцатого века так же просто, как Альфонсу Архипетру попасть в переулочек святой Берегонны. Отсюда безразличие к скрупулезному историцизму у Лавкрафта и Жана Рэ: они *знают* о книгах под названием «Некрономикон» (Лавкрафт) или «Магический гептамерон» (Жан Рэ). Это, правда, не избавляет от изучения демонологии и фольклора: писателю необходима информация и, что еще важнее, необходима корреляция внутреннего опыта. Путь к черной метафоре, то есть к бесконечным и неизведанным пейзажам аутсайда, проходит через аналогию с

относительно известными состояниями и сущностями. Это позволяет уточнить «этнические особенности» потустороннего в личной ситуации смутного, изначального страха. Уточнение, конечно, весьма туманное. Замечание «вот идет негр», касающееся представителя одной из сотни африканских народностей, может считаться верхом антропологической эрудиции в сравнении с детерминацией обитателей иных миров. Как назвать сгущение черного тумана, извивающегося в неопределенно-человеческом очертании? Логика страха подсказывает Альфонсу Архипетру странное слово: «Стрейги!» Зрительный ли образ вызвал фонетическую ассоциацию? Или он вычитал слово где-нибудь? Давайте и мы почитаем: «Стрейги (стриги) — ночные духи, способные принимать очертания людей и созданных людьми предметов. Не поддаются чарам и заклинаниям, неподвластны экзорцизму. Лактанций именует их “сворой гекатовых псов”. Капризные и своенравные, они могут принести богатство какому-либо избраннику, но со временем все равно замучают его и сведут с ума. Жестокость их непомерна» (Salmon, Roland. *Dictionnaire démonologique*, 1632. p. 311). Похоже ли на описание, которое дает Жан Рэ? В известном смысле. Наше любопытство пробуждается, и мы хотим побольше узнать о кошмарных существах. Разве мы гарантированы от их присутствия в сновидениях или после... Если нет возможности поехать в хорошую деревню и побеседовать там с интересными людьми, откроем практически любую книгу по фольклору и поищем колоритные слова. Тьмак. Тьмаки. Что это? «И хуже этой окаянной нечисти, почитай, ничего нет. Тьмака ни молитва, ни заговор не берет, ведьмы боятся его хуже ладана. Бывает, лег в кровать человек-человеком, а проснулся весь обугленный, ровно у него в брюхе всю ночь костер горел» (Емельянов Ф. П. *Фольклор средне-русской возвышенности*. 1912. с. 507). Таких примеров можно процитировать тысячи. Весьма жаль, что во времена инквизиции мало изучали

фольклор. Королевский прокурор Жан Боден был неправ, обвиняя колдунов в злостной демономании. Зачастую люди абсолютно бессильны перед вторжением аутсайда.

Жан Рэ относится к писателям, для которых «объективная реальность» — только эпизод в фантастической вселенной. И потому он замечательный изобретатель образов. Изменение структуры и логики образа связано с трансформацией эстетики, начавшейся полтора века назад и, естественно, с незаметным, но радикальным переходом от мировоззрения к мировоззрениям. Когда Шатобриан сравнивает полет фламинго с полетом стрелы, он не сомневается в раз и навсегда установленной действительности данных объектов, наблюдательно примечает неожиданные качественные совпадения. Это «образ пережитый», ценность коего прямо зависит от художественной одаренности и жизненного опыта. В произведениях Жана Рэ обращает внимание любопытный переход от «образа пережитого, хорошо увиденного» к «образу, созданному воображающим воображением», если использовать лексику Гастона Башляра (*Bachelard, G. La terre et la rêveries de la volonté. 1960. p. 3-4*). Цвет клавишных клавиш напоминает цвет ломтиков тыквы — удачно и традиционно, причем деликатное сравнение никак не нарушает автономии тыквы и клавесина, скорее напротив, подчеркивает их субстанциальную отдаленность. Визуально пережитый образ иногда максимально уходит от своего прототипа: «Смуглеющие пальцы закатного света все медлительней перебирали бледные, перламутровые четки» («Последний гость»). Эффект сумерек растворяется в словесной прихотливости, еще немного, и писатель «отдаст инициативу словам» (Малларме). И поскольку беллетрист, заинтересованный в пробуждении читательского интереса, не может позволить себе вербального пантеизма или метафорического фикционализма, он необходимо возвращается к точности пережитого образа: «...ужас, подобно многоножке, дробно и мелко пробежал по телу» («Последний

гость»). Но когда Жан Рэ ищет бухту и песчаное дно, где могли бы причалить и бросить якорь его фантомальные корабли, то есть занят проблемой фиксации тотально неизвестного в относительно знакомом, его образная структура начинает распадаться под влиянием неконтролируемой энергии черной метафоры. Эта риторическая фигура, вместо того чтобы интегрировать разноплановые объекты, принимается их разрушать, — и в результате остается ощущение смутной боли и боязнь полной неопределенности бытия. Относительно знакомое обращается в неизвестную враждебность, и мы уже не уверены, можно ли назвать монстров Мальперткюи «олимпийскими богами» или страшных обитателей переулка святой Берегонны — какими-то фольклорными стрейгами. Симпатичный старикан Ипполит Баес в процессе его идентификации с Великим Ноктюрном начинает вызывать сомнение: так ли однозначно-безобидны редингот, шляпа, пристрастие к шашкам, или это псевдореальные, закрученные в правдоподобный узел детали иного целого? Черная метафора пробуждает активность негативного знания, когда всякое объяснение кажется дьявольской насмешкой. И мы ищем зловещий подтекст, ищем глубину. И, как сказал Гастон Башляр, «Греза о глубине развивает образ корня, разрывающего землю до инферно. Величественный ясень утверждается в стране мертвых... Корень не просто живет в земле, корень — свой собственный могильщик, он копает и закапывается без конца. Самое романтическое кладбище — это лес» (Bachelard. G. La terre. p. 209). Но тогда переулок святой Берегонны — не пространство четвертого измерения, а беспрерывно уходящий в глубину естественный корень... города Гамбурга. И его обитатели...

И черная метафора, продолжая свою разрушительную работу и уничтожая границы восприятия, рождает ужасающие спорадические конструкции в качественной бесконечности вселенной...

«Это был чудовищный город, каменное, металлическое воплощение неизбывного кошмара. Гигантские башни, казалось, кромсали небосвод. Стены и купола вздымались так высоко, что виделись окаменевшими облаками. Все это отдавало нечеловеческой, сверхъестественной жестокостью... Ни малейшего признака жизни на уходящих в бесконечность улицах и площадях... только угрожающее, нестерпимое молчание...» Это отрывок из повести «Страна проклятий», которую Жан Рэ написал по-фламандски под псевдонимом Джон Флендерс. Но под любым псевдонимом, на фламандском или французском языке этот блистательный авантюрист искал в мире привилегированное место, открытое всем ураганам.

Евгений Головин

СОДЕРЖАНИЕ

МАЛЬПЕРТЮИ

История фантастического дома

Перевод А. Хорева

Краткий обзор в качестве предисловия и объяснения	7
Часть первая. АЛЕКТА	13
Часть вторая. ЭУРИАЛИЯ	152
Эпилог. БОГ ТРЕПЕЩЕТ	247

РАССКАЗЫ

Перевод Е. Головина

Майенская псалтирь	257
Переулоч святой Берегонны	303
Великий Ноктюри	359
Последний гость	412
Мистер Глесс меняет курс	429
Рука Гетца фон Берлихингена	447
Кузен Пассеру	467
<i>Евгений Головин</i>	
Жан Рэ: Поиск черной метафоры	489

*В коллекцию «ГАРФАНГ» войдут произведения
черной, фантастической, зловещей
беллетристики. В основном.*

Но это вовсе не стоит понимать однозначно.

Ведь наш закат — это рассвет антиподов.

*И даже в сердцевине ада тлеет искорка
божественного смеха.*

*Гарфанг — белая полярная сова —
с давних времен символизирует
бесстрашный поиск неведомого.*

*Знаменитый викинг Торфин Карлсон —
один из открывателей нового материка —
начертал гарфанга на своем щите.*

*Когда Раул Амундсен
умирал от истощения в полярных льдах,
он увидел гарфанга и понял, что берег близко.
Но какой берег?..*

Рэ Жан
ТОЧНАЯ ФОРМУЛА КОШМАРА

Издатель А. Кошелев

Редактор И. Колташева
Корректор Л. Тарасова
Художественное оформление обложки
Н. Прокуратовой и С. Жигалкина

В оформлении обложки использованы
фрагменты картин Вермеера

Подписано в печать 20.10.2000. Формат 70х100/32.
Бумага офсетная, печать офсетная, гарнитура Peterburg.
Усл. печ. л. 20,7 Заказ № 681

Издательство «Языки русской культуры».
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17; ЛР № 071304 от 03.07.96.
Тел.: (095) 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб М153).
Каталог в ИНТЕРНЕТ
<http://postman.ru/~lrc-mik>

Опечатано с оригинал-макета в ППП «Типография "Наука"».
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.

*

Оптовая и розничная реализация – магазин «Гнозис».
Тел.: (095) 247-17-57, Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).
Адрес: Зубовский б-р, 17, стр. 3, к. 6.
(Метро «Парк Культуры», в здании изд-ва «Прогресс».)

Foreign customers may order this publication
by E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru
or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153).

